Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald
Philosophische Fakultät

Institut für Slawistik
Domstraße 9/10
17489 Greifswald
Telefon +49 3834 86-3210
Telefax +49 3834 86-3227
walter@uni-greifswald.de
www.phil.uni-greifswald.de

ISBN 978-3-86006-444-3

Umschlagfotos: Hans-Werner Hausmann, Jan Meßerschmidt
Umschlaggestaltung: Sabine Köditz

Роль русского языка в развитии словарного состава чешского литературного языка

ERNST MORITZ ARNDT
UNIVERSITÄT GREIFSWALD
Wissen
lockt.
Seit 1456

Галина Алексеевна Лилич

Роль русского языка в развитии словарного состава чешского литературного языка (конец XVIII – начало XIX века)

Редколлегия:
Александр Бирих
Харри Вальтер
Валерий Михайлович Мокиенко

Санкт-Петербург – Грайфсвальд – Гейдельберг 2016

Галина Алексеевна Лилич

РОЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА В РАЗВИТИИ СЛОВАРНОГО СОСТАВА ЧЕШСКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА

(конец XVIII—начало XIX века)

Санкт-Петербург – Грайфсвальд – Гейдельберг 2016

Галина Алексеевна Лилич
Роль русского языка в развитии словарного состава
чешского литературного языка (конец XVIII – начало XIX века) /
ред. А. Бирих, Х. Вальтер, В.М. Мокиенко
Университет им. Эрнста Морица Арндта г. Грайфсвальд:
Санкт-Петербург – Грайфсвальд – Гейдельберг, 2016. – 201 с.

ISBN: 978-3-86006-444-3

ОГЛАВЛЕНИЕ

К ЧИТАТЕЛЮ…… 5

ПРЕДИСЛОВИЕ…… 14

ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ОБРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЕЙ ЧЕШСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ К РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИСТОЧНИКУ ОБОГАЩЕНИЯ ЧЕШСКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА

§ 1. Вводные замечания…… 17

§ 2. Школа Йозефа Добровского и русский язык…… 21

§ 3. Школа Йозефа Юнгмана и русский язык…… 29

ГЛАВА II. РАСПРОСТРАНЕНИЕ РУССКИХ ЛЕКСИЧЕСКИХ И СЕМАНТИЧЕСКИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ В ТЕКСТАХ ПЕРИОДА ЧЕШСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ

§ 1. Вводные замечания…… 40

§ 2. Русизмы в чешских переводах начала XIX в. …… 41

§ 3. Русизмы в романтических литературных подделках начала XIX в. …… 58

§ 4. Русизмы в Чешско-немецком словаре Й. Юнгмана…… 69

ГЛАВА III. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РУСИЗМОВ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ И НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ НАЧАЛА XIX В.

§ 1. Вводные замечания…… 83

§ 2. Слова, пополнившие так называемую поэтическую лексику чешского литературного языка…… 84

§ 3. Терминологическая лексика, созданная под воздействием русского языка……...…… 104

§ 4. Слова, вводимые для замены германизмов……...…….. 118

§ 5. Русские слова-экзотизмы в произведениях о России…….. 127

ГЛАВА IV. НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА ВКЛЮЧЕНИЯ РУСИЗМОВ В ЧЕШСКУЮ ЯЗЫКОВУЮ СИСТЕМУ

§ 1. Вводные замечания…….. 134

§ 2. Подстановки на графическом и фонетическом уровнях…… 138

§ 3. Подстановки на словообразовательном уровне…….. 141

§ 4. Особенности включения русских лексических заимствований начала XIX в. в чешскую словообразовательную систему……..... 149

§ 5. Особенности семантической адаптации русских заимствований в чешском языке…… 160

§ 6. Перенесения на семантическом уровне…… 165

§ 7. Особенности семантического и экспрессивно-стилистического развития русских заимствований в чешском языке первой половины XIX в…… 177

ЗАКЛЮЧЕНИЕ…….. 184

СПИСОК ЦИТИРОВАННЫХ РАБОТ……. 186

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ…… 196

СПИСОК РАБОТ ПО МОНОГРАФИИ Г.А. ЛИЛИЧ…….. 199

ЛИТЕРАТУРА О ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Г.А. ЛИЛИЧ……... 201

К ЧИТАТЕЛЮ

Русские движутся вперед поистине исполинскими шагами,
и недалеко то время, когда Европа будет изучать русский язык,
как сейчас английский и другие.
Йозеф Юнгман

Предлагая современному читателю новое издание книги известного слависта, профессора кафедры славянской филологии Санкт-Петербургского университета, мы отдаём дань благодарности нашему Учителю, приобщившему к славистике несколько поколений исследователей. Галина Алексеевна Лилич пронесла любовь к словесности и своим учителям и ученикам через всю жизнь. Эта любовь сочеталась с требовательностью к собственному – написанному или изречённому – Слову, которая делает стиль её статей и книг чётким, лапидарным, предельно ясным. В наши дни, когда увлечение модными и не всегда вразумительными псевдонаучными терминами порою затмевает содержание написанного и защищаемого в качестве диссертаций, такая лаконичность изложения, доходящая до афористичности, может стать образцом для современных адептов Филологии. Для самой же Галины Алексеевны таким образцом были два её Учителя – профессор Ленинградского университета Борис Александрович Ларин и академик, профессор Карлова университета Богуслав Гавранек.

Педагогический дар и любовь к Слову Г.А. Лилич унаследовала от своего отца – Алексея Николаевича Шилина, учителя русского языка и литературы по образованию и призванию, участника германской и гражданской войн, большого труженика, награждённого за работу в сельской школе звания Героя труда. Всесторонняя образованность, оптимизм, неутомимость и мягкий юмор – эти и другие учительские качества отца передались и дочери. В своих воспоминаниях об отце Галина Алексеевна особенно подчёркивает его любовь к Слову, излившуюся не только в педагогической деятельности словесника, но и в лапидарно точном стиле его биографической повести «Военная жизнь сельского учителя» (СПб., 1995).

Г.А. Лилич (девичья фамилия Шилина) родилась 10 июля 1926 года в с. Троицк Ковылкинского района Мордовской АССР. Окончив с отличием в 1943 году школу в поволжском городе Энгельсе, она идёт по стопам отца – поступает на русское отделение филологического факультета Ленинградского университета, который в то время был в эвакуации в Саратове. В июле 1944 года университет был реэвакуирован в Ленинград. В этом же году по постановлению правительства в ряде советских университетов, в

том числе и в Ленинградском, была учреждена кафедра славянской филологии. И Галина Алексеевна, перейдя на новую кафедру, становится и славистом, и русистом одновременно. В 1948 году она успешно заканчивает польское отделение и поступает в аспирантуру по специальности «чешский язык».

Мощным стимулом всей последующей научной и педагогической деятельности Г.А. Лилич стала стажировка в Карловом университете с мая 1951 по август 1952 гг. Здесь она получила возможность не только углубиться в теории знаменитой Пражской лингвистической школы, но и лично познакомиться с её представителями, послушать лекции известных славистов – Фр. Травничека, Б. Гавранека, А. Едлички, К. Горалека, Я. Белича и др. Со многими из них её связывали научные узы, общая исследовательская тематика, общий подход к проблемам широкого лингвистического масштаба. Особое значение для Г.А. Лилич имели научные и человеческие контакты с главой чехословацкой лингвистики того времени –академиком Б. Гавранеком, который, как и профессор Б.А. Ларин, стал её Учителем и старшим другом. Не случайно именно Б. Гавранеку посвящён её основной труд, который сейчас предлагается Читателю – монография о роли русского языка и развития словарного состава чешского литературного языка, ставший и темой докторской диссертации (18).

Пребывание в Чехословакии сделало Г.А. Лилич на всю жизнь «патриоткой» этой страны. Благодаря ей многие в советской России приобщились к учению «пражцев» – основателей и продолжателей Пражского лингвистического кружка. Достаточно напомнить, что одним из первых учеников Г.А. Лилич был проф. А.В. Бондарко, который «функционализировал» почти всю отечественную русистику.

С 1952 года, когда Г.А. Лилич становится ассистентом кафедры славянской филологии, начинается её активная многосторонняя педагогическая, воспитательная и научно-исследовательская деятельность в Ленинградском-Санкт-Петербургском университете. Защита кандидатской диссертации (1) в 1956 году, докторской (17) – в 1978 году, утверждение в звании доцента (1961 г.) и профессора (1979 г.) – самые общие хронологические ориентиры жизни и деятельности Г.А. Лилич. Причём – не ориентиры того движения, которое принято называть «научной карьерой», а вехи постоянного и многотрудного пути к познанию научной истины.

Славистические интересы ученого не замыкаются в узко специальных рамках, но в то же время могут быть сведены в несколько «концентрических кругов». Педагог по своей родословной и призванию, Галина Алексеевна во многом и свои научные интересы так или иначе «смыкала» с учебными славистическими программами, подчиняла их интересам студенческой аудитории и требованиям времени. В Библиографическом указателе по славянского и общему языкознанию «Профессор Галина Алексеевна Лилич», изданном к 60-летию нынешнего Юбиляра в Самарканде (Лилич

1986) и в библиографии её трудов, изданной десять лет спустя (1996), дается обзор основных циклов её научной деятельности в полном охвате.

Предваряя издаваемую ныне монографию Галины Алексеевны, остановимся лишь на обзорной характеристике проблем, представленных автором именно в этой книге.

Проблемы лексического взаимодействия русского и чешского языков в спектре историко-культурных обстоятельств, стимулировавших такое взаимодействие – лейтмотив научных интересов ленинградского (петербургского) слависта. Этот круг исследований Г.А. Лилич является, пожалуй, самым объёмным, с ним связаны и другие аспекты её интересов. В прилагаемой библиографии её публикаций на эту тему легко увидеть динамику развития этих интересов, а в библиографии литературы о петербургской славистке – отклики на её научные труды.

Исходом исследования этой проблематики стала языковая ситуация в послевоенной Чехословакии. В кандидатской диссертации (1) Г.А. Лилич описывает доминанты обогащения словарного состава чешского языка в послевоенный период. В трёх главах работы детально анализируются основные способы пополнения общественно-политической лексики чешского языка – заимствования-русизмы, семантические сдвиги собственной лексики и образование новых слов с помощью разных аффиксов. При этом последовательно учитывается специфика взаимодействия родственных языков, которое анализируется не как упрощенное одностороннее воздействие русского языка на чешский, а как сложный, динамический процесс, движущими силами которого являются как экстралингвистические факторы, так и давление языковой системы с её собственными закономерностями. Эта тема получила отражение и в ряде статей Г.А. Лилич (напр., 3, 4, 5, 16 и др.), в которых уже проглядывают черты будущего её лексикологического почерка – видеть за скрупулёзно проанализированными языковыми деталями влияние и отражение всей языковой системы и экстралингвистических факторов.

Исследуя взаимодействие русского и чешского языков послевоенного периода, Г.А. Лилич рассматривала его исторически, прослеживая истоки этого процесса с начала XIX в. Уже в статье 1958 г. (9) ею даётся общая характеристика той русской лексики, которая заимствуется чешским языком благодаря деятельности «будителей» (Й. Юнгман, А. Марек, Я. Пресл и др.), а также предлагается классификация её по группам в зависимости от пути и способа обогащения – создание новых слов, обновление архаической лексики древнечешского языка, использование диалектных элементов и, наконец, – заимствование из других славянских языков, особенно из русского.

Эта тема «всерьёз и надолго» становится одной из доминант научного творчества Галины Алексеевны. Показательно, что автор постепенно вовлекает в это исследование не только лексические, но и иные языковые

факты напр., словообразовательные или морфологические, которые активизировались в чешском языке под влиянием русского. Особой актуализации подверглись формы чешских действительных причастий на -ший, -вший: они зафиксированы как в чешском переводе «Потерянного рая» Д. Мильтона деятелем чешского Возрождения Й. Юнгманом (во многом ориентировавшимся на соответствующий русский перевод В. Петрова), так и в других произведениях того времени. Анализируя этот и другие факты, Г.А. Лилич демонстрирует и функционально-стилистические отличия двух языков.

Переводческая деятельность Й. Юнгмана и других «будителей» стала объектом пристального анализа в ряде работ Юбиляра (10-16, 19, 21 и др.). Автор убедительно показывает, что стремление будителей создать на базе русизмов специфический язык привело к тому, что они первоначально становились элементами возвышенного поэтического стиля, хотя многие из них такой окраски как правило в языке-источнике не имели (ср. боль, весна, долина, жар, осень, сырой, шум).

Нередко статьи Г.А. Лилич на данную тему написаны в стиле историко-лексикологических и стилистических этюдов, раскрывающих процесс адаптации русизмов в чешском языке и их семантические мутации. Такова, например, судьба русизмов бодрый, храбрый, нежный, огромный и задумчивый в чешском языке, исходную семантику которых в большей или меньшей степени меняют именно различные семантико-стилистические изменения (11). Очерковый характер имеет и статья о слове průmysl, приобретшего не только обобщённое значение ‘промышленность’, но и ряд других семантических характеристик (15).

Характерной особенностью работ Юбиляра по данной проблематике является стремление обосновать языковое взаимодействие и процессы адаптации русизмов культурно-историческими обстоятельствами. Отсюда – постоянный интерес к той общественной среде, из которой исходили импульсы межславянского культурного взаимообмена. Й. Юнгману, Й. Добровскому (5, 9, 10 и др.), Фр.Л. Челаковскому (13, 19), П.С. Палласу и др. Подчеркивается сильная демократическая окрашенность движения будителей, усиление и расширение их связей со словацкими просветителями. Позднее Г.А. Лилич связывает языкотворческую деятельность будителей с более ранними этапами чешской истории – напр., анализирует языковые глоссы в произведениях Я. Гуса (20) или, наоборот, демонстрирует проекции этой деятельности в позднейшие периоды, – как это сделано в статье о научных исканиях Т.Г. Масарика и Я. Гебауэра (19).

Наблюдения о «языковой революции» времен чешского Возрождения синтезированы Г.А. Лилич в докторской диссертации и монографии «Роль русского языка в развитии чешского литературного языка (конец XVII–начало XIX века», опубликованной в 1982 году.

Это исследование – результат двадцатилетнего труда, посвящённого отношениям русского и чешского языков в области лексики. Автор анализирует избранную проблему в органической связи с общественно-политическим, историко-литературным и культурным контекстом эпохи. Это делается на основе тщательного изучения множества текстов периода чешского Возрождения, принадлежащих Й. Юнгману и его окружению. Не упускается из виду и сильное влияние польского языка на чешский. Огромный материал – свыше 1 тысячи русизмов – Г.А. Лилич подвергает функциональному анализу, что позволяет показать различную роль данных лексических элементов в разнообразных (художественных, публицистических, научных) текстах, а также глубже объяснить причины исчезновения одних и адаптацию других лексем в процессе дальнейшего языкового развития. Показательно, что именно функция русизмов определяет их выбор юнгмановцами. Хотя в какой-то мере заимствование большого количества русизмов чешским языком в одночасье было вынужденно ускоренным и поспешным, продуманное и лингвистически чуткое их внедрение будителями обеспечило развитие русизмов и других заимствований из славянских языков на далёкое будущее.

Публикуемое сейчас исследование Г.А. Лилич лежит в русле социальной лингвистики и направлено на функциональную сторону развития языковой системы двух языков. Необходимой предпосылкой такого исследования стало установление особенностей чешско-русских межъязыковых контактов конца XVIII – начала XIX вв., обусловивших характер русского языкового лексического воздействия на чешский язык. К ним относятся:

- отсутствие территориального соседства контактирующих языков;
- нехарактерность массовых контактов носителей обоих языков;
- примат социально-политических и культурных факторов среди других экстралингвистических моментов, мотивирующих языковые контакты;
- односторонний характер контактов (русский язык осваивается чехами, причем преимущественно книжным путём);
- сознательное обращение к одному из контактирующих языков с целью обогащения другого.

Чисто лингвистической же особенностью описываемых в книге Г.А. Лилич языковых контактов состоит в том, что контактирующие языки являются родственными.

В первой части работы описаны социально-исторические предпосылки обращения деятелей Чешского национального возрождения (будителей) к русскому языку как источнику своего национального языка.

На пути создания нового национального литературного языка стояли огромные трудности, которые преодолевались двумя поколениями будителей. Для первого поколения (Й. Добровский, Ф.М. Пельцл, В. Дурих, Я. Ганке и др.) был характерен преимущественно научный интерес к чешско-

му языку, истории, литературе. Для второго поколения (Й. Юнгман, П.Й. Шафарик, А. Марек, Ф. Палацкий, В. Ганка и др.) остро встал вопрос практического возрождения и подъёма литературного языка и прежде всего расширения его лексико-фразеологических средств. Естественно поэтому, что сознание родства по языку и общеславянскому происхождению с русским народом усиливало чешское национальное самосознание. Так возник феномен, ставший одним из важнейших идейных компонентов чешского национально-освободительного движения – так называемое русофильство, образующее постоянную составную часть чешского мышления того времени, мотивированное сознанием этнического и языкового родства.

Во второй главе книги предлагается собственно лингвистической анализ лексических и семантических заимствований из русского языка и описываются функции русизмов в чешском языке и обусловленность их адаптации этими функциями. Автор рассматривает три группы текстов:

- переводные тексты, возникшие в первой половине XIX века;
- литературные фальсификаты начала XIX века;
- чешско-немецкий словарь Й. Юнгмана.

Художественные переводы начала XIX века имели исключительное значение, так как в них в сущности создавалась языковая основа чешской прозы и поэзии нового времени. Переводов из русской литературы было в этот период немного, но язык многих чешских переводов из античной и западноевропейских литератур, но наблюдениям Г.А. Лилич, несёт на себе явные следы русского лексического влияния, что даёт основание предположить возможность русских литературных посредников таких переводов. Чешские переводчики обращались к славянскому посредничеству с целью обогащения ресурсов родного языка. На переводчиков школы Й. Юнгмана оказала огромное влияние мысль о необходимости сближения славянских языков и создания общего славянского фонда.

В начале XIX века в Чехии появилась серия литературных подделок под древнечешские тексты, которые стали важным стимулом развития чешской литературы в духе романтизма. Большой удельный вес в словарном составе этих рукописей имеют русские элементы, что убедительно показывает анализ Г.А. Лилич. Ею прослеживается и дальнейшая судьба таких русизмов из Краледворской и Зеленогорской рукописей. Они вошли в поэтический обиход XIX в., чему весьма способствовало их включение в «Чешско-немецкий словарь» Й. Юнгмана. По подсчётам автора книги, в этом словаре содержится около 1000 таких заимствований, которые анализируются в следующих главах.

III глава посвящена анализу функционального употребления русизмов в художественной и научной чешской литературе начала XIX в. В зависимости от причин заимствования из русского языка в чешский национальный литературный язык периода его становления Г.А. Лилич выделяет следующие категории русизмов:

• слова, воспринятые в качестве элементов высокого стиля, создание которого осознавалось в качестве одной из главных задач языковой деятельности будителей;

• обозначение понятий и признаков, не сложившихся в чешском литературном языке к началу XIX в. ввиду предшествовавшего упадка чешской книжности;

• слова, использованные для пополнения скудной терминологии разных областей знания;

• слова, призванные заменить употреблявшиеся до сих пор германизмы;

• русские слова-экзотизмы, к которым прибегали при описании русской действительности.

Каждая из этих групп лексики анализируется с учётом их языковой и экстралингвистической специфики. Новая и обновлённая лексика, отмеченная русским влиянием, использовалась в чешском литературном языке в двух направлениях: для обогащения синонимической системы и для восполнения пробелов в области отвлечённой лексики. И эти две группы Г.А. Лилич подвергает детальному анализу. Особое внимание уделено экзотизмам, характеризовавшем разные стороны российской действительности.

В результате исследования русизмов автор книги приходит к выводу о том, что их использование в художественной литературе начала XIX в. отвечало главным потребностям развития словарного состава чешского литературного языка периода его формирования как национального. Оно служило обогащению фонда лексических выразительных средств и научной терминологии, способствовало очищению чешского языка от избыточных германизмов, а также было значимо для ознакомления чехов с жизнью и культуры русского народа.

В главе IV в. раскрываются некоторые особенности процессов включения русизмов (прямых заимствований и калек) в чешскую языковую систему. Подчёркивается необходимость глубокого проникновения в морфологическую структуру заимствующего языка, стремление обнаружить признаки русского и чешского языкового родства и опереться на них при адаптации слова. Не упускается из виду также графический и фонетический уровень заимствования, особому рассмотрению подвергается словообразовательный уровень.

Рассматривая особенности семантической адаптации русских заимствований в чешском языке, Г.А. Лилич выявляет и существенные расхождения в двух языках. Одним из признаков сознательного филологического подхода к заимствованной лексике является то, что при усвоении слова ему может быть сообщено другое значение, по тем или иным причинам более приемлемое для условий чешского языка. Воспринимается, таким образом, лишь формальная оболочка слова, содержание же определяется

потребностями номинации или лексическими связями чешского языка. Изменения смысловой структуры слова под влиянием принимающего языка также могут быть связаны с актуализацией внутренней формы заимствований.

Характерным признаком семантического воздействия со стороны близкородственного языка Г.А. Лилич считает непостепенность, необычную ускоренность смыслового сдвига в слове, своеобразный скачок от исходного значения, совпадающего в обоих языках, к производному, которое в дающем языке сложилось к данному периоду времени. Дальнейшая судьба русизмов (в то числе и поэтизмов) русского происхождения всецело определялась условиями и тенденциями развития чешского литературного языка.

Подводя итоги в «Заключении», Г.А. Лилич подчёркивает положительную роль описанных ею процессов не только для обогащения словарного состава чешского литературного языка, но и для стимулирования в нём собственных словотворческих процессов под воздействием родственного языка.

Наблюдения о лексических заимствованиях из русского языка в чешский дали Г.А. Лилич огромный опыт работы со словом, который воплощен ею и в других лингвистических трудах. Интерпретация же языковых процессов, возродивших чешский литературный язык в период национального Возрождения, остаётся актуальной и в наши дни. К этой проблеме недавно вновь обратилась тартусская славистка И. Абисогомян, предложившая её развёрнутый анализ в своей диссертации и монографии. «Становление чешской лексикографии в эпоху национального возрождения: традиции и новаторство.» – Tartu 2009. – 200 с. Подтвердив основные выводы исследования Г.А. Лилич, она внесла некоторые коррективы в интерпретацию роли германизмов в процессе развития чешской языковой системы, ибо процесс калькирования оставался в этот период весьма активным и играл положительную роль в «славянизации» лексического состава этой системы.

Процессы формирования национального литературного языка, в том числе его словарного состава, у каждого народа характеризуется индивидуальными особенностями, которые определены конкретно-историческими условиями развития общества. По-разному происходило в период образования наций и взаимодействие славянских языков с русским, отразившееся в каждом из них в виде некоторого слоя лексических и семантических заимствований. По мере изученности этой проблемы на материале отдельных славянских языков будут выявляться и общие закономерности взаимодействия родственных литературных языков. Закономерности, во многом выявленные в исследовании Галины Алексеевны Лилич.

Предлагая современному Читателю это исследование, редакторы книги считают приятным долгом поблагодарить руководство Санкт-

Петербургского, Трирского и Грайфсвальдского университетов за поддержку самой идеи его переиздания, а проректору СПбГУ С.И. Богданову – за вклад в её осуществление. Выражаем сердечную признательность магистру Трирского университета Катарине Краус и студенту Трирского университета Кириллу Иванову за коррекции и перевод монографии в систему WORD и форматирование текста и таблиц.

А. Бирих, профессор Трирского университета, Германия
Х. Вальтер, профессор Грайфсвальдского университета, Германия
В.М. Мокиенко, профессор Санкт-Петербургского университета, Россия

Предисловие

В отдельные периоды своего исторического развития славянские литературные языки оказывали друг на друга определенное воздействие, которое проявлялось главным образом в области лексики, словообразования, а также синтаксиса. Обращение к ресурсам родственного языка обычно связано с периодами общественного подъема в стране, когда к языку предъявляются повышенные требования в результате интенсивного развития экономики, науки, культуры. Изучение межславянских языковых влияний очень важно прежде всего для истории того языка, который выступает, в активной роли заимствующего.

Предлагаемое исследование лежит в русле социальной лингвистики, оно направлено на функциональную сторону развития языка. Социальная лингвистика, исходя из марксистского понимания языка как продукта общественного развития, в настоящее время переживает период интенсивного подъема; связанные с нею проблемы, несомненно, принадлежат к весьма: актуальным в советском языкознании. Необходимой предпосылкой исследования явилось установление особенностей чешско-русских языковых контактов конца XVIII — начала XIX в.,[1] обусловивших характер русского лексического воздействия на чешский язык; отсутствие территориального соседства контактирующих языков; нехарактерность массовых контактов носителей обоих языков; примат социально-политических и культурных факторов среди других экстралингвистических моментов, мотивирующих языковые контакты; односторонний характер контактов (русский язык осваивается чехами, причем преимущественно книжным путем); сознательное обращение к одному из контактирующих языков с целью обогащения другого. Лингвистическая особенность данных языковых контактов состоит в том, что контактирующие языки являются родственными.

1) Основные компоненты методики нашего исследования, которая, как представляется, может быть применена при изучении лексического

---

[1] Термин «языковые контакты» в современной литературе не однозначен. Нередко им называют речевое общение между двумя языковыми коллективами, то есть более или менее массовые коммуникации, обусловленные обычно территориальным соседством контактирующих языковых коллективов [16, *122*; 78, 3]. В данной работе термин «языковые контакты» применяется для обозначения более общего явления — взаимосвязей между языковыми системами, обусловленных самыми разнообразными экстралингвистическими факторами: историко-географическими, социально-политическими, культурными, психологическими (ср. подобное употребление термина «языковые контакты» Т. А. Дегтеревой и Е. В. Опельбаумом [25, *3;* 73, 16]). — Здесь и далее данная в квадратных скобках цифра соответствует порядковому номеру в списке литературы, приведенном в конце книги, затем следует указание на страницу цитируемой работы.

взаимодействия и других родственных литературных языков в сходных исторических условиях, сводятся к следующему:

2) выяснение социально-исторических предпосылок влияния одного языка на другой, а также определение языковой ситуации данного периода;

3) установление характера языковых контактов;

4) определение социальных слоев, а по возможности и круга конкретных лиц, явившихся проводниками изучаемого языкового влияния;

5) в условиях практического отсутствия прямых контактов между носителями взаимодействующих языков особое значение имеет определение круга литературных, научных и лексикографических трудов, в той или иной степени отражающих влияние иноязычных образцов;

6) сопоставление материала данных источников с их иноязычными образцами для выявления общих лексико-семантических элементов;

7) анализ выявленных совпадений с целью выделить неологизмы, возникшие под иноязычным влиянием (анализ проводится на базе существующих исторических словарей);

8) анализ документальных источников (в первую очередь переписки, дневниковых записей, воспоминаний современников), которых имеются высказывания, содержащие оценку рассматриваемых языковых явлений с точки зрения определенных социальных групп;

9) классификация и характеристика фактов иноязычного влияния с точки зрения их функции в принимающем языке;

10) выявление особенностей адаптации воспринятых из другого языка фактов на разных уровнях принимающей системы: фонетическом, словообразовательном, семантическом, стилистическом.

Задача сравнительного изучения славянских литературных языков, составной частью которой является проблема межславянского лексического взаимодействия на уровне литературных языков, в современном славяноведении очень актуальна. Академик Б. Гавранек в свое время констатировал: «Об изучении славянских литературных языков в сравнительном плане можно с полным правом сказать, что его — в строгом смысле слова — пока нет» **[**126, *345***]**. Нельзя не согласиться также с утверждением Б. Гавранека, что при изучении многообразных взаимоотношений славянских литературных языков «совершенно недостаточным является простое выяснение отправных точек заимствованных явлений, а необходимо прослеживать функцию таких явлений в том языке, которым они заимствуются, прослеживать их новые соотношения внутри языка, в который они вошли, и их изменения, с этим связанные» **[**126, *349***]**.

Тема, разработанная в настоящей книге, является составной частью и другой, более общей проблемы, которую формулируют как «русский язык среди других языков мира». Общеизвестно широкое воздействие в наши дни русского языка на другие, особенно на языки стран социалистического содружества **[**11; 80; 12**]**. В связи с этим особое значение приобретает

изучение исторических корней взаимодействия русского языка с другими языками мира — изучение того, что, по выражению В. Г. Костомарова, «создавало устойчивый культурно-исторический фон и иные предпосылки к восприятию русского языка» [39, *102*]. Традиция изучения этих явлений заложена в трудах выдающихся советских ученых М. П. Алексеева [2; 3] и Б. А. Ларина [43; 44; 45].

Подлинно пророческий смысл приобрели слова великого чешского патриота Йозефа Юнгмана, написанные им свыше 140 лет тому назад: «Русские движутся вперед поистине исполинскими шагами, и недалеко то время, когда Европа будет изучать русский язык, как сейчас английский и другие» [104, *198*].

Глава I

СОЦИАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ОБРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЕЙ ЧЕШСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ К РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИСТОЧНИКУ ОБОГАЩЕНИЯ ЧЕШСКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА

§ 1. Вводные замечания. Конец XVIII и первые десятилетия XIX в. имели особо важное значение в истории чешского языка: это был период становления национального литературного языка, создания единых грамматических норм и широкой лексической базы, необходимой для развития науки и литературы молодой чешской нации.

Объективное освещение сложных языковых процессов, происходивших в этот период, в так называемую эпоху чешского национального возрождения, требует внимательного учета общественно-исторических условий чешского национально-освободительного движения, которые предопределили характер и направление развития чешского литературного языка нового времени.

Эпохой «национального возрождения» традиционно называют период перехода от феодализма к капитализму, формирования наций, национального самосознания и национальных культур в странах Центральной и Юго-Восточной Европы [28, *26*].

Как известно, становление чешской нации происходило в рамках Австрийской монархии, где господствующей народностью оказалась немецкая. Чехи, как и другие народы, входившие в этот пестрый государственный конгломерат, занимали подчиненное положение во всех сферах общественной жизни.

Более чем полуторавековой период, предшествовавший чешскому национальному возрождению, получил в литературе образное наименование «эпоха тьмы». Его начало относится к 1620 году, когда в битве у Белой горы под Прагой войска чешских протестантов потерпели сокрушительное поражение от объединенных сил контрреформации во главе с Габсбургами. Вследствие этого поражения Чешские земли были аннексированы Габсбургами и присоединены к Австрийской монархии.

Наступила пора жестокой феодально-клерикальной реакции, сопровождавшейся насильственным обращением населения в католицизм. При этом происходило массовое бегство чехов по религиозно-политическим мотивам в протестантские государства Европы. Среди этих беженцев оказалось немало представителей образованных слоев общества, в том числе и выдающийся чешский педагог и мыслитель Ян Амос Коменский (1592—1670). В то же время начался приток в Чехию иноземного, прежде всего

немецкого, дворянства и духовенства, которые активно поддерживали реакционную политику габсбургских властей [67, *51 сл.*].

Преследование религиозного инакомыслия означало по существу борьбу за максимальное экономическое, политическое и духовное подчинение чешского народа Габсбургской монархии. Габсбургская политика строгой централизации, особенно усилившаяся в конце XVIII — начале XIX в., вызвала к жизни интенсивную германизацию, которая таила в себе угрозу полной ассимиляции чешского языка немецким.

Со времени утраты чехами государственной самостоятельности (1620 г.) до конца XVIII — начала XIX в. произошло фактическое онемечение чешской феодальной верхушки, высшего духовенства и патрициата; для средних и даже низших городских слоев был характерен чешско-немецкий билингвизм, приводивший к сильному немецкому влиянию на чешский язык, и только в деревне чешский язык продолжал функционировать, ограниченный, естественно, рамками бытового общения и устного народного творчества.

Особенно болезненным оказалось изгнание чешского языка из школ (1774 г.) и предельное ослабление книжной литературной традиции [154, *19 и сл.;* 95, *11 и сл.*]. Ограниченный функционально и территориально, лишенный нормализующего влияния литературы, чешский язык стал утрачивать единую общенародную форму, усиливались диалектные различия. Немногочисленные во второй половине XVIII в. печатные произведения на чешском языке демонстрировали крайнюю расшатанность грамматических норм и бедность словарного состава [190, *35—39;* 127, *79*].

То обстоятельство, что становление чешской нации происходило в условиях немецкого господства и интенсивного проникновения немецкого языка во все области государственно-политической, экономической и культурной жизни, наложило глубокий отпечаток на национально-освободительную борьбу чешского народа, придав ей на первых порах ярко выраженный языковой характер. Указывая на связь языкового аспекта национальных движений с их экономической базой, В. И. Ленин писал: «Экономическая основа этих движений состоит в том, что для полной победы товарного производства необходимо завоевание внутреннего рынка буржуазией, необходимо государственное сплочение территорий с населением, говорящим на одном языке, при устранении всяких препятствий развитию этого языка и закреплению его в литературе» [1, *258*].

Наступление капитализма обусловило отмену крепостной зависимости крестьян в Австрии (1781 г.). После этого начинается всевозрастающий приток в города сельского населения. Из числа выходцев из чешского села, владеющих только родным языком, постепенно формируется и национальная мелкая буржуазия; однако на ее пути к завоеванию общественно-экономических позиций стояло серьезное языковое препятствие. Положение было таково, что чехи, не приобщившиеся вполне к немецкому языку

и официальной немецкой культуре, уже самим этим были обречены занимать лишь низшие ступени социальной лестницы. Выдающийся деятель чешского национального возрождения Й. Юнгман писал с горечью: «Чех, будучи изгнанным из всех учреждений, не может стать даже ничтожным писарем-поденщиком; как у египтян, он прикован проклятием к сохе или шилу своих отцов...» **[**104, *39***]**. Неудивительно поэтому, что борьба за права родного языка, за его применение в различных общественных и культурных сферах, заняла важнейшее место в национально-освободительном движении чешского народа.

Это движение характеризовалось также и сильной демократической окрашенностью: поскольку чешская шляхта к концу XVIII в. германизировалась, по существу, единственным носителем национально-освободительных идей стала мелкая, преимущественно сельская буржуазия. Из ее среды и вышло большинство «будителей» — активных деятелей национального возрождения, которые старались «пробудить» в чешском обществе национальное самосознание и стремление преодолеть вековое отставание чешской письменности. Среди чешских будителей, боровшихся в начале XIX в. за права родного языка, преобладали сыновья ремесленников, зажиточных крестьян, трактирщиков, мелких лавочников, сельских учителей. Языковая принадлежность, таким образом, оказывается тесно связанной с принадлежностью социальной; немецкий язык был для чешского народа и языком иноземных угнетателей и языком чешского дворянства, оторванного от простого народа. В этом смысле очень характерна мысль, высказанная Й. Юнгманом: «Народ — чешский, а господа пусть себе говорят по-французски или по-халдейски ... что из того? просто народ считает их теми, за кого они себя выдают, — чужестранцами, и тем меньше любит их, чем меньше любим ими» **[**104, *44***]**.

Основные усилия деятелей чешского национального возрождения были направлены на создание нового литературного языка, способного удовлетворять потребностям современной литературы, философии, естественных наук, а также потребностям делового общения. На пути к достижению этой цели стояли огромные трудности, которые последовательно преодолевались двумя поколениями будителей, разделявшимися не столько хронологически (их деятельность во времени перекрещивалась), сколько по их подходу к решению задач национальной программы **[**127, *86;* 102, *26***]**. Если для первого поколения будителей (И. Добровский, Ф. М. Пельцл, В. Дурих, Я. Ганке и др.), сформировавшегося к концу XVIII в., был характерен преимущественно научный интерес к чешскому языку, истории, литературе, который находил отражение в их трудах, созданных на немецком языке, то для второго поколения (Й. Юнгман, П. И. Шафарик, А. Марек, Ф. Палацкий, В. Ганка и др.) уже со всей остротой встал вопрос практической деятельности, направленной на подъем литературного языка и прежде всего на существенное расширение его лексических средств. Во главе первого

поколения стоял великий чешский ученый Йозеф Добровский, который создал первую подлинно научную чешскую грамматику, положившую конец расшатанности грамматических норм чешского литературного языка. Главой второго поколения будителей стал Йозеф Юнгман, которого уже можно назвать буржуазным демократом [146, *193*]. Он твердо верил в возможности чешского языка, и всей своей плодотворной и многогранной научной, литературной и организаторской деятельностью, по существу, заложил прочную основу для развития национальной чешской литературы и науки. Огромное значение этого результата станет еще очевиднее, если учесть, что даже в пору своего наивысшего развития в прошлом, в *так* называемый золотой век чешской письменности (XVI столетие) чешский литературный язык был ограничен в некоторых своих важнейших функциях: в поэзии и научной прозе еще преобладала средневековая латынь, которая в ученых кругах была также и средством устного общения [136, *7—8*].

Наиболее характерной чертой чешского языкового развития первых десятилетий XIX в. стало бурное словотворчество — создание наименований для массы отвлеченных понятий, обогащение лексических выразительных средств. Процесс интенсивного пополнения словарного состава чешского литературного языка в данный период был в значительной степени отмечен влиянием русского языка.

К концу XVIII в. Россия стала единственным суверенным славянским государством, причем принадлежавшим к числу наиболее влиятельных европейских держав. В Чешских же и Моравских землях в этот период сильнее, чем когда-либо чувствовалось национальное угнетение; чешские патриоты остро ощущали недостаточность собственных сил в борьбе противъ политики германизации, проводимой венским правительством. Естественно поэтому, что сознание родства по языку и происхождению с русским народом, обладавшим мощной государственностью, в высокой степени усиливало растущее чешское национальное самосознание и вселяло в чешских патриотов надежды на улучшение собственного положения с помощью России. Так возник феномен, ставший одним из важнейших идейных компонентов чешского национально-освободительного движения, — так называемое русофильство, образующее постоянную составную часть чешского мышления нового времени, мотивированное сознанием этнического и языкового родства [27, *236*].

Стремление будителей использовать авторитет и международный престиж России для одпоры чешского национального движения находили поддержку в широких народных массах, где симпатии к русскому народу зародились в непосредственных контактах с солдатами русской армии, проходившей через Чехию в 1798—1800 гг. и в 1813—1815 гг., во время наполеоновских войн. «Приход и пребывание у нас русских солдат, пишет чешский историк Ч. Аморт, — стали перворазрядным событием всей нашей тогдашней жизни. Говорили только о русских, ни о чем другом. Из тех

мест, куда русские не пришли, люди специально отправлялись туда, где те были размещены, чтобы познакомиться с ними, поговорить или хотя бы их увидеть. Газеты того времени были полны сообщениями о русских воинах» [97, *60*]. Это были самые массовые контакты русских с чешским населением до 1945 г. [112, *61*].

Вместе с небывалым усилением влияния России на европейские события 1812—1815 гг. выросла уверенность чешских патриотов в своих силах и надежды на будущий расцвет всего славянства, в том числе и чешского народа. Чешское «русофильство» было явлением далеко не однородным на разных этапах процесса национального возрождения и у разных общественно-политических групп [27, *236*]. В целом же в чешском «русофильстве» выделялось несомненно прогрессивное начало: глубокий интерес к русскому языку, истории и культуре русского народа.

Важным компонентом чешского «русофильства» было и сознательное стремление подчеркнуть языковое родство чешского и русского народов; для этого в чешском языке оживлялись те архаичные элементы, которые имели соответствие в русском языке, а также воспринимались отдельные русские языковые черты (преимущественно. лексические и синтаксические) для обогащения средств чешского литературного языка. Такого рода деятельность предполагает достаточно глубокое знание русского языка, что было в Европе того времени большой редкостью. Изучение жизни и творчества деятелей чешского национального возрождения показало, что лишь немногие из них уверенно владели русским языком и творчески участвовали в процессе пополнения чешского словарного состава русскими элементами. В первую очередь здесь нужно назвать имена Й. Добровского, Й. Юнгмана, А. Марека, В. Ганки, Ф. Л. Челаковского, П. Й. Шафарика, Я. С. Пресла. Большинство же чешских литераторов начала XIX в., усваивали русизмы, как и другие новые элементы поэтического и научного языка, из произведений названных авторов. Во многих случаях связь с русским языком ими уже не осознавалась.

Остановимся на роли некоторых выдающихся деятелей чешского национального возрождения в обогащении чешской литературной лексики за счет ресурсов родственного русского языка.

§ 2. Школа Йозефа Добровского и русский язык.

Заслуга первого серьезного ознакомления чешских будителей с русским языком принадлежит *Йозефу Добровскому* (1753—1829).

Й. Добровский — сын чешского крестьянина, которого нужда заставила стать солдатом. До девяти лет он жил в онемеченной среде и лишь студентом гимназии приобщился к чешскому языку (сначала в Немецком Броде, затем в Клатовах). Талантливому юноше удалось закончить и университет в Праге, частными уроками зарабатывая себе на хлеб. После

окончания университета Й. Добровский одиннадцать лет служил учителем в доме графа Ностица, где и потом на долгие годы нашел себе пристанище после непродолжительной службы (1787—1790) в качестве ректора семинарии в Оломоуце. Й. Добровский осуществил обширнейшие научные исследования в различных областях истории и филологии. Он с полным правом признается основателем научного славяноведения. Его огромное и всестороннее влияние на развитие чешской и славянской культуры изучено во многих трудах [140; 141; 150; 95, *21—47*; 156, *87—89;* 152; 132]; достаточно подробно исследовано и развитие взглядов Й. Добровского на Россию и русский язык.

Первый великий чешский будитель четко выразил отношение к России как к опоре в борьбе чехов за свои национальные права в известной речи «О преданности славянских народов Австрийскому правящему дому», которую Й. Добровский произнес перед императором Леопольдом II на торжественном заседании Чешского общества наук в 1791 г. В этой речи, содержавшей, по существу, требование уважения национальных прав чешского народа, Й. Добровский указывает на большие изменения в судьбе славянских народов, которые «ныне в лице русской ветви славян господствуют от Черного моря до Ледовитого океана, заключают договоры у границ Китайской империи, рассылают на своем языке указы на территории более двухсот миль, совершают открытия в океане между Азией и Америкой».[2]

Большое значение для знакомства Добровского с русским народом и русской культурой имело его путешествие в Россию, которое осуществилось в 1792—1793 гг. Непосредственной целью поездки было изучение в библиотеках Петербурга и Москвы древней славянской письменности, но накоплением богатых материалов, послуживших впоследствии Добровскому для закладки основ сравнительно-исторического славяноведения, не исчерпывается значение этой поездки.[3] Непосредственное знакомство ученого с русской действительностью во многом определило и его дальнейшую идеологическую позицию в вопросах славянской солидарности и политической ориентации будителей на Россию. Й. Добровский, в отличие от большинства чешских патриотов того времени, в особенности юнгмановского окружения, критически относился к русскому самодержавию, осуждал крепостничество, отметил глубокий отрыв дворянства, особенно пе-

---

2 Цит. по кн. А. С. Мыльникова [64, 27—28].

3 Ср. оценку поездки Й. Добровского в Россию В. А. Францевым: «Русское путешествие Добровского имело эпохальное значение для тогдашнего славянского ученого мира, для чешской науки, особенно славистики, это было поистине путешествие Геродота, открывшее новый мир сокровищ, неоценимых для развития славистики, никем еще не тронутых и не изученных. Без московских штудий не было бы монументальных Institutionum linguae Slavicae dialecti veteris (1822) Добровского» [121, 14].

тербургского, от жизни народа. Добровский знал об аресте Радищева и Новикова; в его письмах к друзьям содержится критика правления царицы Екатерины [21, *88*]. В то же время поездка в Россию усилила и углубила его славянское самосознание, интерес к русской истории и русскому языку, сочувствие и симпатии к простому русскому народу. Была заложена основа для прочных научных связей Добровского с Россией, которые не прекращались до конца его жизни.

Непосредственное знакомство Й. Добровского с русским языком привело его к мысли о необходимости систематического сопоставления особенностей русского и чешского языков, которое способствовало бы более глубокому познанию русского языка чехами [130, *8*]. Знание же русского языка он считал обязательной составной частью славистического образования. В духе этой идеи Й. Добровский издал переработанную и исправленную им русско-чешскую часть из многоязычного словаря Glossarium comparativum totius orbis, который был опубликован в Петербурге в 1787—1789 гг. под редакцией П. С. Палласа. Работа Й. Добровского вышла в 1796 г. под названием «Сравнение русского и чешского языков. По Петербургскому Сравнительному словарю всех языков» (Vergleichung der Russischen und Böhmischen Sprache. Nach dem Petersburger Vergleichungs-Wörterbuche aller Sprachen). Содержанием ее явилось 273 русско-чешских лексических соответствия, истолкованных с помощью немецкого и латинского переводов и прокомментированных Й. Добровским. Русские слова записаны в чешской транслитерации. По наблюдениям Б. Гавранека, почти половину слов этого списка можно встретить у чешских поэтов начала XIX в. [127, *89—90*]. Приведем слова из этого списка, которые — с теми или иными формальными видоизменениями — употреблялись в языке чешской литературы периода национального возрождения.[4]

Русское слово	**Чешское соответствие**	**Русское слово**	**Чешское соответствие**
Děva	Děvče, holka	Žar	Horko, parno, vedro, znoj
Lico	Obličej, tvář	Vysota	Vejška, vysokost
Nozdri	Chřípě	Širina	Šíř, šířka, širokost
Brovi	Obočí	Rov	Příkop
Rot	Usta, huba	Zeleň	Zelenost
Šeja	Krk	Plody	Ovoce
Plečo	Rameno (plece)	Suk	Větev, ratolest
Vkus	Okušeni, chut', košt	Lug	Louka, luka
Šum	Hřmot	Sobaka	Pes
Bol	Bolest	Topor	Sekera, sekyra
Trud	Práce (trud)	Poběda	Vítězství
Grad	Krupobití, kroupy	Voin	Vojak
Molnija	Blýskání, blesk	Lad	Svornost, jednota
Vesna	Jaro, podletí	Syro	Vlhko, syrově

[4] Цит. по изд. [114, 29—44]. — Здесь и далее цитаты из чешских текстов XVIII—XIX вв. даются в современной орфографии.

Oseň	Podzim	Lěpo	Hezky, krásně
Pyl	Prach	Blag	Dobrotiv, blahoslavený
Cholm	Pahrbek, hůrka (clumec)	Pět'	Zpívati
Dolina	Oudolí, dolina	Ljubit'	Milovati
Vozduch	Povětří	Kogda	Kdy

Несомненно, что «Сравнение русского и чешского языков» послужило для чешских литераторов одним из первых и важных источников заимствования русских слов, которые были использованы ими главным образом в качестве поэтических синонимов собственно чешских слов.

Весьма показателен для оценки отношения Й. Добровского к идее славянской общности и его практической деятельности, направленной на сближение чешского и русского народов, другой труд ученого — практический учебник русского языка для чехов, изданный им в 1799 г., т. е. в период, когда через Чехию по пути в Италию и Швейцарию проходили русские войска, входившие в антинаполеоновскую коалицию, и возникали живые контакты между чешским населением и русскими солдатами. Й. Добровский, таким образом, необычайно чутко уловил насущную потребность чешского общества в пособии такого рода, живо на нее откликнулся и, по существу, основал традицию изучения русского языка в Чехии, которая уже никогда более не прерывалась и в наши дни достигла огромного размаха. Учебник Й. Добровского вышел под названием: Neues Hülfsmittel die Russsiche Sprache leichter zu verstehen, vorzüglich für Böhmen, zum Theile auch für Deutsche. Selbst für Russen, die sich den Böhmen verständlicher machen wollen. Ein zweckmässiger Auszug aus Heyms Russischer Sprachlehre. Prag, 1799. Грамматику Й. Гейма (Москва, 1789), на которую Добровский ссылается как на свой источник, он получил в подарок от автора, с которым познакомился во время своей поездки в Россию **[**130, *11***]**.

Практическая русская грамматика Й. Добровского в целом построена на сравнительном принципе. Основные грамматические сведения о русском языке поданы здесь с опорой на сходства и аналогии с чешским языком; особо оговариваются расхождения **[**130, *12—14***]**. В плане изучения русского лексического влияния на чешский литературный язык большое значение имеют два словаря содержащиеся в пособии Й. Добровского. Один из них — «Список несколько отличающихся слов» (287 слов) составлен по тематическому признаку; второй — «Русско-чешский список некоторых слов, значительно отличающихся друг от друга» (261 слово) — алфавитный. Приведем из обоих списков те слова, которые проникли в язык чешской литературы начала XIX в.[5]

[5] Цит. по изд. [114, 72—79, 92—95].

Русское слово	**Чешское соответствие**	**Русское слово**	**Чешское соответствие**
mogila	hrob	krěpkoi	silný
mir	svět	žirnoi	tučný
grad	krupobití	revnivoi	žehravý
vesna	jaro	bolnoi	nemocný
oseň	podzim	blagorodnoi	urozený
doski	prkno	soveršennoi	dokonalý
topor	sekera	bystroi	prudký
vodka	kořalka, pálené	blagodarnoi	vděčný
očki	brejle	žestokoi	tuhý, tvrdý
chvost	ocas	svěžii, svěže-je maslo	čerstvé máslo
sobaka	pes	iskrenii	upřímný
krysa	německá, myš	polučit'	dostat
seld'	herynk, slaneček	celovat'	líbat
treska	štokfiš	čitat'	číst
ručei	potok	iskat'	hledat
aršin	loket	želat'	žádat
doroga	cesta	čai	thé
polk	regment (tma)	drug	přitel
polkovník	obršt	gosudar	pán
oružie	zbraň	chrabrost'	udatnost
pochod	marš, tah	lico	tvář
poběda	vítězství	um	rozum
chrabroi	udatný	vozduch	povětří
svirepoi	ukrutný	žal mně	líto mi
trudnoi	obtížný	žizň	život
ložnoi	falešný		

Таким образом, в общей сложности для нескольких десятков русских слов, имевших хождение в чешской письменности первой половины XIX в., источником могли послужить первые русско-чешские словарики, созданные Й. Добровским.[6]

Опубликованием пособий для изучения русского языка не ограничивается деятельность Й. Добровского по ознакомлению чешского общества с русской литературой и наукой. Ученый обладал большой библиотекой русских, главным образом научных, книг, которые он привез из России и постоянно приобретал впоследствии **[**155, *45***]**. Этой библиотекой широко пользовались многие чешские будители, что было очень важно, если учесть значительные трудности, препятствовавшие в тот период проникновению русской книги в Чехию: книжная торговля осуществлялась путем

[6] Подробнее об этой книжке Й. Добровского, а также о других практических пособиях по русскому языку, возникших в этот период в непосредственной зависимости от нее, см. статью Я. Вавры [185].

сложного посредничества и не имела стабильного характера; затрудняла ее и обязательная цензура, введенная в Австрийской империи [66, *271—293;* 64, *115 и сл.*] [7]

Велика роль Й. Добровского и как учителя и воспитателя чешских патриотов, посвятивших себя под его влиянием славистике или литературной деятельности в духе славянской общности. Он использовал каждый случай приобщить их к старославянскому языку, который считал основой научной подготовки славистов. В письме В. Копитару в 1809 г. он писал: «Со своими учениками, которые изучают языки как филологию, я начинаю всегда со старославянского языка, и с большой пользой... Только таким путем можно стать серьезным славистом» [95, *39 сл.*]. С 1813 г. Й. Добровский вел своеобразный частный славистический семинар для студентов и семинаристов, в программе которого большое место занимало и изучение русского языка [64, *95 сл.*]. Среди слушателей этого семинара были видные впоследствии чешские будители В. Ганка, Фр. Клицпера, И. Иодл, И. Длабач и др.

Особенно следует отметить идейное и научное влияние Й. Добровского на выдающегося чешского литератора эпохи "зонального возрождения *Антонина Ярослава Пухмайера* (1769—1820). Пухмайер, сын небогатого ремесленника, получил образование в духовной семинарии и в университете, после окончания которого служил священником и занимался литературой и просветительской деятельностью. Пухмайер был одним из первых последователей Добровского и приверженцем идеи славянской общности. Под влиянием Добровского он стал изучать русский и польский языки; его перу принадлежит первый перевод из русской литературы — оды М. М. Хераскова «О величии Бога», — который был опубликован в 1795 г. в основанном им альманахе «Собрание стихов и песен» (Sebráni básní a zpěvů). В письме В. Ф. Дуриху от 14 января 1795 г. Добровский с восторгом отзывается об успешных занятиях Пухмайера русским языком и о переводе оды [172, *65*].

В последующем литературном творчестве А. Пухмайера отразилось преимущественно польское влияние [172, *53—118*], но он обращается к русскому языку теперь уже и как ученый-филолог. Своеобразный характер имеет небольшая книга А. Пухмайера «Русско-чешское правописание» (Pravopis ruskočeský. Praha, 1805). В ней можно видеть некую попытку сближения русского и чешского языков. Здесь мы находим, во-первых,

---

[7] Приведенное А. С. Мыльниковым свидетельство одного из видных чешских будителей А. Марека: «К неудобствам, тормозящим развитие нашей литературы, писал он в письме к своему другу в 1818 г., — принадлежит также и та трудность, с которой сопряжено получение книг по инославянским литературам... Даже то, что можно приобрести на лейпцигской ярмарке, было бы напрасною попыткой отыскать у нас; за исключением некоторых словарей и грамматик, редко можно во всем нашем отечестве купить какую-либо русскую или польскую книгу» [64, *57*].

русскую азбуку и ее чешское соответствие, а затем подробную инструкцию, как писать, чешские слова русскими буквами, например: *дривь* (DŘÍV) *одъhздъ* (odjezd)*, прhдъуказати* (předukázati), *оддехъ* (oddech), *здесь* (gdes). При таком принципе транслитерации в целом ряде случаев ярко выступает исконное тождество чешского и русского слова, например: *днесь* (dnes), *лhтось* (letos), *слышати* (slušeti), *называти* (nazývati). В приложении дано несколько чешских поэтических и прозаических текстов в русской транскрипции. Если научное значение рассматриваемой работы невелико, то практически она оказалась полезным пособием для изучения русского языка, так как азбука всегда представляла существенную трудность для взрослых обучающихся, привыкших к латинице. Многие будители научились русской азбуке благодаря пособию Пухмайера, выдержавшему несколько изданий. Оно явилось импульсом и для распространенного в личной переписке будителей обычая прибегать к русской транслитерации, когда были опасения, что письмо может быть подвергнуто цензуре австрийской полиции.8 Но этот обычай имел и более широкий смысл, он был как бы знаком причастности к кругу единомышленников-патриотов, приверженцев идеи славянского братства.

В разделе «Различия между чешским и русским языками» А. Пухмайер приводит список русских слов, отличающихся от соответствующих по смыслу чешских. В основном этот список повторяет те слова, которые содержались в пособиях Й. Добровского. [9]

Перу Антонина Пухмайера принадлежит и превосходная научная грамматика русского языка, созданная в духе грамматических принципов Й. Добровского (Lehrgebäude der böhmischen Sprache des Hon. Abbé Dobrovský. Praha, 1820). Грамматике предпослано введение, написанное Й. Добровским, содержащее критико-библиографический обзор существующих грамматик русского языка. Значение грамматики А. Пухмайера было оценено гораздо позднее; современники же более нуждались в практических, доступных пособиях.

Богатый лексический материал, представленный в грамматике Пухмайера в качестве иллюстраций к парадигмам и правилам, а также длинные списки русских слов в его «Русско-чешском правописании» свидетельствуют о том, что Пухмайер хорошо владел русской лексикой. Между тем в его поэтических произведениях мы не находим прямых русских лексических заимствований. Не однажды А. Пухмайер заявлял с гордостью, что он не засоряет чешский литературный язык «осколками русского или поль-

---

8 Ср., например, предложение, написанное кириллицей, из письма И. Юнгмана Я. Коллару от 23 мая 1822 г.: «По пошть непиште ничего, цобы се выкладати могло двоисмыслнѣ, неботь слышимъ же отвираю псаніе» (По почте не пишите ничего, что могло бы быть, истолковано двусмысленно, так как, по слухам, письма открывают) (ČČM, 1880, 48). — Объснение всех сокращений и источников см. на с. 190-191.

9 Анализ данного труда А. Пухмайера проведен В. Гунячеком [134, 105-128].

ского».[10] В этом смысле он проявил себя как верный ученик Й. Добровского, который сдержанно относился к потоку лексических нововведений в чешский язык. Причина такой позиции в настоящее время представляется вполне объяснимой. Й. Добровский и его единомышленники еще не осознавали в полной мере актуальных потребностей развития чешского литературного языка периода становления чешской нации. Так, глубоко переживая упадок чешского литературного языка, Добровский вместе с тем считал утопической идею использования его в будущем как языка науки и развитой литературы, а главное, не чувствовал необходимости в этом, так как родным языком, по существу, был для него немецкий язык, а языком науки — латынь. В этом смысле характерно высказывание Й. Добровского по поводу перевода с французского на чешский романа Ж. Флориана «Нума Помпилиус» (1808 г.), выполненного Я. Неедлы: «С трудом можно угадать, для какого слоя читателей г. Неедлы предназначил свой перевод. Скорее всего можно подумать, что только для своих учеников, чтобы дать им образец правильного в языковом отношении перевода, и, может быть, еще для небольшого круга читателей из числа бюргеров, кому бы чешский перевод этой книги еще был нужен. Более образованные читатели обратятся скорее к оригиналу или немецкому переводу» **[**113, *145***]**.

Между тем субъективный взгляд Й. Добровского на возможности литературного чешского языка нового времени и связанные с ним выступления против ненужного, по его мнению, словотворчества не умаляют той огромной объективно положительной роли, которую Й. Добровский сыграл именно в обогащении чешского словарного состава. Во-первых, он сформулировал главные принципы пополнения лексики, которые были положены будителями второго поколения в основу их языковой деятельности, указав на три наиболее приемлемых способа: 1) извлечение из древних чешских памятников забытых слов, 2) обращение к другим славянским языкам и, наконец, 3) создание новых слов (только в случае крайней необходимости по Добровскому) на основании глубокого знания чешского языка и языковой теории.[11] Во-вторых, Й. Добровский создал строгое научное описание чешского словообразования и тем самым предоставил надежную базу для будущего словотворчества (см. об этом **[**153**]**).

Все три пути пополнения словарного состава, намеченные Добровским, оказались связанными с весьма интенсивным влиянием русского языка: в произведениях литераторов и ученых следующих поколений будителей наряду с прямыми русскими лексическими заимствованиями употреблялись слова, созданные по деривационным правилам Й. Добровского, но по

---

[10] См. письмо А. Пухмайера Яну Неедлы: «Я замечаю, что русский язык только портит молодых чехов, так как они без разбору и без нужды наводняют им чешский... Я тоже занимался русским и особенно польским языком, но надеюсь, что я не испортился и остался верен своему чешскому языку» [172, *110*].

[11] Обзор высказываний Й. Добровского по этому вопросу см. в изд.: **[**159, *188 и сл.***]**.

образцу русских слов, а также чешские архаизмы, оживленные под влиянием соответствующих русских лексем.

§ 3. Школа Йозефа Юнгмана и русский язык.

Главные направления развития лексики чешского литературного языка нового времени определил второй великий чешский будитель *Йозеф Юнгман* (1773—1847). «Сущность подвига Юнгмана заключается в том, — пишет Ф. Водичка, — что он решил умножить словарные сокровища чешского языка» [189, *33*]. Действительно, к этому сводится вся многогранная деятельность Й. Юнгмана как литератора, ученого, переводчика и организатора усилий многих чешских патриотов, стремившихся к культурному подъему чешского народа. Й. Юнгману удалось найти то главное звено, от которого зависели многие факторы успешного развития чешского общества по пути образования наций. Поднять литературный чешский язык на уровень других развитых европейских языков, в частности немецкого, значило положить начало созданию образованных слоев чешского общества, причем образованных на своем родном языке. Это открывало более широкие социальные возможности для мелкой чешской буржуазии, которой языковой барьер до тех пор препятствовал активно включиться в борьбу за командные позиции, связанные с развитием капиталистического рынка.

Йозеф Юнгман родился в семье деревенского сапожника, находившегося в крепостной зависимости у крупного феодала. Набожная мать хотела видеть сына священником, поэтому мальчику дали возможность учиться. В Бероуне он окончил школу, которая была в ведении ордена пиаристов; природные способности помогли ему преодолеть главную трудность — незнание немецкого языка. Курс гимназии Й. Юнгман прошел в Праге, а затем поступил в университет. На жизнь зарабатывал частными уроками. В студенческие годы сформировалось его мировоззрение, возник и окреп интерес к родному языку, и в то же время стало ясным, что священничество — не его призвание. Он изучал философию и право и после окончания университета получил место профессора гимназии в Литомержицах. В 1815 г., уже сложившимся литератором, он переезжает в Прагу, где служит профессором риторики, а затем и директором академической гимназии. Вокруг Юнгмана сгруппировались чешские патриоты, боровшиеся за подъем национальной культуры. В последние годы жизни деятельность Й. Юнгмана была связана и с пражским университетом; в 1839/40 г. он был его ректором.

Осуществление своей языковой программы Й. Юнгман начал с перевода на чешский язык произведений высокого художественного достоинства. В период с 1800 по 1804 г. он выполнил перевод «Потерянного рая» Джона Мильтона, вышедший в свет в 1811 г., а в 1805 г. опубликовал свой перевод повести Ф. Шатобриана «Атала». Историки чешской литературы под-

черкивают выдающееся значение юнгмановского перевода «Потерянного рая» для становления чешской национальной поэзии, а перевода «Аталы» — для развития «высокой» прозы [111, *241*]. Оба текста стали одним из важных источников выразительных средств как для последующих переводчиков, так и для авторов оригинальных произведений молодой национальной ритературы.[12]

Переводы Й. Юнгмана были принципиально новым явлением в чешской литературе того времени, которая ограничивалась до тех пор непритязательными жанрами, предназначенными для развлечения простонародного читателя, и скудной подражательной анакреонтической поэзией. Юнгман же предоставил чешскому обществу произведения, насыщенные сложными образами, яркой метафоричностью, богатейшей синонимией, — и все это оказалось переданным средствами чешского языка! Правда, язык переводов был перегружен неологизмами и архаизмами; несмотря на прилагаемые пояснения «менее понятных слов» (так называемые притекстовые словари), он не был легко доступен даже очень образованному читателю.

Й. Юнгман сознательно шел на то, что его переводы будут достоянием лишь узкого круга любителей чешского языка. «Этот первоначальный разрыв между широко доступной, но бедной и отсталой „народной" литературой и опытом создания новой литературы был, однако, исторически необходим, если должны были быть ликвидированы социальные барьеры для народных масс, отражающиеся и в „простонародном" характере чешской культуры и в суженной функции чешского языка, трактуемого до сих пор как язык деревенский. Единственно таким образом могла быть создана органическая структура чешской нации, способной своим трудом и творчеством ликвидировать историческое запоздание и стать наравне с другими „развитыми" нациями» [145, *119*].

Огромное значение для формирования идеологии чешской национально-освободительной борьбы начала XIX в. имели научно-публицистические статьи Й. Юнгмана, прежде всего две «Беседы о чешском языке» (Rozmlouvání o jazyku českém, 1806 г.). Подчеркнем здесь только некоторые идеи, особенно важные в свете рассматриваемых в нашем исследовании проблем. Й. Юнгман формулирует в этих статьях свое прогрессивное для того исторического периода понимание патриотизма. Главным критерием выделения народов является не принадлежность к определенному государству (понимание, распространенное в феодальном обществе), а осознание определенного языка как родного. Отсюда пред-

---

[12] Ср. оценку языка переводов, данную В. Вондраком: «Перевод „Потерянного рая" поднял поэтический язык на небывалую до этого высоту и стал поэтому на целые десятилетия образцом для чешских поэтов. Очень свежим и смелым языком выделяется также вышедший ранее (1805) перевод „Аталы" Шатобриана» [190, *48*].

ставление Юнгмана о высоком назначении национального языка и необходимости его всемерного подъема. Тормозит же развитие литературного языка в первую очередь нехватка «слов, в которых нуждаются философ и литератор», и Юнгман указывает выход из положения: «...Я спрашиваю у всех почитателей и исследователей чешского языка: все ли слова и выражения, собранные в книгах и известные в народе, введены в оборот? ... а там, где обнаруживается подлинная недостаточность, — что помешало бы чеху взять словечко из других славянских диалектов, произошедших от одной матери?» **[**104, *47***]**.

Мысль о целесообразности заимствования недостающей лексики из родственных славянских языков (которые в соответствии с пониманием той эпохи именовались диалектами) еще более четко выражена в следующей полемической статье Й. Юнгмана — «Слово к храброму и благопросвещенному Богемариусу» (Slovo k statečnému a blahovzdělanému Bohemariusovi, 1814 г.): «Если уж и немцы ... из французского и английского языков могут заимствовать слова, хоть они и выделяются своей чужой формой, — то мы, чехи, имеем гораздо лучший, гораздо более пригодный источник, из которого приятно черпать, — братские славянские диалекты! ...Сердце нашего патриота должно преисполниться радостью от мысли, что он говорит на языке самого большого из известных нам народов, на языке, понятном половине Европы и большей части Азии. Туда, туда обратите взор, милые славяне, оттуда берите то, что отняло у вас и мешало получить обратно неблагосклонное к вам время, берите больше и без ущерба для себя» **[**104, *55***]**.

В публицистике Й. Юнгмана нашла свое отражение и идея о возможности создания единого общеславянского языка. «Я, по крайней мере, — писал Юнгман, — без труда могу представить себе какой-то промежуточный диалект, который мог бы объединить всех братских славян, — будь он подобен возвышенной форме немецкого среди немецких диалектов, будь поэтическому или хотя бы плутарховскому греческому среди греческих диалектов» **[**104, *49***]**.

Представление Юнгмана о едином всеславянском литературном языке было весьма расплывчатым и неопределенным **[**100**]**; кроме того, оно видоизменялось. Этот язык мыслился Юнгману то как конгломерат элементов из различных славянских языков, то как один из существующих языков, принятый всеми славянами в качестве литературного. См., например, высказывание Й. Юнгмана, относящееся к 1831 г., о возможном распространении русского языка, которое может быть первым шагом ко всеобщему славянскому письменному наречию, а им будет «не иное чем русское, потому, что создавать новое из мешанины других диалектов было бы невозможно под разными жезлами» **[**104, *185***]**. О том, что идея всеславянского языка не покидала Юнгмана до конца жизни, свидетельствуют его «Записки» (Zápisky), возникшие в 1845 г. и опубликованные, после его

смерти. В разделе «Всеславянский литературный язык» Й. Юнгман пишет: «Насколько лучше было бы **[**славянам**]**, подобно немцам, использовать одно какое-нибудь наречие в качестве литературного языка, который бы безгранично обогащался и облагораживался другими наречиями. Я чех, искренний патриот своего народа, но ради всеславянского литературного языка готов принести в жертву и чешский язык, зная, что, каким бы наречием мы ни писали, мы всегда остались бы славянами» **[**104, *235 сл.***]**.

Если утопическая идея создания общеславянского языка была несостоятельна, то обращение к другим славянским языкам с целью пополнения чешских, лексических средств оказалось весьма плодотворным. В творчестве самого Юнгмана особую роль играет русский язык как источник различных языковых выразительных средств.

Любовь Й. Юнгмана к самому многочисленному и мощному славянскому народу была безгранична. В отличие от Й. Добровского, Юнгман был склонен идеализировать русскую жизнь того времени; его отношение к России в общем было недифференцированным, он не видел пропасти, которая существовала между русским народом и его прогрессивными силами, с одной стороны, и царским самодержавием — с другой. На этом основании Юнгмана причисляли иногда к «царефилам», что не отвечает действительности. Наиболее правильным нам представляется мнение А. С. Мыльникова: «Юнгман глубоко верил в русский народ, но он был монархистом, и это накладывало отпечаток на его мировоззрение. Он мог порой смотреть на царя как на некий символ русского государства, но поклонником царского крепостнического самодержавия никогда не был» **[**64, *121***]**.[13]

Изданная переписка Й. Юнгмана с друзьями и единомышленниками содержит множество свидетельств его горячей веры в великое будущее

---

[13] Ср. также мнение Ф. Водички: «Часто подчеркивалось, что Юнгман скептически относился к лозунгам великой революции и что он восхищался русским самодержавием; действительно, свидетельства этого мы находим в корреспонденциях и записках Юнгмана. Однако для оценки его исторической роли ... решающим является то, что своей деятельностью он способствовал демократизации чешского национального общества...» [104, *15*].

На некоторые источники необъективных оценок мировоззрения Юнгмана в буржуазной историографии указывает Ю. Доланский [115, *242 и сл*]. Непрямым, но ярким свидетельством того, что в ближайшем окружении И. Юнгмана несомненно обсуждалась в критическом духе политика русского самодержавия, представляется обнаруженный нами в архиве сына Й. Юнгмана, его единомышленника и личного секретаря, список пушкинской оды «Вольность». Как известно, эта ода была впервые опубликована лишь в 1856 г. в герценовской «Полярной звезде», в России же она появилась в полном виде в 1906 г. Между тем ода была хорошо известна по многочисленным рукописным спискам и имела мощный резонанс в революционно настроенной среде ряда поколений. Список оды «Вольность», написанный рукой сына Й. Юнгмана, обнаружен в тетради, куда он заносил свои любимые стихотворения патриотического содержания [49, *155*].

русского народа, с которым у Юнгмана была тесно связана и надежда на подъем и расцвет всего славянства.

Русская литература и русская наука оказали глубочайшее воздействие на собственное творчество Й. Юнгмана, а через его посредство — и на творчество других чешских будителей.

Язык произведений Й. Юнгмана, — как научных, так и художественных (преимущественно переводных) — отмечен сильным влиянием русского языка. Если же учесть ведущее положение Й. Юнгмана среди деятелей чешского национального возрождения первой половины XIX в., то становится ясным, что роль Й. Юнгмана в обогащении лексических средств чешского литературного языка за счет заимствования русских элементов является определяющей. Особенно следует подчеркнуть в этом плане значение фундаментального чешско-немецкого словаря Й. Юнгмана [204], который был для чешских будителей самым авторитетным источником выразительных средств.

Одним из первых и самых верных последователей Й. Юнгмана в деле подъема чешского литературного языка был его близкий друг *Антонин Марек* (1785—1877), католический священник, сын шлифовальщика гранатов. К идеям чешского национально-освободительного движения его приобщил Й. Юнгман. Будучи профессором гимназии в сильно онемеченном северо-западном чешском городе Литомержице, он с 1800 г. стал бесплатно обучать гимназистов родному чешскому языку, которого. конечно, не было в программах учебных заведений. С 1806 г. такие занятия Юнгман начал проводить и для учащихся духовной семинарии, среди которых был А. Марек. Позднее Марек вспоминал о впечатлении, которое в то время произвел на него Юнгман: «Благородство и чистосердечность человека, имя которого через сто лет будет греметь в славянском мире, так меня очаровали, что я стал чувствовать его чувствами, жить его наукой, его взглядом проникать в ширь и глубь славянства. Он прокладывал себе путь и меня учил идти по нему» **[**135а, *25***]**. Дружба, на всю жизнь связавшая А. Марека с Юнгманом, была для Марека очень плодотворной. Юнгман постоянно побуждал А. Марека к литературной деятельности, поощрял его поэтические опыты и переводы, привлекал к работе по сбору материалов для словаря чешского языка; под непосредственным воздействием Й. Юнгмана были созданы труды А. Марека по логике и философии, в которых формировалась чешская научная терминология. Переписка Й. Юнгмана и А. Марека свидетельствует о том, что практически почти все, сочиненное А. Мареком, проходило через редакторские руки Юнгмана; вопросы развития чешского литературного языка, образования новых слов были предметом постоянных дружеских дискуссий между ними.

Глубокая приверженность А. Марека идее славянской взаимности наиболее ярко выражена в его статье «Славянин», опубликованной в 1833 г.: «Я чувствую, что принадлежу всему славянству и что все славянство при-

надлежит мне! Это моя гордость, и я не позволю, чтобы меня ее лишили ограничением моего народа территорией в тысячу квадратных миль. Я живу в более широком мире, чем хотела бы допустить зависть, и славлюсь более многочисленным народом, чем ей хотелось бы слышать. В моем краю солнце никогда не заходит, как не зайдет и его слава, пока будет жив его последний сын» [162, *165*].

Как и Й. Юнгман, основные надежды на лучшее будущее славян А. Марек связывал с Россией.[14] Культ всего русского и консервативно-монархические взгляды помешали ему выработать дифференцированный подход к русской действительности; самым важным А. Марек считал государственную мощь России, в которой видел оплот славянства, поэтому не принимал того, что, по его мнению, могло бы эту мощь ослабить. Отсюда его отрицательное отношение к польскому восстанию 1830—1831 гг., публикация перевода верноподданических рассказов Ф. Булгарина и т. п. Объективное объяснение такой позиции А. Марека легко можно найти в тех конкретно-исторических условиях, в которых она складывалась. Не закрывая глаза на эти отрицательные стороны русофильства А. Марека, следует подчеркнуть и другое: А. Марек был одним из глубоких знатоков русского языка и русской литературы и горячим их распространителем. Вокруг А. Марека сгруппировалось несколько образованных и патриотически настроенных священников (Ф. Ветешник, Ф. Шир, Я. Шольц, Й. Голман, Й. Черны и др.), которые широко пользовались его сравнительно богатой библиотекой русских книг и даже переводили из русской литературы. С большой симпатией и уважением писал о кружке А. Марека И. И. Срезневский, посетивший его в 1840 г. [75, *101 и сл.*]. Интересен и тот факт, что А. Мареку в пору его деятельности в качестве школьного инспектора принадлежит первая попытка ввести обучение русскому языку в начальных школах. Эта попытка, впрочем, была сразу же сорвана вмешательством властей, увидевших в ней проявление нелояльности по отношению к Австрийской монархии [135а, *221*].

В первой трети XIX в. А. Марек пользовался большим литературным авторитетом, что обусловило и его значительное влияние в области литературного языка на современников. Так, сохранились свидетельства о том, что Ф. Палацкий и Ф. Л. Челаковский, например, тщательно изучали терминологию, созданную А. Мареком в его труде «Логика» (1820 г.); ряд лексических неологизмов из поэзии А. Марека был использован в знаменитых литературных подделках — Зеленогорской и Краледворской рукописях [174]. Язык же самого А. Марека развивался под сильным влиянием русского, больше всего проявившимся в области лексики [135а, *150*]. Поразительное для того времени владение русским языком проявляется у

[14] О развитии идеи славянской общности у А. Марека см. в книге Й. Плха [170, *115 и сл.*].

Марека, в частности, в том, что русскими лексическими заимствованиями изобилуют у него не только переводы с русского, но и все остальные тексты, никак не связанные с русскими образцами, например, перевод комедии В. Шекспира «Комедия ошибок» (1823 г.; первый перевод на русский язык вышел в 1842 г.); перевод повести немецкого беллетриста К. Ф. Вандер-Вельде «Любительский театр» (1830 г.; прежде на русский язык не переводился) и др.

Сильным влиянием русского языка отмечено все творчество другого выдающего деятеля чешского национального возрождения — *Вацлава Ганки* (1791—1861). Ему, сыну деревенского трактирщика, удалось окончить гимназию и стать студентом философии; он приобщился к чешской патриотической культурной деятельности благодаря славистическим занятиям в кружке Й. Добровского. В. Ганка активно сотрудничал в чешских литературных и научных журналах, которые стали появляться в начале XIX в., с живейшим интересом изучал славянские языки, народную поэзию и литературу, завязал личные связисо многими литераторами славянских стран. Будучи управляющим библиотекой и архивом Чешского национального музея, Ганка издал целый ряд средневековых памятников. Трудно переоценить деятельность В. Ганки в распространении славистических знаний в чешском обществе: он опубликовал грамматики русского, польского и старославянского языков, создавал переводы из русской, сербской и польской поэзии, на страницах научных журналов публиковал письма русских славистов, где содержались обильные сведения о русской литературе и культуре. Особенности характера В. Ганки и сложные обстоятельства литературно-общественной жизни Чехии начала XIX в. определили его совершенно своеобразное место в среде чешских будителей. Его несомненные просветительские заслуги сочетались с неуемными романтическими стремлениями любой ценой поднять вес и значимость чешской письменности. Еще при жизни В. Ганки его имя связывалось с созданием знаменитых чешских литературных подделок — Зеленогорской и Краледворской рукописей. В ходе дискуссии о подлинности этих рукописей, продолжавшейся около 150 лет, естественно, на передний план выступала отрицательная оценка роли и позиции В. Ганки в развитии чешской литературы и литературного языка. Между тем творчество В. Ганки и особенно созданные им поддельные рукописи в некоторых аспектах были существенны для чешской национальной литературы. Кроме того, «его практическая работа по распространению сведений о русской литературе среди западных славян и о западных славянах в России, — пишет Л. П. Кондаурова — играла огромную роль в деле развития и укрепления научных и культурных связей западных славян с Россией, в особенности чешско-русских связей» **[**38, *208***]**.

В вопросах обогащения чешского литературного языка В. Ганка был последователем Й. Юнгмана. В частности, обладая прекрасным знанием

русского языка, он вводил в свои переводы множество русских слов, слегка приспособленных к чешскому звучанию. Лишь немногие из лексических нововведений В. Ганки выдержали испытание временем и остались в языке, но в целом его словотворчество было весьма характерным для того времени, когда чешский национальный литературный язык как бы проходил своеобразную лабораторную стадию.

Однако совершенно иная судьба у слов, впервые появившихся в поддельных Зеленогорской и Краледворской рукописях: большая их часть в короткое время распространилась в чешской литературе в качестве излюбленных поэтизмов и была закреплена в монументальном Чешско-немецком словаре Й. Юнгмана. Таким образом, в чешский язык проникло и немалое количество русизмов, которые составляли заметную часть лексики «древнечешских» рукописей. Среди последователей и единомышленников Й. Юнгмана особо видное место принадлежит первому крупному самобытному чешскому поэту нового времени *Франтишку Ладиславу Челаковскому* (1799—1852). Мировоззрение и литературные вкусы Ф. Л. Челаковского, сына плотника из маленького городка Страконице, сформировались во время его занятий философией в Пражском университете, под непосредственным влиянием Й. Юнгмана и В. Ганки. В его поэтическом творчестве рано проявился глубокий интерес к народной поэзии, в которой он, согласно с романтической концепцией немецкого просветителя XVIII в. И. Гердера, видел верное отражение души народа и его наивысшую духовную ценность. Ф. Л. Челаковский наряду с Я. Колларом и П. Шафариком положил начало систематической работе по собиранию произведений устного народного творчества и этнографические материалов. Горячая приверженность Ф. Л. Челаковского идее славянской общности побудила его изучать фольклорное творчество всех славянских народов. В результате возникли три поэтических сборника «Славянских народных песен» (Slovanské národní písně. D. I – III. Praha, 1822—1827), в которых, наряду с чешскими и словацкими песнями, содержались русские, украинские, польские, сербские, болгарские, словенские, сербо-лужицкие, а также литовские (отношение литовского языка к славянским было на той стадии развития славистики теоретически не вполне ясным).

Сборники Ф. Л. Челаковского имели большое значение для распространения юнгмановских идей о славянской общности. В этом смысле важен сам способ подачи материала в сборниках: инославянские народные песни представлены двумя параллельными текстами — оригинальным (в чешской транслитерации) и переводом Ф. Л. Челаковского. Возникла своеобразная славянская хрестоматия, позволявшая получить представление о каждом из языков. Искусные переводы Ф. Л. Челаковского тонко подчеркивали национальное художественное своеобразие песен и вместе с тем давали возможность почувствовать их общеславянские черты. Сборники «Славянских народных песен» послужили подготовительным этапом к

достижению вершины поэтического творчества Ф. Л. Челаковского — созданию сборника «Отголоски русских песен» (Ohlas písní ruských. Praha, 1829). Содержанием сборника явились стихотворения Ф. Л. Челаковского, написанные в духе русских народных песен и былин, — мастерское воссоздание характерных художественных особенностей русского фольклора. «Отголоски русских песен» были приняты чешской публикой с восторгом и выдвинули их автора в число лучших поэтов своего времени.[15] Обращение Ф. Л. Челаковского к русскому народному творчеству было далеко не случайным. Как и для его учителя Й. Юнгмана, Россия была в его глазах мощным оплотом в борьбе за самоутверждение чешской нации; надежды на Россию особенно оживились с началом русско-турецкой войны (1828 г.) и быстрым продвижением русских войск на Балканы. О настроениях Ф. Л. Челаковского в пору выхода в свет его «Отголосков русских песен» свидетельствует отрывок из письма к другу Я. Планеку (от 6 марта 1829 г.): «Дай Бог, чтобы исполнилось Ваше, мое и многих наших пророчество о русских. Чем больше приобретаешь опыта, тем болезненнее чувствуешь то бесправие, которое мы терпим, находясь в ярме. Каждое известие в газете об их победах так волнует мое сердце, как будто бы я один из них. Это народ, который с каждым днем растет н в силе, и в искусстве, радостно смотреть! Только они есть и будут нашими мстителями, а может быть, и опорой. Что было бы без них с остальным славянством? ... Давайте же любить их за это, любить всей душой! и пусть гнусная политика запрещает нам показывать эту любовь... — тем искреннее мы будем распространять любовь и верность нашим братьям, где и как только это возможно» **[**151, *418***]**.

«Отголоски русских песен» Ф. Л. Челаковского, в которых отразилось глубокое проникновение автора в дух русского народного творчества, в героическое прошлое русского народа, вера в его неисчерпаемые духовные силы, прочно легли в основу тех традиций дружбы между чешским и русским народами, которые в дальнейшем получили такое широкое развитие.

«Русофильство» Ф. Л. Челаковского претерпело определенную эволюцию. Если вначале его отношение к России было в значительной степени идеализированным, то по мере углубления его знакомства с передовой русской литературой и по мере развития политических событий в Европе, Челаковский стал осознавать реакционную сущность царского самодержавия **[**70**]**. Особенно повлияли на Челаковского события, связанные с жестоким подавлением царскими войсками польского восстания (1830—1831 гг.). К 1835 г. относится появление в газете «Пражске новины», редакти-

[15] См., например, отклик Я. Лангера: «„ Отголоски русских песен“... мы можем смело назвать высшим достижением и гордостью нашей новейшей поэзии. Их эстетические достоинства очевидны и доступны каждому» (ČČM, 1834, 378). Ср. также мнение Ф. Палацкого: «...наряду с „Дочерью Славы“ мы не найдем в нашей новейшей литературе более благородного поэтичеекого плода, чем „Отголоски”» (ČČM, 1830, 112).

руемой Ф. Л. Челаковским, осудительного комментария к речи Николая I, содержавшей угрозы по адресу участников польского освободительного движения. Комментарий обратил на себя внимание царских чиновников, и австрийские власти поспешили наказать редактора, известного своим «опасным русофильством», отняв у него средства к существованию. Удар был рассчитан не только по Челаковскому.

Как показали наши разыскания, комментарий к Варшавской речи Николая I был не единственным политическим выступлением Ф. Л. Челаковского: к этому же периоду относится критика карательской политики русского самодержавия, завуалированная в тексте его переводов с русского **[**49, *152—154***]**.

Вообще переводческая деятельность Ф. Л. Челаковского, до сих пор мало изученная, имела большое значение для подъема чешской национальной литературы и расширения выразительных возможностей чешского литературного языка. Особенного внимания заслуживает в этом плане содержание редактируемого Челаковским литературного приложения к газете «Пражске новины» («Pražské noviny»), еженедельника «Ческа вчела» («Česká včela»). Как отмечает Л. Задражил, «переводы с русского составляли основную часть беллетристической прозы, которую в течение двух лет предлагал читателям один из трех главных и наиболее распространенных чешских журналов в середине 30-х годов прошлого столетия» **[**191, *10***]**. Можно добавить к этому, что большая часть переводов с других языков, в частности с английского и французского, помещенных в еженедельнике, сделана Челаковским, как мы убедились, через посредство русских текстов.

Язык собственных и переводных произведений Ф. Л. Челаковского чрезвычайно интересен с точки зрения проявления в нем русского влияния. В отличие от В. Ганки, А. Марека и некоторых других литераторов, Челаковский не перегружал свои произведения русскими лексическими заимствованиями. Только в «Отголосках русских песен» мы находим довольно многочисленные лексические русизмы (например, aršin, ataman, bojar, hosudar, kamka, knut, nasměšník, panichida, popona, sobaka, stolničiti, svist и др.), однако они вполне оправданы стилистической функцией создания русского колорита. В целом же Челаковский строго следует принципу, выдвинутому Й. Юнгманом: всемерно приспосабливать заимствованные слова к форме и звучанию исконных чешских слов. Сопоставление текстов переводов Челаковского с русскими оригиналами свидетельствует о его необычайно тонкой работе по созданию литературной, преимущественно отвлеченной, лексики, образцом для которой послужили соответствующие русские слова.

Изучение документов эпохи, в том числе переписки деятелей чешского национального возрождения, показывает, что наряду с будителями, о которых шла речь выше, достаточно хорошо владели русским языком и другие

выдающиеся ученые и литераторы той эпохи, в частности Я. Коллар (1793—1852), П. Й. Шафарик (1795—1861), Ф. Палацкий (1798—1876), Я. С. Пресл (1791—1849), Я. Э. Пуркине (1787—1869). Вклад их в обогащение чешской лексики за счет заимствований из русского языка неодинаков. Наиболее интенсивно использовал славянские языки в качестве источника чешской научной терминологии ботаник и зоолог Я. С. Пресл. По данным польской исследовательницы Т. Орлось, в период чешского национального возрождения заимствовано в основном через посредство Я. С. Пресла, около 39% ботанических и 34% зоологических русских терминов из общего числа терминологических заимствований [169, *152*].

Усилия будителей поднять культурный уровень своего народа отразились, в частности, в создании научных и общеобразовательных периодических изданий: «Крок» («Krok», начал выходить с 1821 г. под редакцией Я. С. Пресла); «Часопис Ческего музеа» («Časopis Českého musea», начал выходить с 1827 г. под редакцией Ф. Палацкого); «Светозор» («Světozor», в 1834—1835 гг. выходил под редакцией П. Й. Шафарика) и др. В этих журналах мы почти не находим оригинальных научных исследований; здесь четко выступает другая цель — создать чешскую научную терминологию и средствами родного языка знакомить чешского читателя с достижениями европейской науки. Эти просветительские задачи выполняются во многих случаях неспециалистами в области соответствующих наук, а теми, кого скорее можно было бы назвать филологами и литераторами. Так, из биографии первого крупного чешского поэта Антонина Ярослава Пухмайера известно, что он переводил с немецкого на чешские ботанические труды ученого чеха графа Штернберка, а также готовил чешскую публикацию, посвященную классификации птиц. Показателен сам подход Пухмайера к этой работе, как он вырисовывается из его письма к профессору гимназии Й. В. Седлачеку. Пухмайер рекомендует поручить чешским студентам перевести немецкую работу о птицах. «Когда это будет сделано, — пишет он, — перешлите перевод мне, я поправлю его в части названий птиц; если переводчик не знает названия, пусть его пропустит ... а я потом добавлю. Мне известно более 200 чешских названий, а что неизвестно — узнаю, а чего у нас нет — образуем сами, или возьмем из польского и русского» (Puch., s. XXIV).

Наши наблюдения позволяют говорить о создании под воздействием русского языка заметного пласта исторической терминологии и отвлеченной лексики в научных трудах П. Й. Шафарика. С именем Ф. Палацкого связано введение в чешский язык некоторых русизмов, обогативших чешскую литературоведческую и эстетическую терминологию. В то же время язык поэтических произведений П. Й. Шафарика, Я. Э. Пуркине, Ф. Палацкого и страстного поборника идеи славянской взаимности Я. Коллара обнаруживает, как правило, лишь те русизмы, которые пришли в литера-

туру первых десятилетий XIX в. главным образом из знаменитых переводов Й. Юнгмана [178, *91, 102*, *108*].

Глава II

РАСПРОСТРАНЕНИЕ РУССКИХ ЛЕКСИЧЕСКИХ И СЕМАНТИЧЕСКИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ В ТЕКСТАХ ПЕРИОДА ЧЕШСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ

§ 1. Вводные замечания. Изучение результатов влияния одного близкородственного языка на другой выдвигает перед исследователем ряд сложных проблем.

Прежде всего, нелегкую лингвистическую задачу представляет само установление фактов этого влияния: близость лексических основ и словообразовательных средств затрудняет разграничение параллельных, не зависимых друг от друга образований и заимствований из родственного языка.[16] В этой связи особую роль приобретает изучение условий первых употреблений новых слов или слов с новым значением в чешском литературном языке начала XIX в., которое в ряде случаев позволяет выявить инославянский литературный источник инновации и установить факт заимствования.

Тексты, содержащие сравнительно большое количество русизмов и сыгравшие роль своеобразных проводников этих слов в чешском литературном языке, можно разделить на три группы: 1) переводные тексты, возникшие в первой половине XIX в.; 2) литературные фальсификаты начала XIX в. («патриотические подделки национальных древностей», по выражению В. М. Жирмунского [29, *67*]); 3) Чешско-немецкий словарь Й. Юнгмана (1835—1839).

---

[16] Показательно, что Л. А. Булаховский видел основную причину недостаточной разработанности проблемы взаимовлияния славянских литературных языков в том, что «полный и серьезный ответ на вопрос требовал в гораздо большей мере *филологического* (курсив автора. — *Г. Л.)* изучения, нежели сравнительно-исторического: нужно было шаг за шагом изучать историю литературного языка в прямых показаниях источников, собирать историко-литературные и исторические справки, кропотливо, часто из очень большого материала, извлекать отдельные факты, далеко не всегда строящиеся в легкие и убедительные ряды обобщений» [14, *37*].

Выявление русизмов[17] в каждой из этих групп текстов требует разного филологического подхода.

§ 2. Русизмы в чешских переводах начала XIX в.

В период становления чешской национальной литературы исключительно большое значение имели художественные переводы, появившиеся в начале XIX в. По существу в них создавалась языковая основа чешской поэзии и прозы нового времени. «Для перевода эпохи национального возрождения, — отмечает Иржи Левы, — характерно, что он еще не вполне обладает функцией эстетической. Перевод не стремится быть автономным художественным произведением, а в первую очередь служит созданию средств для развития чешской литературы» [158, 75]. Роль переводов как своеобразной лаборатории художественного мастерства отмечается и для других литератур на определенном этапе их развития [48, *5—63*]; для чешской же литературы начала XIX в. она особенно велика, так как литературное развитие в этот период определялось стремлением «доказать, что чешский язык, расцениваемый, тогда как важнейший национальный признак, способен сравниться с языком развитых литератур» [111, *9*].

С точки зрения изучения русского влияния на лексику чешского литературного языка этого периода большой интерес представляют, естественно, переводы с русского. Между тем невольно обращает на себя внимание тот факт, что в начале XIX в. возникло сравнительно небольшое число переводов из русской литературы. Примечательно в этом смысле суждение из статьи «Обозрение новейшей богемской литературы», опубликованной в 1822 г. в журнале «Сын отечества»: «Странно, что у богемцев так мало переводов из сродственной им польской и русской литературы. Хотя образованный богемец и может понимать их творения, но все надобно бы было перевести с их языков многое, чтоб сделать понятным и доставить случай прочесть сии произведения и менее просвещенным классам народа» (ч. 77, № XIX, с. 220).[18] С этой мыслью перекликается другая, высказанная уже в наше время в коллективной монографии чешских авторов «История чешско-русских отношений»: «При большом интересе деятелей чешского национального возрождения к России и русской культуре поражает незначительное количество переводов с русского в период с 1800 по 1830 г. ...Этот факт контрастирует с известной целеустремленной деятельностью А. Пух-

---

[17] Русизмами здесь обобщенно называются все проявления русского воздействия на лексику чешского литературного языка: лексические и семантические заимствования, чешские архаизмы, оживленные под влиянием русского языка, и др.

[18] Как указано в подзаголовке, статья представляет собой перевод из немецкого журнала «Gesellschafter». По предположению А. А. Зайцевой, она была помещена в издании «Der Gesellschafter oder Blätter für Geist und Herz» (Berlin, 1817—1848) и могла принадлежать перу чешского будителя К. Винаржицкого [31, *101 и сл*].

майера, Я. Неедлы и Й. Юнгмана, которая была ориентирована на античную литературу, а также на классических или модных западноевропейских авторов. Вероятно, Й. Добровский не был одинок в своем убеждении, что славяне, в том числе даже русские и поляки, до сих пор не создали классическую в полном смысле этого слова художественную литературу» [112, *57*]. Последнее предположение, неубедительное и в отношении Добровского,[19] противоречит фактам высокой оценки русской, а также и польской литературы со стороны других чешских будителей. Так, в программной статье, написанной в 1827 г. и предназначенной для первого чешского научного журнала «Часопис Ческего музеа» (ČČM), «О классичности литературы и ее важности» Й. Юнгман оценивает как литературы, обладающие высоким свойством классичности, итальянскую, испанскую, французскую, английскую, немецкую, польскую и русскую, называя писателей-классиков: Сервантеса, Тассо, Петрарку, Ариосто, Расина, Корнеля, Шекспира, Томсона, Попа, Шиллера, Гете, Кохановского, Красицкого, Ломоносова и Державина [104, *104*]. В переписке будителей мы находим немало свидетельств того, что произведения русских авторов с большой любовью читались и изучались в кружке друзей и последователей Юнгмана. Так, Ф. Л. Челаковский в 1821 г. пишет своему другу Й. Камариту: «Мое любимейшее занятие и развлечение — русская литература; сейчас я читаю стихи Карамзина. О, какой это обаятельный, какой мужественный певец! Я хотел было делать из него выписки, но тогда мне пришлось бы почти всего его переписать — так он мне нравится» [109, *54—55*]. Таким же настроением проникнуты слова Й. Юнгмана-младшего в письме к А. Мареку: «И я сейчас наслаждаюсь чтением «Трудов любителей российской словесности» и проникаюсь все большим желанием изучить русский язык...» Затем следуют стихи: «...My vzory ruské || Půlnoční převracujme i denní» (Русские образцы листайте полночной рукою, листайте и днем) [144, *24*].

Приведенные высказывания о русской литературе, как нам кажется, не дают оснований утверждать, что для того круга будителей, который осуществлял основную переводческую деятельность в начале XIX в., было характерно недостаточное признание русской литературы.

Вместе с тем переводов из русской литературы в первые три десятилетия XIX в. было действительно немного. По данным библиографического справочника Й. Бечки [99, *6—9*], до 30-х годов появились переводы оды Г. Р. Державина «Бог» (автор перевода Й. Камарит), оды М. М. Хераскова «Величие Бога» (переводчик А. Пухмайер), шестнадцать переводов из Н.

[19] Что касается взглядов Й. Добровского на современные ему славянские, в том числе и русскую, литературы, то они были весьма своеобразными и определялись его позицией историка-лингвиста. Ср. вывод Й. Грабака: «Характер историко-литературных взглядов Добровского обусловлен тесным слиянием представлений о литературе и языке. Коротко можно сказать, что вся его разработка истории литературы ведется под языковым углом зрения» [133, *353*].

М. Карамзина (стихотворения и отрывки из «Истории») и др. После 1830 г. число переводов резко возрастает и в дальнейшем все время увеличивается.

Правда, переводы с русского, относящиеся к первой трети XIX в., очевидно, учтены еще не полностью. Так, установлено, что опубликованный Й. Юнгманом в 1807 г. в журнале «Гласатель» текст под названием «Сатирическое происшествие» является переводом напечатанного в «Живописце» Н. И. Новикова произведения «На сих днях получил я послание», сатирической переделки сочинения «Торг семи муз. Из Кригеровых снов» принадлежащего Д. И. Фонвизину [193, *380;* 66, *290*]. С. В. Никольский установил, что в 1824 г. Ф. Л. Челаковским опубликован перевод повести русского писателя А. Дуропа «Ратмир и Всемила», напечатанный в журнале «Соревнователь просвещения и благотворения» [69, *364*]) нами обнаружен в журнале «Чехослав» за 1821 г. известный этюд Н. М. Карамзина «Деревня», озаглавленный-переводчиком Ф. Широм «Край. Перевод с русско-славянского наречия» (Čechoslav, 1821, N 22, s. 31—32).

Дальнейшие поиски, вероятно, позволят выявить еще некоторое число переводов произведений русских писателей на чешский язык, выполненных в первой трети XIX в., однако в целом их удельный вес по сравнению с переводами из западноевропейских и античных литератур вряд ли изменится.

Соотношение переводов, характерное для этого времени, отразилось и на переводческой деятельности самого Йозефа Юнгмана. О. Зилынский пишет об этом: «На основании того, что Юнгман считал славянские языки наиценнейшим источником обогащения литературного чешского языка и приписывал переводам выдающуюся роль в освоении таких элементов, можно было бы ожидать, что в своем переводческом творчестве он будет систематически обращаться именно к переводам со славянских языков. Однако это не так. Вклад Й. Юнгмана в этой области неожиданно мал: нельзя не видеть, что эта часть переводческого наследия Юнгмана наименее значительна и что она всегда играла периферийную роль в его переводческой деятельности. Всего Юнгман перевел по три произведения из польской и русской литератур, не считая неоконченных набросков» [193, *579*].

Одну из причин этого, на первый взгляд, непонятного явления О. Зилынский правильно, как нам кажется, видит в том, что, по представлениям будителей юнгмановского поколения, произведения славянских литератур не нуждались во взаимных переводах. «Для чего переводить на чешский язык произведения родственных литератур, которые может понять каждый? Каждый образованный чех, наоборот, должен был бы стремиться читать их в оригинале, потому что это более всего способствует языковому сближению. Если поколение начинает говорить о единой славянской литературе в разных наречиях, если оно верит в будущее полное слияние сла-

вянских культур, то переводы со славянских языков теряют свой raison d'être. Эти переводы могут быть оправданы главным образом практическими целями, например, как учебные пособия» [193, *580*].

О. Зилынский указывает и на одно из внешних препятствий перевода с русского: малую доступность русских книг в Чехии той эпохи. Однако, мы знаем, что несмотря на большие трудности, с которыми было сопряжено распространение русской литературы в Чехии в начале XIX в., ведущие представители чешского национально-освободительного движения Й. Добровский, Й. Юнгман, А. Марек, В. Ганка и др. все же имели довольно обширные собрания русских книг [63, *97—114,* 64, *100—118*, *155—158*].

Более значительным внешним препятствием представляется нам политическая обстановка в Чехии первых десятилетий XIX в., особенно в пору меттерниховской реакции, когда всякая манифестация доброжелательного отношения к России была политически далеко не безопасным делом. В переписке будителей можно найти указания на то, что в глазах австрийских властей было подозрительным даже обращение к русскому языку как источнику обогащения чешской лексики. Так, Й. Юнгман в письме А. Мареку от 1819 г. сообщает о том, что цензура не пропустила в печать перевод романа французского писателя Мармонтеля «Велизарий», выполненного Ф. Ветешником, и просит передать переводчику совет, чтобы он «с годик подождал, а потом, изменив некоторые слова, особенно те, которые этим глупцам кажутся слишком русскими, подал перевод в цензуру под другим именем» (ČČM 1881, 458). В 1824 г. сын Й. Юнгмана пишет А. Мареку по поводу борьбы вокруг вопросов правописания, которая в эти годы велась среди чешских литераторов: «Наши преследователи и враги так преуспели в своих вымыслах, что у полиции наверняка сложилось мнение, что за буквой „йот” скрыт сплошной карбонаризм и что чехи вступили в союз и сообщество с русскими» [144, *70*].

Следующий отрывок из письма Й. Юнгмана А. Мареку (1827 г.) содержит прямое указание на то, что Ф. Палацкий, редактор журнала «Часопис Ческего музеа», вынужден был ограничивать помещение в нем переводов из славянских литератур и материалов о славянах: «Я говорю о славянской литературе! Потому что приятно употребить это название хотя бы в письме к другу, так как в печати это уже почти невозможно сделать. Мы так подчинились домашнему вору, что нам уже, можно сказать, запрещается признавать себя славянами. Боятся, чтобы мы не ополячились, или, того хуже, не обрусели; поэтому цензура очень настороженно относится к самому слову „славянин”, а мудрые литераторы с осторожностью его используют, как, например, Палацкий, который взял себе за правило не при-

нимать в свой музейный журнал ничего ни от славян, ни о славянах, разве только где нельзя без этого обойтись...» (ČČM, 1883, 57).[20]

Таким образом, создание прямых переводов из русской литературы не стимулировалось в начале XIX в. ни господствующими среди литераторов идеями славянской взаимности, ни факторами внешнего порядка.

Однако язык многих чешских переводов того времени из античной и западноевропейских литератур несет на себе явные следы русского лексического влияния, что заставляет предположить возможность русских литературных посредников этих переводов.

Литературное посредничество в переводческом деле — явление неоднородное; неодинаковы и причины его появления. Вероятно, более типично посредничество, обусловленное тем, что на каком-то этапе затруднен или даже невозможен прямой перевод того или иного произведения, например, из-за малой распространенности и слабого знания языка, на котором оно создано **[**30**]**. Так, для чешских переводов начала XIX характерно немецкое «промежуточное звено» **[**158, *11***]**, естественное в условиях немецко-чешского билингвизма, который был распространен в чешском обществе того времени **[**180, *21—28***]**.

Однако обращение к переводам-посредникам могло вызываться и совсем другими причинами, не связанными со стремлением автора глубже проникнуть в переводимый текст, опираясь на тот язык, которым он владеет в большей степени. Чешские переводчики периода национального возрождения, решавшие в первую очередь задачу обогащения родного языка, обращались к славянскому посредничеству с целью облегчить себе выполнение этой главной задачи. Родственный язык давал им обильный материал, на который они опирались в собственном словотворчестве и из которого черпали прямые заимствования.

Начало использованию славянских переводов-посредников как вспомогательного средства при переводе произведений западноевропейских литератур положил Антонин Ярослав Пухмайер, который опирался на польские посредники, переводя из Лафонтена и Монтескье. В предисловии к одному из переводов (1804 г.) он так обосновывает свой подход: «Мы от этого получаем двойную пользу: во-первых, переводя что-нибудь с иностранного языка на наш чешский, мы сбережем половину усилий, имея под рукой перевод польский; а во-вторых, мы так будем учиться более совершенным славянским способам выражения, не опасаясь испортить дело неуклюжей онемеченной „чешчиной”».[21]

Приведенное высказывание А. Пухмайера является единственным публичным признанием славянского литературного посредничества в чешских

---

[20] Ср. также отрывок из письма тому же адресату (1835 г.): «Цензурирует чешские газеты Циммерман, а он все, где встречается слово „русские“, вычеркивает и таким образом несомненно лишает нас хороших и невинных новостей» (ČČM 1883, 511).

[21] Цит. по кн. Я. Влчека [188, *30*].

переводах первой половины XIX в.[22] Вероятно, поэтому у исследователей сложилось мнение, что инициатива Пухмайера не встретила сколько-нибудь живого отклика среди современных ему чешских поэтов [110, *119*].

Между тем отсутствие прямых указаний в печати на факты славянского посредничества в чешских переводах той эпохи легко объясняется политическими условиями, в которых протекала литературная деятельность будителей и о которых шла речь выше.

Таким образом, при выявлении возможных русских переводов-посредников исследователь вынужден опираться в основном на сопоставление текстов чешских переводов с соответствующими более ранними русскими переводами, если таковые существовали.

Наибольшее внимание привлекают с этой точки зрения основополагающие для чешской литературы нового времени переводы Й. Юнгмана — «Потерянный-рай» Дж. Мильтона (далее JR) и «Атала» Ф. К. Шатобриана (далее JA). Исследователями уже установлено обращение Й. Юнгмана при работе над мильтоновским «Потерянным раем» к обоим указанным выше типам литературных посредников. Уже Э. Халупный указал на два немецких посредника и один польский [135]; М. Шийковский [172, *137—233*] подробно изучал отношение юнгмановского перевода к польскому, выполненному Я. Пшибыльским (далее Przyb.), Л. Цейп обобщил результаты вышедших ранее исследований и проделал сопоставление пяти текстов (английского оригинала, перевода Й. Юнгмана, двух немецких посредников и одного польского) [107]. Ученый пришел к выводу, что Юнгман прибегал к комбинированному использованию трех посредников; при этом немецкие тексты служили ему для более точного понимания и передачи смысла оригинала, а польский был опорой при словотворчестве (отсюда большое количество полонизмов в языке перевода).

В лексике юнгмановского перевода, как уже говорилось, есть и немало русизмов; на русское происхождение некоторых слов указывает сам Й. Юнгман в словаре-приложении. Например: «cár ... слово, от татар к русским перешедшее или, может быть, образованное стяжением слова Caesar; ...příroda (рус. природа)... vzduch из русск. воздух...» [142, *337—341*]. Наличие этих и целого ряда других русских элементов в лексике перевода заставило Л. Цейпа предположить и возможность обращения Юнгмана к русскому посреднику [107, *386*]. В качестве наиболее вероятного посредника он назвал перевод 1780 г., указанный самим Юнгманом в предисловии среди других переводов «Потерянного рая» на европейские языки. Однако Л. Цейп не имел возможности сопоставить текст Юнгмана с данным русским переводом.

---

[22] Подобное указание находим лишь в переписке Ф. Л. Челаковского, который называет польский текст, послуживший дли него посредником при переводе произведения В. Скотта «Дева озера» [109, *169*].

Сравнение текстов обоих переводов заставляет нас отказаться от этого предположения: русский перевод 1780 г., сделанный А. Подобедовым, в свою очередь, с французского перевода, не обнаруживает языковой общности с переводом Й. Юнгмана. Между тем сопоставление с другими переводами поэмы Дж. Мильтона на русский язык, опубликованными до создания перевода Й. Юнгмана,[23] показало несомненную зависимость чешского текста от русского перевода 1777 г., выполненного В. П. Петровым (далее В. П.). Этот перевод неполный (из двенадцати песен поэмы переведены три первых), прозаический; язык его перегружен старославянизмами; вместе с тем он надежен в смысле верности оригиналу. В. П. Петров, придворный поэт Екатерины II, имел возможность серьезно изучить английский язык, находясь в течение нескольких лет в Англии. В отличие от ряда других, данный перевод сделан не через французское посредство, а прямо с подлинника.

Таким образом, к трем вспомогательным текстам, комбинированное использование которых Юнгманом хорошо показано в работе Л. Цейпа, следует прибавить и четвертый, русский текст. Имея возможность опереться на результаты Л. Цейпа относительно связи юнгмановского перевода с немецкими посредниками, а также соотношения этих текстов с оригиналом, мы провели, в свою очередь, сопоставление чешского, польского и русского текстов.

Приведем некоторые примеры, показательные с точки зрения переводческого метода Й. Юнгмана и его приемов обогащения чешского языка за счет инославянских элементов. Ср. следующие тексты:

В. П.	**Przyb.**	**JR**
Противу нашего величайшего сопостата, который днесь торжествует, и в избытке радости, яко тиран, един одержит владычество неба… (6).	Z wielkim Nieprzyjacielem… który dziś tryumfuje, a w zbytku radości sam dzierży tyrannia Pan Niebeskich włości (10).	S velkým vrahem svým ježto nyní u vítězném plésání… samodržec, vládne nebes královstvím (24).

Во-первых, примечателен пропуск в чешском переводе слов, отвечающих англ. the tyranny, русск. *яко тиран*, польск. Tyrannią. Л. Цейп **[**107, *398—399***]** убедительно объясняет подобные факты стремлением Юнгмана избежать (вероятно, по цензурным соображениям) некоторых обозначений, которые могли иметь актуальную политическую окраску в условиях Габсбургского режима.[24] Во-вторых, характерно употребление существи-

[23] См. обзор русских переводов «Потерянного рая» в работе Ю. Д. Левина [47].

[24] О том, что австрийская цензура могла не пропускать слово *тиран* в чешских произведениях, свидетельствуют факты, приведенные в переписке Ф. Л. Челаковского. В письме к Й. Камариту от 2 дек. 1821 г. он пишет: «В одном стихотворении цензор зачеркнул мне слово тиран в предложении: „мою свободу не связывает высший

тельных vrah и samodržec. Samodržec — русизм, но появление его в данном контексте не прямой перенос из русского посредника: здесь это существительное инспирировано русским сочетанием *един одержит* и польским sam dzierży. В то же время в других случаях русскому *самодержец* соответствуют в юнгмановском тексте иные лексические средства: Ср.: наш ненавистный самодержец (В. П., 45) — mrzutý pán náš (JR, 50); восстал самодержец (В. П., 54) — vstane král (JR, 56); по зову великого их самодержца (В. П., 16) — na hlas krále velkého (JR, 31). Очевидно, что лексическое заимствование было для Юнгмана процессом отнюдь не механическим, причем среди факторов, определяющих выбор слова, важную роль играли и соображения размера и ритма стихотворного перевода. Нет в данном русском контексте и прямого соответствия чешскому vrah, хотя из двух десятков его употреблений в первых трех песнях юнгмановского перевода в девяти случаях они отвечают слову *враг* в русском тексте. Ср., например: «kdo přemohl vraha odpolu» (JR, 38) — «побеждающий силою, получает половину победы над врагом своим» (В. П., 39); «ale tento můj, z mých beder pošlý vrah» (JR, 65) — «но оный мой утробовоспитанный враг» (В. П., 66). В некоторых случаях, что особенно важно подчеркнуть, можно наблюдать тройное соответствие: в русском, польском и чешском текстах. Ср.: противу толь великого врага (В. П., 43) — przeciw mocnemu wrogowi (Przyb., 42) — mohutného vraha (JR, 43); всех моих врагов (В. П., 88) — wszystkie wrogy (Przyb., 81) — veškeré své vrahy (JR, 81).

К началу XIX в. чешское существительное vrah уже не употреблялось в значении ‘неприятель’, выступающем в приведенных примерах. Это значение, свойственное слову в древнечешском языке, впоследствии сузилось (vrah — ‘убийца’).[25] Здесь же Юнгман оживляет архаическое значение существительного, обогащая таким образом синонимические ресурсы литературного языка (nepřítel — vrah).

Несомненное значение для Й. Юнгмана имел тот факт, что оживление старого значения в чешском слове было в то же время восстановлением утраченного семантического тождества русского, польского и чешского слов.

Подобно русскому и польскому переводчикам, Юнгман употребляет слово vrah и в значении ‘дьявол, сатана’. Ср.: «Ledva dokonal, i pílí ouhlavní k břehu jíti vrah» (JR, 28) — «Едва он скончал свои глаголы, как начальник врагов двигнулся ко брегу» (В. П., 13); польское соответствие — arciwróg. Данное значение слова представлено и в словаре Юнгмана (JS V, 171), но

тиран”, и мне пришлось поставить вместо этого „ни один человек”... В будущем слово тиран, говорят, даже в словарях не будут терпеть, — видишь, как начинают чистить язык...» [109, *72*]. В письме тому же адресату от 9 февр. 1822 г.: «В стихотворении „К отчизне” цензура вычеркнула у тебя... словечко тиранам, я там поставил владыкам» [109, *83*].

[25] См. об этом у Й. Иречека [139, *150*].

документировано только одним, более поздним примером — поддельной (приписанной) глоссой из памятника XIII в. Mater verborum (wrah, diabolus) [93, *79*].

Далеко не всегда усилия Юнгмана оживить то или иное устаревшее слово или значение увенчивалось успехом. В частности, и существительное vrah, а также его производное vražda остались в чешском языке в значениях, ‘убийца’, ‘убийство’.[26] Сопоставим еще некоторые отрывки рассматриваемых переводов.

В. П.	**Przyb.**	**JR**
Мрачный беспредельный океян, без конца, без меры; где долгота, широта, высота, время и место теряются (71).	Widać czarny Ocean nieograniczony, Nie mający ni kresów, ni miar z żadnej strony, Gdzie się szerz, dłuż, wysokość, czas i miejsce gubią (64).	Mrákotný a nezměrný okeán, Bez břehu a beze dann, Kde šíř i dýl, výš i čas i prostranství se ztracují (68).

Русский текст подсказал чешскому переводчику формы mrákotný (ср. *мрачный*), okeán (ср. океян).[27] Под влиянием польских форм szerz, dłuż Юнгман употребляет šíř, dýl, а также výš. (русск. *высота,* польск. wysokość).

Отметим еще некоторые из неологизмов, возникшие под воздействием русского текста: noci *bezhvězdné* (JR, 86) — *беззвездные* нощи (В. П., 95); o *blaženosti* a bídě *konečné* (JR, 59) — о *блаженстве* и *конечном* бедствии (В. П., 58); žadného z všech těch *nebestekoucích* bojovníků (JR, 55) — никто из сих ... *небовоюющих* витязей (В. П., 52); tvrdé skály diamantové, *neproniknutelné* (JR, 61) — из адмантовой скалы, *непроницаемые* (В. П., 61); v něm otec veškeren se skvěl *zobrazený* podstatně (JR, 78) — в нем весь его отец возблистал ипостасне *изображенный* (В. П., 84); v moři ... od Trinakrí *šumných* břehů (JR, 62) — в море, разделяющем Калабрию от *шумливого* Тринакрии брега (В. П., 94); nebe ... *věkostálé* ztvrzení (JR, 85) — небеси *вечнопребывающу* громаду (В. П., 94).

---

[26] Ср. признание безрезультатности стараний будителей воскресить исконное значение слов vrah, vražda, которое прозвучало в позднейших заметках Й. Юнгмана: «Vražda, vražedlník означают, собственно, неприятельство, неприятель, per metonimiam у чехов стало обычным убийство, убийца. Отсюда в последнее время образовали глагол vraždit вм. bíti, zabíjeti, usmrtiti, mrtviti — несомненно для того, чтобы избежать иноязычного mordovati, хотя оно известно издавна. Древние имели только глаголы: nevražiti na koho „feind sein“, zavraždit se někým „feind werden”. Они хорошо чувствовали, что vraždit, vražiti... не может означать ничего иного, чем vrahem činiti делать врагом, неприятелем, а отнюдь не убивать. Так отошли от точного чешского и славянского выражения и впали в логическую непоследовательность» (ČČM, 1843, *405*).

[27] В словаре-приложении Юнгман указывает эту форму: «Okeán — lépe než oceán, moře velké» (338).

В приведенных случаях в польском тексте отсутствует опора для рассматриваемых слов, однако можно заметить отчетливую тенденцию переводчика предпочитать при выборе слов те, основа которых повторяется в обоих посредниках. Ср., например: k kouzelnicím do *plesu* laponským (JR, 62) — do Lapońskich czarownic *plasów* (Przyb., 57) — *плясать* с Лапландскими чародеицами (В. П., 61); krajina... ubitá bouří vichřice a *hradu* hrozného (JR, 62) — *grady* spadają (Przyb., 55) — биению вихря и лютого *града* (В. П., 59); *zvaliště* (JR, 50) — *zwalisko* (Przyb., 55) — *развалины* (В. П., 59).[28]

Образованием новых лексем и актуализацией устаревших слов и значений не ограничивается та огромная лингвистическая работа, которую проделал Й. Юнгман, прибегая к славянским текстам-посредникам. Не меньшее значение имело создание новых языковых метафор, переносное употребление слов, применяемых ранее в прямом значении, а также обогащение слов новыми оттенками смысла.

Мы не рассматриваем здесь вопрос о влиянии русского текста-посредника на грамматическую сторону чешского перевода. Укажем лишь на то, что морфологические и синтаксические русские элементы в языке Юнгмана служили стилистической задаче — созданию необычного, торжественно-поэтического строя речи. Одним из средств для достижения данной цели была архаизация языка, которая осуществлялась различными способами **[**127, *96***]**. В частности, Й. Юнгман переносил в свой перевод некоторые русские (или старославянские) конструкции и формы, подобные или тождественные древнечешским. См., например, употребление под влиянием русского текста устаревшей формы инфинитива dosíci, которая к XIX в. была уже вытеснена новой — dosáhnouti: dosíci moku vnadného (JR, 60) — *досящи* прелестные струи (В. П., 59); архаичную для чешского языка конструкцию с род. падежом существительного: *dříve slunce byl jsi, dříve nebes* (JR, 74) — *прежде солнца, прежде небес* ты был (В. П., 79); оживление древней конструкции с повторяющимся союзом ni: kde *ni zem, ni mok, ni vzduch, ni oheň* (JR, 69) — где не было ни моря, ни брегов, ни воздуха, ни огня (В. П., 71) и т. п. Любопытна созданная Юнгманом конструкция «родительного самостоятельного», импульсом для которой послужила, видимо, форма дательного самостоятельного, не раз встречающаяся в сильно славянизированном тексте перевода В. П. Петрова: «Тако *вещающу Богу* амвросийское благовоние наполнило все небо» (В. П., 84) — «Takto *mluvícího boha* rozšel se po všem nebi zápach ambrosiový» (JR, 78). В авторских комментариях к переводу дано объяснение этой формы: «Ген. абсол., т. е. Когда так говорил Бог» (JR, 331). При объяснении такой же конструкции,

[28] Приведенные здесь слова ples в значении ‘пляска, танец’, hrad как наименование вида атмосферных осадков и zvaliště ‘развалины’ включены Юнгманом в словарь-приложение как непонятные. Это характеризует данные слова как неологизмы.

употребленной в другом переводе, Юнгман отмечает: «ген. абсол., который использован здесь на пробу» (JR, 330).

Если данная «проба» не удалась Й. Юнгману, и предложенная конструкция не привилась в чешском языке, то совсем иная судьба у другого его грамматического нововведения — членной формы действительных причастий прошедшего времени на –ší (-vší). Эта форма, впервые употребленная Юнгманом в переводе «Потерянного рая» на месте соответствующих форм в русском посреднике, со временем стала прочным достоянием чешского литературного языка [50].

В тесной связи с созданием перевода «Потерянного рая» находится другое крупное литературное предприятие Й. Юнгмана — перевод повести Ф. Шатобриана «Атала». Хронологические рамки этих трудов почти совпадают: над «Потерянным раем» Юнгман работал с 1801 по 1804 г., а опубликовал его в 1811 г., первый же перевод „Аталы" издан в 1805 г. Исследователи не раз задавались вопросом, почему были избраны Юнгманом для перевода именно эти, столь различные в идейно-художественном отношении произведения. «Общий знаменатель», обоих юнгмановских переводов установил Ф. Водичка в своем исследовании, посвященном начальному этапу развития чешской художественной прозы нового времени [189]: им был особый поэтический язык, к созданию которого стремился Юнгман и который, по его убеждению, должен быть присущ не только стихотворному, но и прозаическому творчеству. С этой точки зрения выбор для перевода ритмической прозы Шатобриана весьма удачен, если учесть богатство и разнообразие ее лексических средств — синонимики, метафор, эпитетов, необычных словосочетаний и т. п.

Общность творческих задач обусловила и общий подход Юнгмана к работе над обоими переводами. В частности, обращает на себя внимание значительное сходство в словоупотреблении автора, общая тенденция к архаизации языка, стремление создать некий общеславянский запас слов» [189, *76*].

Так же, как при изучении перевода «Потерянного рая», и здесь встал вопрос о возможном литературном посредничестве.

В предисловии к первому изданию «Аталы» Й. Юнгман указывает на существование к тому времени трех итальянских, одного немецкого и двух русских переводов повести [143, *9*]. В результате тщательного анализа текстов Й. Ш. Квапил обнаружил, что Юнгман имел в своем распоряжении упомянутый им в предисловии немецкий перевод, известное влияние которого сказывается на языке перевода Юнгмана [157, *450*].

Высказывалось предположение и о польском посредничестве при переводе «Аталы», так как в лексике имеется немало явных полонизмов. Однако М. Шийковский указал на то, что первый польский перевод «Аталы» относится уже к 1817 г. [172, *193*].

Наконец, допускалось и существование русского перевода-посредника [189, *62*]. Й. Ш. Квапил даже сопоставил юнгмановский текст с двумя более ранними переводами «Аталы» на русский язык: В. Измайлова (1802 г.) и анонимным, без указания года издания и обозначенным инициалами И... С... (издатель). По мнению исследователя, эти переводы не были использованы Юнгманом в качестве вспомогательного текста [157, *451 исл.*].

Предпринятая нами проверка гипотезы Ф. Водички позволила прежде всего уточнить данные Й. Ш. Квапила относительно русских переводов «Аталы», предшествовавших юнгмановскому. Анонимный перевод в действительности имеет в заглавии другие инициалы — Н. Р. (далее это издание называем Н. Р.). Автором его был Николай Александрович Радищев (1778—1829), сын знаменитого писателя и революционера [57, *229*].

Существовал также и третий русский перевод «Аталы» — Ивана Мартынова, более ранний по сравнению с юнгмановским (далее это издание называем И. М.). Оба последних перевода настолько близки между собой, что могли бы быть двумя редакциями одной и той же работы.

Как показало сопоставление текстов, Й. Юнгман использовал два последних перевода в качестве опорного средства, попеременно обращаясь к каждому из них.[29]

Проиллюстрируем это хотя бы одним примером.

Шатобриан:30 Il fut un temps, répliquai je avec des larmes, que j'étais aussi porté, dans une peau de castor, aux épaules d'une mère (22).

Перевод Н. Р.: Было время, ответствовал я со слезами, как я носим был в коже бобровой на раменах матери (31).

Перевод И. М.: Было время, возразил я со слезами, что и меня носила мать моя в бобровых кожах на плечах своих (37).

Перевод Юнгмана: «Ach, bylo», odpovím slzavě, «že i mne nosila v koži bobrové na plecích matka má» (JA, 18).

Это предложение типично для языка юнгмановского перевода «Аталы» особенностями своего построения: местом сказуемого, которое, вопреки литературной традиции того времени, не замыкает предложения; постпозицией согласуемого определения (v koži bobrové, matka má). Образец для последней черты Ф. Водичка справедливо видит в библейских текстах [189, *84*], но очевидно, что она была поддержана и русскими соответствиями.

В привлеченных нами русских переводах «Аталы» обнаруживается опора для ряда лексических русизмов чешского текста: hranostaj (горно-

---

[29] Остается загадкой, каким путем обе названные книги попали к Юнгману. Это нужно считать большой случайностью, так как известно, что в то время русские книги проникали в Чехию с немалыми трудностями и нерегулярно [66, *271—293*].

[30] Цитаты даны по изд.: Chateaubriand. Atala. René. Paris, 1911.

стай), krajnost (крайний член тела, конечность), obřad (обряд), ústí (устье), záliv (залив), ženština (женщина).[31]

Приведем эти соответствия.

Шатобриан	**Русские переводы**	**JA**
Mila a les yeux d'une *hermine* (27)	У милы глаза *горностаевы* (И. М., 48)	Mila má oči *hranostajové* (20)
les *extrémités* de son corps (87)	*крайности* тела ее (И. М., 174)	*krajnosti* těla jejího (45)
pendant les jours consacrés à cette *cérémonie* (35)	во дни, посвященные сему торжественному *обряду* (Н. Р., 55)	ve dny zasvěcené tomu velikému *obřadu* (23)
le fleuve… les pousse *au golfe* (12)	река… влечет их к своему *устью* (Н. Р., 3)	řeka… pudí k *ústí* je svému (11)
Les *femmes*… tèmoignaient pour ma jeunesse une pitié tendre (17)	*Женщины*… оказывали юности моей нежную жалость (И. М., 26)	*Ženštiny*… osvědčívaly nad mou mladostí útrpnost laskavou (16)

Как и в языке «Потерянного рая», здесь широко представлены неологизмы, импульсом для которых явились соответствующие формы в тексте перевода-посредника. В одних случаях образцом послужила основа русского соответствия, в других калькировались словообразовательные аффиксы. Так, односложным юнгмановским новообразованиям в Ja ples (25), střed (22), ryk (68)[32] в русском тексте Н. Р. отвечают *пляски* (62), *средина* (50), *рыкание* (85).

Несомненно под влиянием русского соответствия из-под пера Юнгмана появляются формы zplameňovati, zkrášený, záhyb, šumání, postupně: zorní záře... *zplameňovala* východ (JA, 37) — заря... *воспламеняла* восток (И. М., 138); na nebi *zkrášeném* (JA, 4 7) — по *украшенным* небесам (И. М., 188); zdaž není, kde by nás ukryli lesové, *záhybu* (faldu) v zelenitém oděvu jejich? (JA, 18—19) — Не имеют ли леса в зеленой своей одежде *изгибов* для нашего убежища? (И. М., 38); mino povlovné *šumání* člun našeho (JA, 29) — кроме тихого *шума* лодки нашей (И. М., 25); viděl jsem postupně mizeti podobu své milenky (JA, 52) — я видел, как *постепенно* исчезали черты моей любезной (И. М., 212).

Наряду со случаями, когда выбор чешского слова мотивирован его прямым соответствием в языке перевода-посредника, наблюдаются и другие, — когда русское влияние не связано с опорными текстами или эта связь опосредована.

Характерно в этом смысле употребление Й. Юнгманом существительного vějíř, которое рассматривается в литературе как несомненный русизм [127, *96*]. Оно встречается в «Атале» один раз, в составе образного сравнения: oblouky... okrývají stanek ten na způsob *vějíře* dnového (JA, 22). Ср. рус-

---

[31] Названные слова имеют объяснение в притекстовом словарике Й. Юнгмана как непонятные в то время.

[32] В притекстовом словарике Юнгман объясняет их как непонятные.

ское соответствие: покрывали кущу наподобие прозрачного *опахала.* (И. М., 66). Воздействие русского посредника проявилось здесь очень своеобразно: в авторском пояснении неологизма vějíř употреблен второй неологизм — opachadlo: «vějíř — oháňky, opachadlo, vadrle». Вероятно, слово vějíř, более уместное в данном контексте по соображениям ритмического построения фразы, чем opachadlo, было образовано Юнгманом по образцу русского *веер* — слова, которое он мог встретить в каком-нибудь русском словаре как объяснение существительного *опахало.* Впоследствии из двух юнгмановских неологизмов — vějíř и opachadlo — в чешском литературном языке привился только первый.

Остановимся еще на обращении Й. Юнгмана к русским образцам в целях архаизации текста. Среди устаревших слов, которые переводчик пытается ввести в поэтический оборот; находим, в частности, mrav (нрав), ostříhati (стеречь), osudí (посуда, сосуд), reptati (роптать). Все они имеют поддержку в тексте переводов-посредников: nemeňme ničeho na *mravu* otcovském (JA, 2 3) — не переменим что-либо *во нравах* наших предков (Н. Р., 52); já *ostříhám* vězně (JA, 18) — я *постерегу* пленника (И. М., 34); některé dřevěné osudí (JA, 34) — несколько деревянных *сосудов* (И. М., 120); *nerepci* proti osudu (JA, 29) — не *ропщи* на судьбу свою (Н. Р., 82).

Приведенными примерами далеко не исчерпывается многогранное и глубокое влияние русского языка на язык чешских переводов «Потерянного рая» и в особенности «Аталы». В свою очередь, юнгмановские переводы послужили источником поэтизмов русского происхождения для других литераторов той поры.

Русские тексты-посредники были использованы не только при переводе «Потерянного рая» и «Аталы». Нам удалось выявить такие тексты еще для некоторых чешских переводов.[33]

Функция русского литературного посредничества — способствовать обогащению чешского литературного языка — оставалась неизменной, начиная с переводов «Потерянного рая» и «Аталы» и кончая переводами сороковых годов, когда традиция обращения к русским посредникам практически затухает. Однако в течение этого времени заметно изменилось значение данного посредничества. Наиболее важным и плодотворным оно было в знаменитых юнгмановских переводах, с которых начинается реальный подъем чешского литературного языка нового времени. Поток неоло-

---

[33] Выявление переводов-посредников представляет собой актуальную филологическую задачу. Ср. высказывание И. Левого: «Перевод из вторых рук (в эпоху чешского национального возрождения. — Г. Л.) был более распространен, чем это до сих пор установлено, так что точная идентификация текстов, с которых делались переводы, долго еще будет усложнять работу над созданием истории чешского перевода. Исследователя, изучающего подход чешского переводчика, всегда подстерегает опасность, что он описывает только тот перевод, с которого была сделана чешская версия» [158, *77*].

гизмов, заметную часть которых составляли русские заимствования, представлялся литераторам юнгмановского поколения естественным. Неприятие нового типа литературного языка, изобилующего трудными для понимания элементами, было характерно лишь для так называемых старомильцев, которые призывали «сохранить древнюю чистоту» чешского языка **[**103, *168***]**. «Принципиальное значение юнгмановских переводов, — пишет Й. Левый, — ...состоит в том, что они почти насильно открывали чешскому языку новые возможности» **[**158, *124***]**.

Между тем уже через полтора — два десятка лет многие из этих возможностей превратились в реальную действительность, в частности, значительное количество поэтизмов из первых переводов Юнгмана стало общим достоянием литературы. Расширился круг читателей произведений на чешском языке. Это, в свою очередь, поставило на повестку дня новое требование к языку художественной литературы: доступность и понятность. Позднее Й. К. Тыл писал об этом периоде: «Некоторых стало уже пугать это стремление к формам, которые им предоставляли другие славянские языки, но которые вопреки родственной близости противоречили нашему языку или по крайней мере делали его непонятным» (ČČM, 1846, 388). Что касается прямых переводов русской литературы, то и их традиция в большей мере определяется развитием чешского национального литературного языка периода его становления.

На переводчиков школы Й. Юнгмана огромное влияние оказала мысль о необходимости сближения славянских языков и создания общего лексического славянского фонда; такой подход приводил к тому, что язык переводов с русского, выходивших из-под их пера, отличался большой зависимостью от русского текста. Многочисленные русские слова и обороты переносились в чешский перевод почти механически после нехитрой операции фонетического, морфологического, иногда и словообразовательного приспособления к «духу чешского языка». Переводы служили как бы мостом между чешским и русским языками и давали возможность прибегнуть к выразительным средствам русского языка и тем, кто не владел им непосредственно.

Рассмотрим в качестве типичного примера перевод стихотворения Н. М. Карамзина «Послание к Александру Алексеевичу Плещееву», выполненный Йозефом Юнгманом и опубликованный впервые в 1820 г. в составе его «Словесности» (J. Slov, I, 51—55). Представление о характере этого перевода может дать уже простое сопоставление его с текстом оригинала:[34]

Мой друг! Вступая в шумный свет	Druhu můj, chtě stoupit v šumný svět
С любезной, искренней душею,	s líbeznou a čistou duší svojí
В весеннем цвете юных лет,	v jarním květu mládeneckých let,
Ты хочешь с музою моею	rád by mluvil o tom s múzou mojí,

[34] Цит. по изд.: Карамзин Н. М. Сочинения. Т. I. М., 1803, с. 88—95.

В свободный час поговорить	
О том, чего все ищут в свете,	čeho každý hledá ma světě
Что вечно у людей предмете:	a co věčně lidem v předmětě,
О чем позволено судить	o čem rovně povoleno soudit
Ученым, мудрым и невежде…	učenému, jako nevědě…
О счастьи слово. Удалимся	O štěstí je slovo. Událíme
Под ветви сих зеленых ив;	pod větví se k oné jívině,
Прохладой чувства освежив,	prochladou své city osvěžíme,
Мы там беседой насладимся	tam i besedou se nasladíme
В любезной музам тишине…	v líbezné té múzám tišině…

Практический словарик к переводу состоит всего из двадцати одного объяснения русизмов, перенесенных Й. Юнгмном в чешский текст: 1. Šumný — hlučný, rauschend. 2. Nevěda — neumělý. 3. Trouditi se — prací velkou se zanášeti, smutiti se. 4. Smrtných — lidí. 5. Obelšťuji — zajímám lstí, pochlebenstvím. 6. Osvěžiti — občerstviti, z morav. svěží neb svíží-čerstvý. 7. Dřevnost — starožitnost, dřevní, předešlý věk. 8**.** Svršenstvo — to, co svrchního jest, nejvýšší dobré. 9. Souhlasný — harmonický. 10. Lstiti se — od jména lest, zde tolik co pochlebovati sobě, sich schmeicheln. 11. Přízrak — Phantasie, Hirngespinst, Gespenst, Phantom, od slova zříti, zrak. 12. Zábava — Unterhalt 13. Duševný — dušni, od duše (Seelen), jako duchovní od ducha. 14. Velictvo — velikost, die Grösse. 15. Teska — tesknost. 16. Hrud — prsa, die Brust. 17. Adské — pekelné od řeck. 18. Duševní pustoty — dušní pustotnosti. 19. Skuka — dlouhá chvíle, lange Weile. 20. Květí — květem posýpá.

Кроме этих русизмов, в тексте перевода имеется и немало других, но их Й. Юнгман оставил без объяснения в расчете на то, что они будут поняты чешским читателем благодаря родственности корней. См., например: hrdec (гордец), nasladitise (насладиться), krasota (красота), prochlada (прохлада), úděl (удел), úkradkou (украдкой), ujediněný (уединенный) и др.

Под влиянием русского текста Юнгман создает формы: květiti (růžemi ten pout svou květi — тот путь свой розой оцветит), obehrazený (jeho duše ujediněná, || němým mrakem obehrazená — в его душе уединенной, || безмолвным мраком огражденной), mudrec (dáno jméno mudrecův — дают названье мудрецов), prostiti se (s světem zbožně navždycky se prostí — с миром навсегда проститься).

Ряд слов, использованных Й. Юнгманом под воздействием языка русского оригинала, является, по существу, оживлением древнечешских форм или значений.[35] Например: beseda в значении ‘разговор’ (besedou se nasladíme — беседой насладимся), brada в значении ‘волосы на подбородке’ (bradami se klnouc svěcenými — клянясь священной бородой), pout в значении ‘путь, дорога’ (růzěmi ten pout svou květi — тот путь свой розой оцветит), dle в значении ‘для’ (jednak my dle světa rozeni — но мы для света ро-

[35] Здесь и далее семантические сдвиги устанавливаются на основании сопоставления со значениями рассматриваемых слов, указанными в Словаре Й. Юнгмана [204].

ждены), dařiti в значении ‘наделять даром’ duši, umem k tomu dařeni — душой, умом одарены). Воскрешаются устаревшие слова: klnouti se ‘клясться’, um ‘ум’, sled ‘след’, teskliti ‘грустить’ и др.

Совершенно очевидна чисто языковая направленность перевода Й. Юнгмана. Когда упускается из виду специфическая функция первых переводов из русской и других славянских литератур — служить средством обогащения родного языка за счет элементов из родственных языков, — то могут быть сделаны неверные выводы о характере переводческого подхода Й. Юнгмана и его сторонников. Так, Й. Квапил отвергал возможность опоры Й. Юнгмана на русский текст-посредник при переводе «Аталы», так как «он наверняка не пропустил бы возможности заимствовать больше русских слов, особенно там, где он вынужден был создавать слова новые» [157, *452*].

Указанный подход Й. Юнгмана к переводу со славянских языков полностью разделял В. Ганка, который прямо заявлял, что своими переводами стремился «близость наречий славянских между собою очевидно показать» [89, *1195*]. Русизмами изобилуют в особенности его переводы писем русских ученых И. И. Срезневского, П. И. Кеппена, О. М. Бодянского и др., которые он регулярно публиковал в чешских журналах.

К концу 20-х годов XIX в. начинают меняться требования к переводам из русской литературы, что связано с новыми задачами, вставшими перед деятелями чешского национального возрождения в. области развития литературного языка. В корреспонденции Й. Юнгмана-младшего, который в пору углубленных занятий отца словарем взял на себя часть его забот по организации просветительской деятельности [26], мы находим свидетельства того, как проникали в среду чешских литераторов новые идеи о характере дальнейшего развития литературного языка. Так, в письме А. Мареку от 24 дек. 1828 г. он пишет: «...теперь все больше чешских литераторов отходит от прежнего пути и... обязывается писать так, чтобы быть понятным большей части чешского общества. Нельзя, конечно, отрицать, что г. Ветешник, у которого весь слог немного громоздкий, еще создает и берет из русского совершенно лишние слова, без которых его повествование могло бы обойтись. Но тут встает вопрос: нужно ли отказаться от обогащения и украшения нашего языка словами, взятыми из инославянских наречий, из провинциализмов, из старых чешских книг, а также новообразованиями и вступить на путь медленного, очень медленного примешивания необычных слов?» [144, *144*]. Ср. также высказывание Й. Юнгмана-младшего из письма Ф. Ширу от 16 янв. 1830 г., где он, разделяя озабоченность общественности тем, что чешский литературный язык оказался перегруженным всяческими новообразованиями и заимствованиями из русского и польского языков, проницательно охарактеризовал усиление подобной критики: «Это хороший признак, что чехи всюду бранят этот недостаток, очевидно, они начинают приобщаться к литературе» [144, *165*]. Знамена-

тельны его рекомендации переводчикам с русского языка: «Только пусть пан патер Шольц русские слова, которые можно заменить нашими чешскими выражениями, не включает в контекст; если же он хочет указать на какое-нибудь хорошее русское слово, то пусть поместит его в сноску, с чешским объяснением. Русское же слово, которому нет замены в чешском языке, необходимо ввести в текст, но только нужно его достаточно объяснить и приспособить к чешскому языку» (письмо А. Мареку, 1832 г.) **[**144, *209***]**.

Впоследствии, по мере того как преодолевались языковые трудности молодой национальной чешской литературы и акцент переносился с чисто языковой на идейно-художественную сторону творчества, изменился и характер переводов с русского языка. Но и ранние опыты сыграли свою положительную роль именно в том смысле, который в них вкладывали представители юнгмановской школы: они способствовали обогащению изобразительных средств чешского языка.

§ 3. Русизмы в романтических литературных подделках начала XIX в.

В начале XIX в. в Чехии появилась серия литературных подделок под древнечешские тексты, которые стали важным стимулом развития чешской литературы в духе романтизма.

Первый текст из этой серии, «Песнь Вышеградская», отнесенный к XIII в., «открыл» в 1816 г. в переплете средневекового латинского фолианта Йозеф Линда (1789—1834), журналист и писатель, ученик Й. Добровского и близкий друг В. Ганки. Затем последовала знаменитая «находка» В. Ганки, который в сентябре 1817 г. «обнаружил» в подвале костела в местечке Двор Кралове отрывок рукописи, создававший впечатление какой-то антологии древней чешской народной поэзии. Отрывок содержал шесть эпических стихотворений, два лиро-эпических и шесть лирических. Рукопись, названная Краледворской (Rukopis Královédvorský/ Králedvorský), далее — RK, была датирована XIII в. Через год, в ноябре 1818 г., в Чешский национальный музей был анонимно прислан отрывок рукописи, содержащий часть эпического стихотворения «Либушин суд»; на основании языковых особенностей находку отнесли к IX или X в. Позднее рукопись была названа Зеленогорской (Rukopis Zelenohorský), далее — RZ.

Появились и другие подделки древнечешских текстов: вероятно, они были призваны подкрепить необычные слова и формы, которыми изобиловали Зеленогорская и Краледворская рукописи. Наиболее значительными были поддельные глоссы в известном средневековом латинском словаре Mater verborum (словарь содержал 339 подлинных древнечешских глосс и 950 поддельных).

«Открытие» Краледворской и Зеленогорской рукописей вызвало взрыв воодушевления среди чешских патриотов, так как рукописи как нельзя бо-

лее соответствовали их стремлениям и чаяниям.[36] В эпических произведениях рукописей вырисовывалось героическое прошлое чешского народа, прославлялись его победы над врагами, в том числе над немцами; лирические произведения свидетельствовали о высоком уровне древнечешской культуры, о чистоте и красоте древних нравов. Усилению национального самосознания способствовало не только содержание рукописей, но и сам факт их открытия, устранивший остро ощущаемые «пробелы» в чешской культурной традиции: отсутствие героического эпоса, сравнительно позднее появление первых памятников чешской литературы (конец XIII — начало XIV в.). Идейное и художественное воздействие рукописей было очень значительным и проявлялось в течение всего XIX в. не только в поэзии, но и в живописи, скульптуре, музыке, театральном искусстве.

Материалы рукописей широко использовались в научных славистических трудах первой половины XIX в.[37] Подделанные рукописи «служили славянским ученым (за исключением только троих или четверых) исконными драгоценными свидетельствами о чешской, а иногда и общеславянской древности языка, мифологии, нравах и обычаях, культуре: ссылаясь на Либушин суд, RK, Mater verborum, подтверждали свои мифологические теории, свои исследования старославянского общественного устройства и т. д. ученые не только чешские, но и русские (Бодянский, Срезневский, Афанасьев, Буслаев, Котляревский, Гильфердинг, К. Аксаков и др.). По этим памятникам начинало изучать чешский язык новое поколение русских славистов, которым Либуше и герои RK так же близко знакомы, как герои русских летописей и Слова о полку Игореве» **[**76, *288***]**.

Естественно, что использование данных из поддельных памятников лишило объективной почвы многие выводы и рассуждения ученых; в то же время нельзя не отметить большого стимулирующего воздействия этих памятников в области славистических разысканий.

С другой стороны, несомненно положительное значение имели горячие дискуссии по вопросу о подлинности рукописей, длившиеся в течение полутора веков. Как справедливо отмечает Ю. Доланский, эти споры «стимулировали активность самых различных научных отраслей и способствовали усовершенствованию критического метода» **[**116, *5***]**.

Первым стал отрицать подлинность одной из рукописей — Зеленогорской — Й. Добровский (статья 1824 г. Literarischer Betrug) **[**113, *152***]**. В его корреспонденции содержится следующий отзыв об этом тексте: «Еще раньше, чем я увидел его, я уже по тону, по примешанным русским сло-

---

[36] См., например, оценку Й. Юнгмана: «Сам дух отчизны вел счастливца, нашедшего такой драгоценный народный клад, ибо это поистине бесценное сокровище, остаток седой чешской древности: если бы кроме него ничего не дошло бы до нашего времени, оно одно могло бы быть вечным свидетельством славной древней образованности чешского народа» («Dobroslav», 1821) [159, 872].

[37] Об отношении к рукописям русских славистов см. в работе А. Й. Багмут [6].

вам... угадал, что он не может быть подлинным. Когда же я увидел и подробнее изучил его, то не мог оценить это иначе, чем озорство, которым фальсификаторы из преувеличенного патриотизма и ненависти к немцам хотели ввести в заблуждение других неосторожных». И далее: «Авторов я знаю, они учились у меня читать по-старославянски и по-русски и бесстыдным образом послали анонимно свою стряпню Музею» [186, *125*].

Подлинность Краледворской рукописи Й. Добровский, видимо, не подвергал сомнению, как верили в нее и остальные деятели чешского национального возрождения: П. Шафарик, Ф. Палацкий, Я. Коллар, Ф. Л. Челаковский и мн. др. По мере развития филологической и исторической науки, с усовершенствованием методов исследования, в том числе и технических средств, факт фальсификации был установлен с бесспорностью, а также определен и круг фальсификаторов: В. Ганка, инициатор и глава всего предприятия, и его помощники Й. Линда и, возможно, художник Ф. Горчичка.

В ходе борьбы за доказательство поддельности рукописей был весьма тщательно изучен их язык. Все его элементы — фонетические, морфологические, синтаксические и лексические — сопоставлялись как с известными древнечешскими текстами, так и с текстами начала XIX в. Для Краледворской рукописи составлен полный словоуказатель с приведением минимального контекста к каждому словоупотреблению [120]. Эти исследования дают возможность составить четкое представление о характере языка рукописей, в частности о его словарном составе, многие элементы которого стали неотъемлемой частью чешского поэтического словаря XIX в.

В соответствии с художественными идеями эпохи чешского национального возрождения лексические изобразительные средства рукописей были выбраны или образованы так, что они создавали впечатление глубокой старины, народности и близости к другим родственным славянским языкам. «Такая языковая амальгама сама по себе была средством поэтического воздействия в тот период, когда читатели с живым пониманием относились к особенностям языка и когда они были надстроены пожертвовать чешской языковой системой в пользу воображаемой всеславянской системы» [111, *187*].

Большой удельный вес в словарном составе рукописей имеют русские элементы, что в первую очередь обусловлено распространенной в среде будителей уверенностью в большей архаичности русского языка по сравнению с другими славянскими языками. «Нет сомнений в том, — пишет М. Комарек, — что, наряду с церковнославянским, именно русский язык имел в начальный период нашей славистики наибольшее влияние на создание представления об общем славянском языке, так называемом праславянском, и о древнейшей форме чешского языка того периода, от которого не сохранились письменные памятники» [148, *245*].

Близость языка рукописей к русскому бросалась в глаза уже современникам, которые, однако, ее истолковывали в указанном выше смысле. Так, адмирал Шишков, председатель Российской Академии, писал в 1820 г. в предисловии к своему переводу рукописей: «Сие открытие г. Ганки столько же и для нашей словесности полезно, сколько и для Чехской или Богемской, по той причине, что язык в сей старинной рукописи есть почти чистый наш язык. Затруднение понимать оный наводит только слитность латинских букв различно произносимых...; но со всем тем Слово о полку Игореве темнее для нас, нежели сия Богемская рукопись» (Изв. Российск. Академии, 1820, |кн. 8, с. 50—51).

Характерно указание Ф. Л. Челаковского на очевидное сходство песни «Роза» из Краледворской рукописи с русской песней из сборника М. Д. Чулкова «Собрание разных песен» (ч. 1—4. М., 1770—1774). Приведя в комментариях к своему переводу русской песни оба эти текста, он замечает: «Простая ли это случайность? или причину такого сходства нужно искать, глубже, а именно в далеком прошлом? — Кто решит этот вопрос?» (Sl. p. III, 228 и сл.).

Впоследствии было проведено подробное сопоставление лирических стихотворений рукописей с песнями, содержащимися в сборниках конца XVIII — начала XIX в.[38] Таким способом были обнаружены многие бесспорные текстовые совпадения. Ср. некоторые примеры, приведенные в работе Я. Гебауэра **[**123, *33***]**:

RK	**Русские песни их сб. И. Прача (1815)**
Jde má milá na jahody na zelená borka, zadřieše si ostré trnie v bělitkú nožicu	Ходила младешенька по борочку, брала, брала ягоду земляничку, наколола ноженьку на тресоку
Ach ty róže, krásná róže! Čemu s raně rozkvetla, rozkvétavši pomrzla, pomrzavši usvědla, usvědevši opadla?	Ах ты сад ли мой садочик, сад, да зеленое виноградье! Ты к чему, сад, рано расцветаешь, расцветавши, сад, засыхаешь, землю листьем, сад, устилаешь?
Večer sediech, dlúho sediech, do kuropĕnie sediech, nic doždati nemožech, vše dřiezhy, lúčky sežžech	Вечор, вечор молоденька долго вечор посидела, я до самого рассвета всю лучинушку припалила.

Рано была установлена зависимость чешских поддельных рукописей и от Слова о полку Игореве, а из других славянских литератур — от сербского народного эпоса, изданного Буком Караджичем. Другие возможные инославянские источники рукописей оставались до последнего времени нераскрытыми.

---

[38] См., в частности, работу Я. Махала [160].

Эта задача была разрешена в серии трудов Ю. Доланского [116; 117; 118]. С большой убедительностью Ю. Доланский доказал, что авторы подделок, в первую очередь В. Ганка, использовали мотивы, образы и отдельные изобразительные средства из произведения далматинского поэта конца XVIII — начала XIX в. Андрея Качича-Миошича «Razgovor ugodni naroda slovinskoga».

Ю. Доланскому удалось значительно расширить и круг русских источников, из которых фальсификаторы почерпнули множество художественных деталей, определивших характер рукописей. К этим источникам относятся произведения Н. М. Карамзина, в первую очередь его историческая повесть «Марфа Посадница, или покорение Новагорода», поэмы М. М. Хераскова «Россиада» и «Владимир», а также русский перевод «Оссиана» Макферсона, выполненный в 1792 г. Ермилом Костровым.

Установление источников RK и RZ проливает свет на происхождение многих лексических элементов в их языке и позволяет, в частности, выявить подход авторов при заимствовании слов, значений и отдельных форм из русского языка.

Можно выделить несколько разрядов слов Рукописей в зависимости от степени проявившегося на них русского влияния.

1. Прямые лексические заимствования: bodrost ‘бодрость‘, hoj ‘гой’, chrabrost ‘храбрость’, nevzmožno ‘невозможно’, paguba ‘пагуба’, plzně, plzno, ‘польза’, ‘полезно’, podnebésie ‘поднебесье’, ptence ‘птенцы’, ruměnec ‘румянец’, sieti ‘сиять’, vet ‘вот’, vterý ‘второй’, vzúpěti ‘возопить’ и др. Для всех этих слов исследователи находят параллели в русских образцах поддельных рукописей [123, *20*; 117, *55*, *101*, *163*; 184, *41*]. В ряде заимствований хорошо прослеживается стремление приспособить их к чешской фонетической и словообразовательной системам. Например, plzně: ký plzně dle v sněmy stavny chodí (RZ, 2). Plzno: vše, če plzno bieše (RK, 36).

Существительное plzně ‘польза’ и наречие plzno ‘полезно’ употреблены здесь в смысле ‘общественное благо’, ‘общественно полезно’. Как отмечает Ю. Доланский, эти понятия широко представлены в «Россиаде» Хераскова, например: О благе собственном вельможи где рачат, || Там пользы общия законы помолчат [117, *55*]. Приспосабливая эти формы к чешскому звучанию в духе соответствия рефлексам общеславянских сочетаний плавных с редуцированными, авторы подделок допустили ошибку, приняв за корень буквосочетание *польз-*/*полез-,* Правильным чешским соответствием были бы формы polzně, polzno [123, *20*].

2. Слова, ранее известные в чешском языке, но получившие русский словообразовательный формант или русскую фонетическую форму с целью придания им «более древнего вида». Например, *chyžice*: paky vám vyžehajú || drovy, chyžice (RK, 58). В чешском языке известна форма chyše. В. Флайшганс отмечает, что еще до появления рукописей В. Ганка в словарике к своему изданию древнечешских памятников (Starobylá skládání

česká. I. Praha, 1817) вместо формы chyše написал chyže, на что ему было указано Й. Добровским. Оправдываясь, В. Ганка объяснил, что «ему вспомнилось русское „мне хижинка убога”» **[**120, *10***]**. В произведениях Н. М. Карамзина, которыми пользовался В. Ганка, мотив «хижины» повторяется многократно **[**117, *72***]**.

Vojevoda: tu kóň vleče v střěmnech vojevodu (RK, 70). Ср. в «Марфе Посаднице» Карамзина: под начальством воевод храбрых и т. п. **[**117, *93***]**. Авторы подделок не учли, что в пору «возникновения» Краледворской рукописи уже не могло существовать нестяженное сочетание oje, давшее еще в дописьменный период форму é. В древнечешских памятниках зафиксирована лишь форма vévoda **[**123, *20***]**.

Slovesa: vetchými slovesy nad sím vzpěchu (RK, 68). Ср. в Слове о полку Игореве: начяти старыми словесы (9).[39] Данная исконно славянская форма мн. числа существительного slovo в чешском языке совершенно не представлена; уже в древнейших памятниках это существительное образовывало все формы по типу основ на *-o*: slovo, slova **[**123, *21***]**.

В эту же группу относим слова dřevesa (вм. dřeva), odoleti (вм. чешской формы odolati), sekyra (вм. sekera), nožny (древнечеш. nožnice), čaroděj (в древнечешских памятниках было только čarodějník), stanánie (ср. древнечешскую форму глагола stonati) и др.

3. Лексические новообразования, образцом для которых послужили русские слова. Например:

Hrabivý: I hlásáše nad hrabivými meči svojich vojnov (RK, 34). Это прилагательное, неизвестное чешскому языку, давно связывалось по своей семантике с русскими *грабить, грабеж* **[**120, *25***]**. Ю. Доланский указывает на адъективные формы от этого корня, которые, вероятно, послужили для В. Ганки образцом. Ср. в «Россиаде»: хан Исканар... с грабительной толпою || Свой стан расположил и войски над Упою **[**117, *126***]**.

Hrdivý: **[**Zdeslav**]** vzkoči na oř jarobujný, || hrdivými slovy vece (RK, 94). Слово, не зафиксированное ни в одном чешском памятнике, очевидно, было создано по образцу русского *горделивый*, которое не раз встречается в «Россиаде» Хераскова, ср., например: лесть была ... горделива; пример Казани горделивой и т. п. **[**117, *149***]**.

Bujarost, jarobujný, jarohlavý, jarota, zjařiti sě. Эти новообразования тесно связаны с русскими прилагательными *ярый* и *буйный*, которые являются характерными постоянными эпитетами русской народной поэзии. В рукописях употребляются и формы bujný и jarý. Первое слово было известно чешскому языку, однако в рукописях оно выступает в обычных именно для русской поэзии сочетаниях: v bujnu hlavu (RK, 54); bujných srdec (RK, 54).

---

[39] Примеры из Слова о полку Игореве даны по изд.: Слово о полку Игореве/Подготовка древнерусского текста В. Ржиги и С. Шамбинаго. М., 1961. Цифра в скобках после цитаты означает страницу.

Прилагательное jarý используется в рукописях в значении, не свойственном для древнечешских памятников, где оно означало ‘весенний’. Здесь же оно встречается в сочетаниях: zer've jarým turem (RZ, 10); jak tur jarý skoči (RK, 78). Ср. в Слове о полку Игореве: «Яръ туре Всеволод!» Примечательно, что в чешской древней поэзии тур имеет другой эпитет, ср. в Легенде о св. Катерине (XIV в.): jak tur divoký řiče **[**120, *64***]**.

Новообразование bujarost от основ buj- и jar- имеет значение ‘бодрость, сила’, ср.: «Ajta vece Výhoň knězu Oldře: || Hoj poslyš ty, veleslavný kněže! || Bóh ti bujarost da u vše údy, || Bóh ti da věhlasy v bujnú hlavu!» (RK, 54).

Тем же способом, но с обратным порядком основ, образовано прилагательное jarobujný со значением ‘ретивый, буйный’: vskoči na oř jarobujný (RK, 94).

Прилагательное jarohlavý употреблено синонимично слову jarý в сочетании с существительным tur: liška oblúdí tur jarohlavý (RK, 48).

От основы jar- с помощью очень продуктивного в эпоху чешского возрождения суффикса -ota образовано существительное jarota со значением ‘ярость, гнев’: jarota mu z žhavú zrakú pláše (RK, 84).

С русским глаголом *разъяриться* связано новообразование zjařiti se в значении ‘разгневаться’, ср.: nezjařte sě bozi svému sluze (RK, 44).

К этому разряду принадлежит также патронимическое образование Kublajevna (ср. *Ярославна* в Слове о полку Игореве), слова jiskrený, созданное под влиянием русского *искренний,* но со значением ‘искрящийся, пылающий (о взоре)’, pravdodatný, вероятная калька русского *законодательный,* holedbati se, в котором исследователи видят связь с русским *голытьба* **[**120, *25***]** и др.

4. Семантические неологизмы, появившиеся под влиянием соответствующих русских слов. Например: *rodný.* До появления рукописей это прилагательное не употреблялось в значении ‘состоящий в кровном родстве’, свойственном ему в русском языке. Однако именно это значение выступает в примере из Зеленогорской рукописи: «Kegdy sě vadíta rodná bratry, || rodná bratry o dědiny otné» (KZ, 2). *Páchati.* Чешский язык с древнейших пор знает только одно значение этого глагола: ‘совершать что-нибудь’, впоследствии — ‘совершать что-нибудь плохое, предосудительное’. В Зеленогорской рукописи слово употреблено в значении, свойственном русскому *пахать* — ‘обрабатывать землю сохой, плугом’: «Mužie pášiú, ženy ruby strojia» (KZ, 2). Опору для такого значения В. Ганка мог найти в многочисленных соответствующих употреблениях известных ему русских текстов. *Vitěz.* Значение этого существительного в чешском языке — ‘победитель’; текст же из Зеленогорской рукописи показывает значение, более близкое русскому— ‘герой, витязь’: «Dvě věglasně děvě, || vyučeně věščbám vítězovým» (RZ, 6). Существительное *витязь* представлено многочисленными употреблениями и в «Россиаде» Хераскова и в произведениях Карамзина, на которые опирались авторы поддельных рукописей **[**117, 38**]**.

5. Редкие древнечешские слова, оживленные под влиянием соответствующих русских слов с тем же или близким значением. В эту категорию можно отнести слова děva, luna, oružie, pěti, vrah (в значении ‘неприятель’), riza, utroba, nrav, šíje и др. Они отмечены в древнечешских памятниках, но в XIX в. были уже неизвестны. Так, например, в Краледворской рукописи неоднократно употреблены слова pěti, pěnie, pěvec, давно вытесненные формами zpívati, zpíání, zpěvák: «Pěvce dobra milujú bozi! || Pěj, tobě ot nich dáno v srdce proti vrahóm! ... i pěniem dále srdce jímáše» (RK, 18). Характерно, что существительное pěvec выступает здесь в значении ‘народный поэт, бард’, которое, вероятно, навеяно русским употреблением слова *певец* в значении ‘кто воспевает кого-, что-н.; поэт’. Судя по единственному примеру использования этого слова в древнечешских текстах, нашедшему отражение в Чешско-немецком словаре Й. Юнгмана (JS III, 76), оно имело значение ‘кто поет, певчий’ (Já sem kostelní pěvec). В XIX. в. употребление архаизма pěti было оживлено под влиянием русского языка.

6. Слова, употребленные в характерных для русского языка словосочетаниях. Сюда относятся прежде всего прилагательные — постоянные эпитеты, которыми изобилует русская народная поэзия, но которые не свойственны чешскому словоупотреблению, — kalená střela, syrá země, tuhy luky: vznide syket kalených střel strašný (RK, 82); syrá země vřelú krev pije (RK, 108); napínachú ... tuhy luky (RK, 76). Образцами для данных сочетаний послужили, вероятно, русские: *каленые стрелы, сырая земля, тугой луки* др.

Большая часть русизмов, содержавшихся в Краледворской и Зеленогорской рукописях, вошла в поэтический обиход чешской литературы XIX в., чему не в последнюю очередь способствовало и то, что все они были включены в Чешско-немецкий словарь Й. Юнгмана.

Вторым по значению памятником рассматриваемой категории является средневековый словарь Mater verborum.

Этот словарь, своеобразная научная энциклопедия, был создан в конце IX в. в монастыре св. Галла в Швейцарии. В ходе создания новых списков словаря (их сохранилось более 15) он пополнялся многочисленными глоссами на полях и между строками, причем при очередном переписывании глоссы попадали и в самый текст словаря. Рукопись, оказавшаяся к началу XIX в. собственностью Чешского национального музея, восходит к XIII в. Известно было, что она содержит значительное число немецких глосс. В 1827 г. В. Ганка, который был в то время главным библиотекарем Чешского национального музея, опубликовал в Музейном журнале сообщение о том, как в этом памятнике (который тогда относили к началу XII в.) были обнаружены и чешские глоссы. «Открытие» состоялось в июле 1827 г. во время посещения библиотеки профессором Э. Граффом, который изучал средневековые немецкие глоссы. «Я предложил ему Mater verborum, — пишет В. Ганка, — так как еще при занесении рукописи в каталог обнаружил в ней некоторые древненемецкие слова... Проф. Графф, вынув свои

бумаги, попросил меня разобрать вместе с ним некоторые слова; разобрав несколько слов, мы натолкнулись на чешские — как меня это обрадовало и с каким нетерпением я стал продолжать поиски, невозможно выразить» (ČČM, 1827, 69—70). Эту радость разделяли все будители, так как рукопись содержала истинное богатство — 1289 чешских слов. Редактор журнала Чешского национального музея Ф. Палацкий так отозвался о значении находки: «Состояние языка отражает состояние народной образованности. Вся духовная жизнь народа открывается историку в словах языка... Всего важнее в этом словаре кажутся нам в указанном отношении слова мифологические, перевод имен богов греческих и римских именами богов славянских... Важно также знать, как именно уже тогда выражались по-чешски разные отвлеченные понятия... Исследователи славянского языка добудут из этого словаря новые доказательства, что славянские наречия в древности были более родственными и близкими друг к другу, чем в наше время, не только формой, но и материей. Адмирал Шишков заметил, что Краледворская рукопись русским более понятна, чем древние памятники их собственной письменности. Здесь мы также находим древние чешские слова, как например, mhla, vatra, žestoký, ščirý, которые, будучи уже давно забыты чехами, до сих пор еще употребляются в других славянских наречиях» (ČČM, 1827, 71).

Ассоциация с Краледворской рукописью у Палацкого была неслучайной: одна из целей глоссатора, которым, по единодушному мнению позднейших исследователей, был В. Ганка **[**187, *538—539***]**, — «документировать» слова и формы поддельных рукописей, появившихся на несколько лет раньше.

Хотя первые сомнения в подлинности глосс словаря появились уже в 1837 г. у В. Копитара, вопрос оставался открытым почти в течение всего XIX в., вплоть до появления тщательного палеографического исследования А. О. Патеры **[**93**]**. В результате этого исследования выяснилось, что из общего числа глосс лишь четвертая часть (339) является подлинно древней, остальные 950 поддельные — сфабрикованы из латинских и немецких слов или вновь приписаны.

Поддельные глоссы резко отличаются от подлинных по содержанию; древние слова в основном относятся к бытовой и предметной лексике, а поддельные включают в себя много названий отвлеченных понятий, мифологических имен, архаичных форм, выводимых для чешского языка лишь гипотетически, и т. п.

А. Патера поместил в своем труде полный перечень подделанных глосс, причем для ряда слов указал их русское происхождение. Приведем эти слова с его примечаниями **[**93, *45—81***]**:

bezeslavie... Вероятно, взято из русского. Бесславие.
borec... В чешском не употребляется. С русского Борец.
čerep... Взято из русского. Череп.
děvěr... Деверь. С русского.
domovitý... С русского. Домовитый.
hrad (grando)... С русского. Град.
hrěz... Не чешское слово, с русского. Грязь.
hriesti... С русского грести.
chvorý... С русского. Хворый.
knižný... Из русского принято; в чешском нет этого слова. Книжный.
kuzni... С русского. Козни.
lukavá... С русского. Лукавая.
mrščiny... В другом месте не встречаем нигде этого слова. С русского. Морщины.
murín... В чешском только múřenín. С русского. Мурин.
nejesyt... С русского. Неясыть.
nora... В чешском нигде не встречаем этого слова. С русского. Нора.
ohar... В чешском нет этого слова. Вероятно, с русского. Огар, смуглый.
oslopy... В чешском не встречаем этого слова, вероятно, с русск. Ослоп.
paz... С русского. Паз.
pečera... Не чешское слово. С русского. Пещера.
poluču... С русского. Получу.
rysk... С русского. Рыск.
Skop (castratus)... В этом смысле не употребляется. С русского. Скопец.
sram... С русского. Срам.
žestoký, žestok... Из русского, в чешском нет этого слова. Жестокий.

В действительности русизмов в словаре Mater verborum гораздо больше, чем отмечено А. Патерой. Его список можно было бы, по нашему мнению, дополнить следующими группами слов: а) сложные слова с первым компонентом blaho-: blahorodie, blahozvučie. Древнечешскому языку, по свидетельству Словаря Я. Гебауэра (GS), было известно лишь девять сложных слов с компонентом blaho-, причем в качестве второго компонента всегда выступает основа -slav-: Blahoslav, blahoslavenie, blahoslavenstvie, blahoslavený, blahoslaviti и др. (GS I, 59);[40] б) слова, впервые употребленные в поддельных Зеленогорской и Краледворской рукописях и отнесенные исследователями к русизмам: bodr (в RK форма bodrost), čaroději, hrabivý, chrabrost, plzný, pěvci, ptence, vojevoda, vrah (в значении ‘дьявол’); в) слова, впервые употребленные в произведениях будителей под влиянием соответствующих русских образцов: něha — признанный русизм, введенный В. Ганкой [208, *394*], obředi, vějieř — слова, впервые появившиеся в юнгмановском переводе «Аталы» по образцу русских *обряд, веер* [127, *92*]; vesmír — слово, использованное Юнгманом в переводе «Потерянного рая» под влиянием русского *всемирие* [52, *146 и сл.*]; г) слова, русское происхо-

[40] О расширении этого словообразовательного типа за счет заимствований из русского языка см. 140 и сл.

ждение которых становится очевидным при знакомстве с соответствующими статьями Чешско-немецкого словаря Й. Юнгмана. Так, существительные mln, nozdry, ohniščenín, ostrožný, plnoluní, pravoslavný, rud, tvrd, vesna, zákona datel в этом словаре документированы примерами из Mater verborum как наиболее ранними; остальные же иллюстрации, если они есть, относятся уже к XIX в. При этом у Й. Юнгмана нередки отсылки к соответствующим словам русского языка.

В качестве примера приведем целиком (в русском переводе) статью на слово nozdra: «Nozdra, f. (от nos, как mázdro от maso) — дырка в носу, Nasenloch. Nozdry = chřípě, nares. Mater verborum (то же в *русск.)*». Кроме того, в словаре приведен пример терминологического использования данного слова в современном зоологическом труде: «Dutina nosová se otvírá zadu do hrdla dvěma otvory, nozdrama (chaonnae)» (JS II, 738). Й. Юнгман, таким образом, приближает к чешскому читателю непонятное слово, с одной стороны, объясняя его словообразовательную структуру, с другой — указывая на родство с русским языком. «Древнечешский» и славянский фон как бы поддерживает новое, терминологическое употребление слова.

Подобный же подход и в подаче Юнгманом материала на слово ryd, которое А. Патера снабдил примечанием: «Нет в чешском» **[**93, *69***]**. В словаре Юнгмана цитируется — как единственное — употребление в Mater verborum, однако, чтобы подкрепить его, Юнгман «восстанавливает» для известного в чешском языке глагола rudati ‘бунтовать, возмущаться’ в качестве исходного значение русского глагола *рыдать*: «rydám… plakati se vzdýcháním, lkáti (koho, po kom, *rus.*)» (JS III, 968).

Вероятно, и глосса в Mater verborum (ryd... singultis, suspiriis uiscerum pulsus) была сконструирована на основе русского глагола *рыдать*.

Из материалов Словаря Юнгмана вырисовывается русское происхождение нескольких слов Mater verborum, которые, по замыслу В. Ганки, должны были документировать общность древнеславянских обычаев и порядков. Например, словарная статья на ohniščenín является здесь дословным повторением статьи из Mater verborum (ohniščenín... libertus, cui post servicium accedit libertas), но снабжена отсылкой на ohništ‘án. Последнее же иллюстрируется употреблением в комментарии к «Русской правде»: «Ohnišťané nazývali se lidé volní čili stavu rytířského v Rusích; v Rusk. Pr., I, 91» (JS II, 896).

Приведем еще некоторые примеры такого рода.

Trěba... sacrificium estuictima, et quecunque in ara concremantur, seu proponuntor. Примечание А. Патеры: «В чешском не. встречается» **[**93, *75***]**. Юнгман в своем словаре повторяет эту статью из Mater verborum, прибавляя и пример употребления слова в XIX в. (JS IV, 624). Образцом для В. Ганки послужило, вероятно, старославянское и русское *треба* ‘жертва’.

Tryzna... inferie, placa tio inferorum, sacrificia. На это слово у Юнгмана имеется обширная словарная статья, раскрывающая характер древнего

славянского обряда (JS IV, 664). Центральное место в статье занимает пространная цитата из русской истории Карамзина в переводе Ганки. В древнечешских памятниках слово не встречается.

Žrtva... holocaustum, victima. Наряду с этим примером, Словарь Юнгмана приводит лишь более поздние употребления из произведений начала XIX в., причем уже в русской огласовке: žertva. Собственно чешским наименованием данного понятия является слово oběť (JS V, 843).

Русскому влиянию следует приписать и появление таких глосс в Mater verborum, которые относятся к собственно чешской, но архаичной лексике, вышедшей из употребления к началу XIX в.: brvy, jarý, junoše, kolesa, koráb, korábník, kramola, lada, ladný, lúbi (amat), nravy, pěnie, pomiluj, utroba.

К этой же категории нужно отнести и некоторые из глосс, которые А. Патера ошибочно считал прямыми русизмами: (hriesti, chvorý, domovitý, děvěr), хотя они зафиксированы и в древнечешских памятниках (GS I, 494, 573, 294, 237).

И. И. Срезневский отмечал тонкое языковое чутье и серьезную филологическую подготовленность глоссатора, которые обеспечили восприятие глосс как подлинных [93, *150 и сл.*]. В частности, лексические элементы русского происхождения были умело вкраплены среди массы обычных чешских слов, так же как и редкостные архаичные формы (например, древние формы им. пад. ед. числа сущ. основ на согласный: sesti (sestra), neti (neteř); те же формы основ на -ū: sverkry, liuby). Эффект достоверности глосс достигался и тем, что глоссатор оставлял в полной сохранности латинское толкование слова, производя лишь подчистки и приписки в толкуемом латинском или немецком слове.

§ 4. Русизмы в Чешско-немецком словаре Й. Юнгмана.

«Точно так же как Грамматика Добровского стала вершиной деятельности будителей первого поколения по стабилизации: грамматической формы чешского языка и надежной основой для дальнейшего развития языка, так усилия будителей второго поколения, направленные на расширение и развитие словарного состава литературного чешского языка, получили достойное завершение в Словаре Юнгмана», — пишет Б. Гавранек [127, *94*].[41]

---

[41] Потребность чешских патриотов в полноценном словаре чешского языка красноречиво выразил один из будителей, Йозеф Раутенкранц, в речи перед учащимися богословского лицея в Градце Кралове (1802 г.): «С какими трудностями и препятствиями должен бороться священник, читающий проповеди по-чешски! С головой, полной укоренившихся немецких оборотов, ему приходится сначала каждую мысль выразить по-немецки, а затем перевести ее на чешский, но не в духе чешского выражения, а от слова до слова. Какое мученье, какие головоломки — когда на помощь не приходит словарь!» (Hlas., 489—490).

Монументальное творение Й. Юнгмана создавалось с 1800 г. по 1833 г.; в 1835 г. началось печатание Словаря;[42] последний, пятый, том вышел в свет в 1839 г.

Современники Юнгмана хорошо сознавали значение этого труда для чешского языка и литературы и внимательно следили за его продвижением, — об этом свидетельствует корреспонденция Ф. Л. Челаковского, П. Шафарика, Ф. Палацкого, Я. Коллара.[43] Так, в 1829 г. Челаковскии пишет своему другу Й. Планеку: «Сообщаю Вам радостное известие: в будущем году Юнгман уже начинает издавать свой словарь — труд, которого с нетерпением ждут все сколько-нибудь образованные патриоты. . . . Я тоже с несказанной радостью ожидаю выхода этого словаря...» **[**151, *21***]**.

Биограф Й. Юнгмана В. Зелены на основании юнгмановской корреспонденции восстановил основные этапы работы над Словарем, позволяющие проследить за формированием лексикографической концепции Й. Юнгмана **[**192, *92—115*, *296—302***]**.

Й. Юнгман исходил из идеи о том, что словарь национального языка призван способствовать его всемерному подъему и обогащению, — отсюда его требование полноты охвата чешской лексики. Тщательная фиксация как древних чешских слов, сохранившихся в памятниках, так и живого народного словоупотребления, а также лексики из зарождающейся литературы нового времени была, по Юнгману, особенно необходима в условиях, когда отсутствовало обучение родному языку в школах. Говоря о том, что чехи получают образование на чужом языке, Юнгман восклицает: «Могут ли они, скажите, пожалуйста, если захотят или если им придется читать и писать по-чешски, обойтись без полного национального словаря?» (JS I, s. III). Й. Юнгман сознавал и подчеркнул в предисловии к Словарю, что полнота его относительна, так как развитие литературы и живого языка влечет за собой постоянный рост словарного состава, однако к полноте охвата лексики в Словаре необходимо стремиться, «не опуская и неправильно созданных слов, — чтобы читатель, встретив их в каком-нибудь новом произведении, не понял их ошибочно» (JS I, s. VII).

---

42 По уточненным данным, первая тетрадь Словаря (A — bůh) вышла уже в сентябре 1834 г., но на титульном листе 1-го тома стоит 1835 г. [129].

43 См. также высокую оценку Словаря, данную позднее И. И. Срезневским: «Имя Юнгмана у нас известно: кто и не видел его огромного „Словаря чешского языка”, то по крайней мере слышал о нем; если кто и не может дать себе отчета о его достоинствах, то по крайней мере знает, что это — самый огромный из всех словарей наречий славянских, какие были доселе изданы. Тот же, кто пользовался этим словарем, и более того, кто следил за развитием лексикологии славянской и вообще европейской, знает и то, что творение Юнгмана есть одно из очень немногих превосходных произведений учености нашего времени...» (Архив АН СССР, ф. 216, оп. 1, ед. хр. 868, л. 1). Цит. по статье С. В. Смирнова [81, 52]. — Об откликах современников на Словарь Юнгмана см. также в статье В. Шмилауера [175, 53].

Принципа полноты Й. Юнгман придерживался и при подборе текстовых иллюстраций слов и значений, придавая большое значение точному указанию источников. Такой подход обеспечил Словарю Юнгмана непреходящее научное значение.

Из взглядов Й. Юнгмана на роль славянских языков в обогащении чешского литературного языка естественно вытекает его стремление как можно полнее отразить в своем Словаре и инославянский лексический материал, который может быть использован в указанных целях. Насколько большое значение придавал Й. Юнгман этому принципу, можно судить по тому, что он пожертвовал ради него двумя потенциальными соавторами, Й. Палковичем и А. Пухмайером, хотя хорошо сознавал, насколько усложняется задача создания словаря силами одного составителя. Й. Палкович насторожил его своей критикой языковой стороны юнгмановского перевода «Потерянного рая»: по его мнению, автор «слишком часто прибегает к чужим и незнакомым словам» **[**192, *105***]**. Стремление Й. Палковича ограничить рамки словарного состава чешского литературного языка запасом шестнадцатого, «золотого», века чешской литературы не могло быть принято Й. Юнгманом. «Если мы не будем использовать всех резервов языка, особенно в крупных поэтических произведениях, то не знаю, что получится из нашей литературы!» — писал он А. Мареку по поводу своих расхождений с Й. Палковичем **[**104, *149***]**.

Не осуществилось и сотрудничество Й. Юнгмана с А. Пухмайером, который также работал над созданием словаря чешского языка. Расхождения со всей ясностью обнаружились после того, как Пухмайер ознакомился с частью словаря (буква «Б»), данной ему Юнгманом на рецензию. В письме к Й. Юнгману от 24 февр. 1816 г. Пухмайер пишет: «Букву Б я прочитал и не могу не поражаться Вашему терпению и остроте мысли. Но, дорогой друг, смею ли высказать искреннее свое мнение? Подумайте, если одна буква Б занимает столько тетрадей, сколько же их будет на весь алфавит? Вы расписываете почти целиком Линде, Гейма и другие инославянские словари, что я никоим образом не могу одобрить. Из этого выйдет уже не чешский, а общеславянский словарь. Создать такой словарь было бы хорошо, но кто понесет расходы? У нашего языка и так мало поклонников, а чем больше будем мы работать на иностранцев, тем более пострадает наше дело» [192, *107 и сл.*].[44] Однако, включая в словарь лексику из других славянских языков, Й. Юнгман стремился не «работать на иностранцев», а обогащать собственный язык.

В предисловии к словарю Й. Юнгман неоднократно подчеркивал, что главным образцом для него послужил польский Словарь С. Б. Линде (SL).

---

[44] Й. Юнгман расходился с А. Пухмайером и по вопросу расположения материала в Словаре: Пухмайер, вслед за Й. Добровским, настаивал на гнездовом способе, Юнгман же, после некоторых колебаний, остановился на алфавитном.

Действительно, как отмечают исследователи, зависимость юнгмановского словаря от труда Линде чрезвычайно велика: многие словарные статьи обоих словарей совпадают почти дословно [172, *223—229*]. Вместе с тем здесь нет какого бы то ни было механического подражания. Обращаясь к Словарю Линде, Й. Юнгман последовательно проводил сопоставление с чешским материалом: отбор лексических средств, которые он считал целесообразным рекомендовать для использования в чешском языке, был глубоко продуман.

В этом отношении весьма показателен подход Й. Юнгмана к Словарю Линде как источнику заимствования инославянских лексических элементов.

Прежде всего, Й. Юнгман черпал отсюда польские слова — как для пополнения научной терминологии, так и для обогащения синонимических ресурсов чешского литературного языка. Польская лексика Словаря Юнгмана подверглась специальному анализу в монографии Т. Орлось. По данным этого автора, в словаре Юнгмана содержится 1064 полонизма; около четверти из этого количества падает на научную терминологию, остальные слова Т. Орлось квалифицирует как общеупотребительные [168, *93*].

Однако Словарь Линде был для Й. Юнгмана источником не только полонизмов. Польский лексикограф был не менее горячим приверженцем идеи единого общеславянского литературного языка, чем Юнгман. В предисловии к своему Словарю С. Б. Линде пишет: «Связывая всюду польский язык с другими славянскими, я непрестанно видел перед глазами некий контур объединенного в моих мыслях общего славянского языка» (SL I, s. XII). Эти представления обусловили и тип словарной статьи в Словаре польского языка Линде: заглавное слово снабжалось лексическими соответствиями из других славянских языков с указанием сходства или различия в значениях. Славянские параллели были призваны, с одной стороны, обратить внимание польского читателя на проявление близкого родства славянских языков, а с другой — «указать на возможности взаимообмена» [172, *224*].

Й. Юнгман не приводит к каждой словарной статье инославянские лексические параллели, как это делает С. Б. Линде, ссылаясь в предисловии на то, что такая работа уже выполнена в словаре польского языка (SL I, s. VII). Однако он широко использует материалы Линде для заимствования слов и значений из других славянских языков, в первую очередь из русского.[45]

Приведем несколько примеров, характеризующих приемы Й. Юнгмана при использовании Словаря Линде как источника русского материала.

---

[45] Русские данные почерпнуты польским лексикографом главным образом из «Российского лексикона», изданного Яковом Родде (Рига, 1784) и «Словаря Академии Российской» (СПб., 1789). См. предисловие к SL.

Словарная статья на существительное bezduší в Словаре Й. Юнгмана (JS I, 107) не содержит иллюстраций из чешских текстов; в то же время в ней имеется ссылка на русскую форму *(rus*. bezdušie). Толкуется слово при помощи словообразовательного синонима bezdušnost,[46] который, в свою очередь, документируется ссылкой на словари Линде и Добровского (на слово bezdušnost имеется и отдельная словарная статья). В словаре же польского языка находим русск. *бездушие* в качестве параллели польскому bezduszność: «**bezduszność**, i, f. Brak duszy. **Ross.** бездушие...» (SL I, 78). Таким образом, очевидно, что Й. Юнгман в данном случае привлек русскую форму, заимствованную из Словаря Линде, для создания пары словообразовательных синонимов: bezdušnost — bezduší.

Подобным же образом вошли в Словарь Й. Юнгмана русизмы amerikanec (чеш. форма amerikan, američan), bezboký, bezbřichý, bezkořistný и др.

Характерен способ введения Юнгманом прилагательного bezcenný, которого не было в чешском языке.[47]

«**Bezcenný**, adj., (bez ceny) *pol.* Tuze laciný (очень дешевый)... *Rus.* = předrahý, nepřeceněný, neoceněný, drahý... (очень дорогой, неоценимый, дорогой)» (JS I, 105). Здесь очевидна зависимость в первую очередь от словаря Линде. Ср. соответствующую статью у Линде: «**bezcenny**... ceny nie mający, nie placący, tani (не имеющий цены, дешевый)... **Ross**. безценный nieoceniony, nieoszacowany, nieoplacony (неоценимый, неоплатимый)» (SL I, 76).

Если у Линде только регистрируется особое значение данного слова в русском языке, то Юнгман заимствует слово сразу в двух значениях: в «русском» и «польском».[48] Последовательность расположения значений в Словаре Й. Юнгмана отнюдь, не случайна: она отражает соотношение исходного и производного значений.

В словарной статье на слово vzor (заимствование из польского) полностью воспроизведена соответствующая статья из Словаря Линде. Однако характерно изменение ее начала. Ср.:

Линде	**Юнгман**
Wzór, u, m.; *Ross*, взор pojrzenie… wzór na szacie (VI, 678)	**Vzor**, u, *m*. = wzírání… pohled (*rus.*)… *b*) Vzor na šatě (V, 417).

Подход Юнгмана в данном случае подобен предыдущему: русскую параллель из Словаря Линде он превращает в одно из значений слова, перенесенного в чешский язык, причем делает его первым по порядку, как наи-

---

46 Опускаем здесь непременные в Словаре Юнгмана немецкие толкования.

47 Об этом свидетельствует как отсутствие текстовых иллюстраций в Словаре Юнгмана, так и непредставленность в словаре древнечешского языка, созданном Я. Гебауэром (GS I).

48 В современном чешском языке слово bezcenný сохранилось лишь в первом значении — ‘не имеющий цены, очень дешевый’ (PSJČ I, 105).

более близкое значению корня -zor- (значения польского слова wzór следующие: 1. Узор (на ткани и т. п.); 2. Модель, правило; 3, Пример, образец. — SL VI, 678).

К сожалению, отсутствуют работы, которые подробно анализировали бы русскую лексику, представленную в Словаре польского языка С. Б. Линде. Без таких исследований роль этого словаря как посредника при перенесении в чешский язык русских лексических или семантических элементов не может быть установлена во всей полноте.

Наряду со Словарем Линде, ссылки на который, как правило, снабжались индексом L, существовал и второй важный лексикографический источник русских заимствований в Словаре Юнгмана, а именно русско-немецкий словарь И. Гейма. Ссылка на этот словарь, правда, отсутствует в списке источников, предваряющем I том Словаря Юнгмана, однако в ряде словарных статей имеется указание на него: Heym. Неизвестно, каким изданием пользовался Й. Юнгман. Нами произведена сверка материалов юнгмановского словаря со следующим изданием И. Гейма: Полный российско-немецкий словарь по большому словарю Российской академии, сочиненный Иваном Геймом. Ч. I-II. Рига, 1801. В результате сверки выяснилось, что материалы из словаря Гейма выступают в юнгмановском словаре под следующими обозначениями (см., например, статьи на букву «B»):[49]

1) *Heym:* bezbázlivý (у Гейма: безбоязливый), bezporočnost, bezzákonice, blahohlasí, bohatýrský, březovík (березовик) budra*;*
2) сочетание двух обозначений — *rus., Heym:* běloručka, berš, bezbožničeti, bezdanný, bezdomek, bratina, břehoviště (береговище), břesta (береста), broskvina;
3) *rus., (rus.), Rus.* (без прямого указания на Гейма): bělanka (белянка), bělokopytník, běhounec (бегунец), běhlost, bergamot, běluha, běsovština, bezboží, bezbrvý (безбровый), bezčestí, bezčlověčí (бесчеловечие), bezčlověčnost, bezčlověčný, bezdělí, bezhlaholí, bezhlaholný, bezhněví (безгневие), bezchlebný, bezchvostý, bezkořistný, bezkroví (бескровие), bezlidí (безлюдие), bezlunný, bezměstí (безместие), bezměstný, bezmluví (безмолвие), bezobrazí, bezobraziti, bezobraznost, bezobrazný, bezpažitý (беспажитый), bezplodí, bezpokojiti se, bezpokojnost, bezpořádek, bezřemeslný (безремесленный), bezrodí (безродие), bezrozumí (безразумие), bezsilný, bezslaví, bezsmrtí (бессмертие) и др.;
4) *сочетание обозначений: pol. et rus.; (rus.) L., L. et Heym.*

В таких случаях слова по своей форме и значению совпадают в словарях Гейма и Линде: bezbřichý, bezumí, bezvětří, bezvonný, bohatýrský,

[49] Соотношения, установленные для материала на букву «B», сохраняются и для остальных частей словаря, хотя в целом начало его наиболее насыщено русизмами.

bohodárný, boholibec, bohomodlec, bol, bosota, bratonenávistný, brv, břichovina, burý.

Однако следует иметь в виду, что лексика из словаря Гейма, совпадающая с польской, могла в юнгмановском словаре вовсе не иметь указаний на бытование ее в русском языке. Так, например, индекс L. (Linde) стоит при словах bezpřestanný, bezpříčinný, bezrodný, bezrozsoudný, bezzákonník, bezzáštitný, blahočinnost, blahočinný, blahorodnost, blahorodný, bolno и др., между тем все эти слова отражены и в Словаре И. Гейма.

В несравненно меньшей степени Й. Юнгман пользовался материалами Словаря Российской Академии, который он имел и в своей собственной библиотеке, получив его в 1828 г. в подарок от адм. Шишкова **[**41, *285***]**.

В личной библиотеке Й. Юнгмана имелся и Церковно-славянский словарь П. Алексеева **[**64, *158***]**. Возможно, к материалам из этого словаря относятся юнгмановские пометы: *ecc1.* и *slav.* (см. слова blahověst, blahověstiti).

Для нескольких десятков слов явно русского происхождения в Словаре Юнгмана указан среди источников Словарь Й. Добровского (индекс: Д).[50] Данный словарь, с которым мы также сопоставили юнгмановские материалы, не приводит текстов, документирующих употребление слов, однако нужно учитывать, что при составлении этого словаря Добровскому помогали А. Пухмайер и особенно активно В. Ганка, которые, несомненно, в какой-то мере учитывали и новую лексику, появившуюся в чешском литературном языке до 1821 г. (см. такие слова, отраженные в Словаре Добровского, как bodrost, čistosrdečnost, letopisec, obraznost, obrazný, příčestí, předmět и др.).

Таковы лексикографические источники русских заимствований в Словаре Й. Юнгмана.

Другой круг источников — подделанные памятники начала XIX в. Выше уже указывалось, что в Словарь Юнгмана полностью вошла лексика так называемых Краледворской и Зеленогорской рукописей, содержавшая значительное число русских слов, а также подделанные глоссы из. средневекового словаря Mater verborum.

Большое количество слов в словаре Юнгмана, не документированных примерами ранее начала XIX в. и близких по форме соответствующим русским словам, иллюстрировано текстами из произведений чешских авторов; поэтому, чтобы решить вопрос об их русском происхождении, необходимо было установить характер указанных в Словаре источников и вскрыть их возможную связь с русскими текстами. Проделанная в этом направлении работа позволила выявить следующие основные источники слов юнгмановского словаря, отмеченных русским влиянием (помимо рас-

[50] Deutsch-böhmisches Wörterbuch / Herausgegeben von J. Dobrovský. Bd. I—II. Prag, 1821.

смотренных выше, которые восходят к словарям Линде и Гейма, а также к подделанным памятникам).

Более сорока русизмов снабжены отсылкой на труд Й. Юнгмана «Словесность» (J. slov. I), который представляет собой очерк теории литературы и хрестоматию, содержащую образцы литературных произведений разных жанров. «Словесность» имела большое значение для становления чешской литературоведческой терминологии и для ознакомления чешского общества с первыми плодами национальной литературы.

Русизмы из «Словесности» Юнгмана делятся на две группы:

1) литературоведческие и эстетические термины, при создании которых автор опирался на русские образцы: dějství, nápěv (мелодия), očarovatelnost (высшая ступень прекрасного), přístojný (пригодный, подходящий), přítvorný (аффектированный), prostonárodní, prostosrdečnost, podobí, přípěv (рефрен), rozměr, slovesnost, slovesný, smíchotvorný (пародийный), souslov (синоним), stopa, šutečný (бурлескный), velikoduší (благородство), velikolepí, vidný (пластический), vkus, vstavek, zkazka, zanimatelnost и др.;[51]

2) слова из юнгмановского перевода стихотворения Н. М. Карамзина «Послание к Плещееву», опубликованного на с. 49—55 хрестоматии под заглавием «Poslání Karamzina (z ruského)», без указания автора перевода. Из многочисленных русизмов этого текста Й. Юнгман включил в свой словарь следующие: blaženství, duševní, lstiti se, vstřetiti и др. С пометами *Atal.* и *Ráj* в Словаре приведены примеры из юнгмановских переводов «Аталы» и «Потерянного рая», в том числе и русизмы: blaženství, krajnost, příroda, pochod, samodržec, temnota, vějíř, vesmír, vzduch, záliv, zobraziti и др.

Словарь содержит и другие юнгмановские неологизмы, созданные под влиянием русского языка, которые, однако, не имеют прямого указания на автора. Так, например, из статей и переводов Юнгмана взяты слова bukvář, odryvek, skučný имеющие помету: *Hlas.* («Hlasatel» — журнал, выходивший в начале XIX в.).

Ссылкой на журнал «Krok» снабжены слова из статей и переводов Юнгмана: pohybel, příličný, přítvornost.

Доля юнгмановских неологизмов русского происхождения, представленных в Словаре, несомненно, более значительна, чем можно было до сих пор выявить, так как учету не поддается интенсивная редакторская деятельность Й. Юнгмана. Как явствует из переписки будителей, обычным явлением той поры была передача созданных чешскими литераторами произведений в руки авторитетных в области языка лиц для окончательной обработки и исправления. Первое место среди этих добровольных редакторов занимал Й. Юнгман **[**192, *264, 288, 332***]**. В материалах переписки

---

[51] См. анализ слов этой группы с точки зрения происхождения и употребления в «Словесности» Й. Юнгмана у А. Едлички [136, *45—55*].

встречаются и некоторые конкретные указания такого рода. Так, не подлежит сомнению то, что Юнгман подверг серьезной языковой обработке труды по математике и физике Йозефа Войтеха Седлачека «Základové měřictví čili geometrie» (1822) и «Základové přírodnictví neb fysiky a matematiky potažné neboli smíšené», d. I—II (1825—1827). Как и другие естествоиспытатели эпохи чешского национального возрождения, В. Седлачек ставил в центре внимания создание чешской научной терминологии, широко пользуясь помощью Й. Юнгмана. Приведем несколько свидетельств этого из писем Й. Юнгмана и его сына: «Седлачек оставил у меня свою геометрию для просмотра» (Й. Юнгман А. Мареку, 1821 — ČČM, 1882, 472); «Пан Седлачек привлекает меня к работе над своей физикой; потеем целыми днями, создавая названия машин и т. д.» (Й. Юнгман А. Мареку, 1824 — ČČM, 1883, 54); «Профессор Седлачек издает свою физику, об усовершенствовании которой, особенно в части названий, печется и отец; большой вклад он внес и в его геометрию, хотя об этом ни он, ни Седлачек никому не говорят: иначе сразу стали бы кричать, что эти книги полны русских и польских слов» (Юнгман младший Я. Коллару, 1824) **[**144, *75***]**.

В Словаре Юнгмана приведены из трудов Седлачека (с пометами *Sedl. fus., Sed.l geom.*) следующие слова, заимствованные из русского языка или созданные под его влиянием násos, obrazec, objem, pěstík, rozprostraněnost, těleso, veličina, výšina, vzduch и др.

Около 200 русизмов — ботанических, зоологических и химических терминов — извлечены Юнгманом из трудов Яна Сватоплука Пресла «Flora čechica — Květene česká», 1819[52] (помета в Словаре *Flora),* «O přirozenosti rostlin aneb Rostlinář», 1820 (помета *Rostl.),* «Ssavectvo», 1834 (помета *Ssav.)* и других сочинений немонографического характера (помета *Presl).*

Ботаническая и зоологическая терминология Пресла, имеющая в юнгмановском словаре помету *rus.* или *Z rus.,* изучена, Т. Орлось **[**169, *45—90, 125—142***]**. Среди этих терминов bolševník, budylník, chvošt‘, durman, hladýš, hulevník, kavil, klikva, odur, plavuň, podslunečník, proskurník, pustoryl, reveň, sazaník, solanka, suchokvět, šeřík, št’avel и другие названия растений; pestík, rozviliny, stvol и другие названия частей растений; babočka, běluha, dikobraz, kosatka, kyt, martyška, morž, perepel, pestruška, rossomacha, saranče, treska, tuleň и другие названия насекомых и животных.

В своей терминологической деятельности Я. С. Пресл также опирался на авторитет Й. Юнгмана. Ф. Палацкий писал в рецензии на совместный труд В. Седлачека и Я. С. Пресла из области физики и химии: «Новая терминология, которую гг. Седлачек и Пресл создали с помощью и при консультации проф. Йоз. Юнгмана, хоть она и будет кое в чем исправлена нашими потомками, выбрана осмотрительно, она последовательна и ясна»

---

[52] Книга написана на латинском языке, но в конце ее помещен индекс чешских названий (с: 218—224), которые и были отражены в Словаре Юнгмана.

(ČČM 1828, 137). Оценка Палацкого оправдалась в ходе последующего развития чешской научной терминологии: названия, созданные Седлачеком и особенно Преслом, действительно стали основой современной терминологии соответствующих областей. Интересны данные Т. Орлось: из 148 ботанических терминов, введенных в чешский язык из русского (главным образом Я. С. Преслом), закрепилось в языке и дошло до наших дней 75, т. е. 50%. Из 57 зоологических терминов, заимствованных из русского языка, сохранилось 35, т. е. 61% **[**169, *152***]**.[53]

Нельзя не учитывать юнгмановского влияния и при рассмотрении лексики, созданной А. Мареком. Выше уже отмечалось, что вопросы словотворчества были предметом постоянного обсуждения в переписке и устном общении А. Марека и Й. Юнгмана. В Словаре отражено более 60 новообразований А. Марека, созданных им по образцу русских слов. Основными источниками послужили следующие труды А. Марека: «Логика» («Logika čili Umnice», 1820), перевод романа немецкого писателя Ф. К. Ван-дер-Вельде «Любительский театр» («Divadlo z ochoty», 1830) и перевод «Комедии ошибок» В. Шекспира («Omylové», 1823).

«Divadlo z ochoty» была по существу первым в XIX в. научным трудом, написанным на чешском языке. Основная цель, которая была поставлена и выполнена ее автором, — создание соответствующей чешской терминологии. Насыщенность книги новой терминологией была предельно велика; Я. Якубец отмечает, что «в употреблении новых слов еще никто не зашел так далеко, как Марек» **[**135a, *184***]**.[54] Характерно, что Й. Добровский, ознакомившись с книгой, высказал мнение, что «о подобных вещах не стоило бы писать по-чешски» (ČČM 1882, 465). Между тем вдумчивая и кропотливая терминотворческая работа А. Марека, которая отвечала потребностям эпохи и опиралась на хорошее для того времени познание словообразовательной системы чешского языка, в целом увенчалась успехом; созданные Мареком названия из области логики и философии стали прочной основой современной терминологии. Несомненно, что этому во многом способствовало включение неологизмов Марека в юнгмановский словарь. Среди них и термины, образованные под воздействием русского языка (помета в Словаре: *rus., z rusk.*): člověkosloví (антропология), dušesloví (психология), nudný, přídatečný, podbor, podrobnost, soustav (состав, система), vnešný, zádumčivost (меланхолия) и др. Ряд терминов из «Логики» Марека под-

---

[53] Данное соотношение в целом характерно и для терминологии Пресла, отраженной в Словаре Юнгмана, хотя материал Т. Орлось несколько выходит за рамки этого словаря.

[54] Ср. опасения, высказанные Юнгманом в письме А. Мареку: «Немечек (цензор чешских книг. – Г. Л.) эту Логику, наверно, жарит и парит; уже давно я с ним говорил о ней и убеждал, что там нет ничего против церкви и правительства, как и против добрых нравов, разве что он к дурным нравам отнесет неологизмы и архаизмы – тогда уж мы, конечно, окажемся безнравственными!» (ССМ, 1882б 464).

твержден и цитатами из других авторов той эпохи: obraznost, obrazec, prostonárodní, podobí, předmět, souhlasný и др., хотя нередко А. Марек придает этим словам специфическое терминологическое значение.

Около тридцати русизмов взято Юнгманом в Словарь из перевода А. Марека романа Ван-дер-Вельде «Любительский театр». Й. Юнгман высоко оценил языковую сторону перевода. «„Любительский театр" иногда поступает ко мне для корректуры, — писал он А. Мареку в период издания книги, — и хотя я всего его давно прочитал в рукописи, он приносит мне все новые радости. Вы всех нас оставили далеко за собой в отношении сочности и легкости слога. Вообще чешский язык, когда он усовершенствуется, должен достичь той ступени, на которой находится Ваш чешский» (ČČM 1883, 332).

Среди других неологизмов из этого перевода Юнгман включил в Словарь и следующие русизмы: odryvek, přípěv, přívět, podvih, retivý, rovnodušný, samovar, souratník, skučno, strastnost, středina, udobný, ulibka, věrolomec, vstřetiti, zápěv, závět, zřítel и др.

Из перевода «Комедии ошибок» Шекспира в Словарь вошли (с пометой *rus.*) слова šutka, uhodno, unylý, uvětlivý.

Роман «Любительский театр» входил в серию книг, предназначенных для сравнительно широкого круга читателей. Основал эту серию Й. Юнгман-младший, который в письме Я. Коллару четко выразил ее цель: «Нам очень нужны развлекательные сочинения, так как наша образованная публика, я имею в виду разных барышень и учащихся юношей, не находит ничего такого на чешском языке и вынуждена обращаться к немецким книгам. Думаю, что в наше время нужно было бы взяться за перевод или сочинение хороших романов, которые везде охотно читаются, а к чему же мы стремимся, как не к тому, чтобы читались чешские книги?» **[**144, *76***]**. Учитывая вкусы читающей публики, он выбрал для перевода романы и повести модного немецкого писателя Франца Карла Ван-дер-Вельде (1779—1824) и привлек для их перевода на чешский язык друзей и единомышленников своего отца — А. Марека, Ф. Ветешника, Я. Шольца, Ф. Шира, Й. Хмелу и некоторых других. Кроме «Любительского театра» для Словаря Юнгмана был расписан перевод романа Ван-дер-Вельде «Иоганнит», выполненный Ф. Ветешником. Примерами из этого текста (с пометой *Johanit*) были иллюстрированы следующие русизмы в Словаре Юнгмана: blaholepý, lenta, milovidný, nudný, obodřiti, rovnoduší, rozhovořiti se, tělochranitel, velikoduší, výstřel и др.

Следует подчеркнуть, что ни для «Логики» А. Марека, ни для указанных выше переводов его же и Ф. Ветешника не существует опорных русских текстов. Это свидетельствует о свободном владении обоих авторов русским языком, что подтверждается и другими их произведениями. Русизмы имеются и в переводе романа Ван-дер-Вельде «Jarvod Zlatohvězd» («Arved Güllenstiern»), выполненном Й. Хмелой, однако, в согласии с А.

Тругларжем, мы считаем, что они привнесены при редактировании Юнгманом-младшим, так как остальные произведения Хмелы лишены этой черты [181, *197*].

Слова русского происхождения, снабженные пометами *Šaf.* и *Šaf. Starož.,* восходят к I тому сочинения П. Й. Шафарика «Славянские древности» («Slovanské starožitnosti», 1836), в работе над которым автор широко пользовался русскими историческими источниками [65, *81 сл.;* 167, *102*]. Сюда относятся слова dohádka, domorodec, lukomoří, náplyv, přímoří, rusalka, samojed и др.

Вообще, большая часть русизмов, содержащихся в Словаре Юнгмана, имеет в своей основе русский текст, который может быть выявлен в результате расшифровки словарных указаний на источник иллюстрации. Так, например, около тридцати слов, документированных примерами из второго тома научного журнала «Krok» (1827) (помета в Словаре — *Krok II),* извлечено из двух переводов с русского: 1) перевод отрывков из «Истории» Н. М. Карамзина, выполненный В. Ганкой (bědstvo, blahorozumí, cizostranec, dobroduší, domovodstvo, drahocennost, chyžina, jednoplemenník, latník, leší, mnohočíselnost, ostroumý, přeprava, povinuji se, skotovodství, trhovle, úděl, umilostiviti, vlnování, výpiska, záštita, žrec); 2) перевод историко-географического очерка об озере Байкал, сделанный Ф. Ветешником (činovník, holoměnka, kytajec, přesnovodný, starožilec, sterlaď, vychuchel). Только для некоторых из этих слов источник указан более точно: kupalnice, přípěv, *(z Karamz.),* tryzna *(Karamz., přel. Hanky),* veličina, věrojatnost, vysota, zvěrolovstvo *(Hanka z Karamz.)*.

Эти два текста неслучайно стали объектом эксцерпции для Словаря. Очевидно, они выделялись сравнительной простотой и ясностью изложения, о чем свидетельствует замечание Юнгмана-младшего из письма к А. Мареку (1828): «Вероятно, Вы уже прочитали „Крок". «Байкал» и этот перевод из Карамзина произвели большую сенсацию и способствовали тому, что теперь все больше чешских литераторов отходит от нынешнего выражения и обязывается писать так, чтобы быть понятным большей части чешского общества» [144, *144*].

В числе источников Словаря Юнгмана имеется литературный альманах за 1824 г. («Almanach aneb Novoročenka». Hradec Králové); помета в Словаре — *Novor. 1824.* С такой пометой приведены иллюстрации к русизмам pomrtvělý, roditelský, rozplisk, ržu, souhlasiti se, šutiti, všehdašný, zanimatelný, zívota, zobraziti. Обращение к этому источнику показало, что примеры взяты из перевода «Афинской жизни» Н. М. Карамзина, выполненного Й. Камаритом, и перевода повести русского писателя А. Дуропа «Ратмир и Всемила», принадлежащего перу Ф. Л. Челаковского.

Кроме того, в качестве источников Словаря Юнгмана были использованы следующие произведения Ф. Л. Челаковского: поэтические сборники «Отголоски русских песен» («Ohlas písní ruských»), «Славянские народные

песни» («Slovanské národní písně»), «Разные стихотворения» («Smíšené básné»), а также перевод сочинения В. Скотта «Дева озера» («Panna jezerní»). Авторство Ф. Л. Челаковского выявляется еще при двух источниках, обозначенных в Словаре пометами *Měst. bož.* и *Česk. včel.* В первом случае речь идет о переводе Ф. Л. Челаковского с латинского св. Августина «De civitate Dei» («Sv. Augustina o městě Božím», 1834), за который он взялся, чтобы поправить свое материальное положение. Современники считали слог этого перевода образцовым.[55] Под второй пометой скрывается перевод Ф. Л. Челаковского с польского, опубликованный в редактируемом им журнале «Česká včela» в 1834 г. Среди большого количества слов (не только неологизмов), взятых Юнгманом из произведений Челаковского, немало русизмов. Из сборника «Ohlas písní ruských» эксцерптировались в основном названия русских реалий: aršín, bohatýr, denga, chorovod, juchtovina, popona, večeřinky и др.; остальные русизмы не связаны прямо с русскими текстами. Как и А. Марек, Ф. Л. Челаковский свободно пользовался русской лексикой для создания чешских языковых изобразительных средств. Из указанных источников Й. Юнгман приводит следующие новообразования, отмеченные русским влиянием: bezsilí, blahověří, blahozvučný, krasavice, krasotka, nedruh, pěsenník, polet, prostosrdečný, příliv, přizvuk, rozjařiti se, rozvaliny, ržu, souhlasný, sudba, svěži, svist, šutka, uhnětení, uhnětený, všemírný, vzduch, životvorný и др.

Один из источников Словаря, обозначаемый сокращением *Kron. Mosk.*, дал возможность Юнгману проиллюстрировать некоторое количество русизмов, обозначающих русские реалии; (okolník, posoch, proskura) **[**177, *65***]**. Речь идет о переводе с латинского языка «Московской хроники», который сделал в 1590 г. Матоуш Гозиус, а издал и снабдил предисловием Адам Даниэль Велеславин. Оригинал создан польским гетманом итальянского происхождения Александром Гванини (Guagnini). По содержанию этот памятник представлял собою политический памфлет на Ивана Грозного, но поскольку в нем были конкретные сведения о России (главным образом географического характера), он был с интересом воспринят чешской публикой и издавался еще два раза **[**183**]**.

Таковы основные источники отраженных в Словаре Й. Юнгмана слов, заимствованных из русского языка или созданных под влиянием русских слов.

Особо следует остановиться на единственном примере отражения в Словаре Юнгмана русизма, попавшего в него не из книжного источника. Речь идет о существительном nočninka, на которое имеется следующая словарная статья: «**Nočninka,** y, f. = zastaveníčko, Ständchen. (Rusové říkali,

---

[55] См., например, высказывание известного литератора К. Винаржицкого по поводу этого перевода: «Слог нашего Ладислава я предпочитаю всем, так называемым классикам „золотого века”» [186, 188].

táhnouce skrze Čechy)» (Так говорили русские, проходя через Чехию) (JS II, 731). С этим комментарием перекликается следующее место из письма Й. Юнгмана из Литомержиц А. Мареку, относящееся к 1813 г., когда через город проходили русские войска: «Rusové tady zhusta táhnou... Já pilně govorju s nimi a nalézám, že jsou mezi nimi velmi dobromyslní lidé... .» (Русские проходят здесь в большом числе... Я усердно говорю с ними и нахожу, что среди них есть очень добросердечные люди) (ČČM, 1882, 37). Вероятно, слово было услышано Юнгманом во время одного из таких разговоров с русскими солдатами. Слово явно искажено: может быть, оно возникло в результате контаминации двух существительных — *ноченька* и *ночевка*.

Представление об отражении в юнгмановском словаре русской лексики было бы неполным, если бы мы не отметили еще один ее слой, содержащийся в составе словарных толкований. Во многих случаях Юнгман цитирует русское слово, как бы желая подкрепить собственный неологизм ссылкой на родственный язык. Приведем несколько словарных статей, характерных для этого лексикографического приема Юнгмана. «**Akcionár**, e, m. kdo akci má, vkládce? (*rus*. vkladčík), Akzionär» (JS I, 9). Здесь очевидно стремление Й. Юнгмана создать чешское слово взамен иностранного: предполагаемую в осторожной форме замену vkládce он объясняет ссылкой на русское слово. Совершенно аналогичный подход мы видим при слове deputát: «**Deputát**, a, m. (*rus.* vybornoi), výbor, vybranec, ein Deputirter» (JS, I, 356).

Если в приведенных примерах можно видеть определенную зависимость новообразований Юнгмана от русского образца, то иная роль русского соответствия в словарной статье на слово grunt: «**Grunt**, u, m. (*e germ.*) der Grund, základ (*rus.* tvrď), vše, na čem se co zakládá» (JS, I, 642). Здесь не совсем точная ссылка на русское *твердь* имеет целью лишь указать на то, что родственный славянский язык обходится в данном случае без германизма.[56]

Подобную «поддерживающую» роль выполняют в словаре следующие русские слова, которые, как правило, приспособлены к чешскому звучанию: carstvování (при carování, caruji), hrdosloví (при hrdomluvnost), chleboprodavec (при chleboprodavač), knihopisec (при knihospisovatel), ogloblja (при ohlobně), bugor (при pahor), ulybka (при líbka), rumjanec (при ruměnec), ratnik (при souratník), veličestvo (при velictví) и др. [57]

По нашим подсчетам, которые заведомо не могут быть совершенно точными ввиду большой сложности и тонкости проявлений лексического и семантического влияния на родственный язык, в Словаре Юнгмана содержится около 1000 таких слов, которые и будут наряду с другими, не во-

[56] Как известно, Й. Юнгману и его сторонникам удалось вытеснить из литературного языка германизм grunt, как и некоторые другие: mord, handl и т. п. [127, 89].

[57] О некоторых других приемах отражения русизмов в Словаре Юнгмана см. в статьях Е. Ш. Мирочника [61; 62].

шедшими в Словарь русизмами, проанализированы в следующих главах книги.

Глава III

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РУСИЗМОВ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ И НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ НАЧАЛА XIX в.

§ 1. Вводные замечания. Проблема общей классификации столь обширного и многообразного слоя лексики, каким являются чешские неологизмы начала XIX в., возникшие под русским влиянием, должна решаться в соответствии с задачами изучения функциональной стороны языка. Наиболее распространенные в современных лексикологических исследованиях классификации материала по тематическим, лексико-семантическим группам или семантическим полям, по словообразовательным и другим связям в нашем случае вряд ли бы оказались адекватными, так как русизмы в чешском литературном языке изучаемого периода практически пронизывают все тематические сферы лексики, почти все части речи, и могут быть разделены на те же самые лексико-семантические разряды, что и собственно чешские слова.

В основу классификации должны быть, вероятно, положены критерии функционального порядка: факторы, которые обусловили сам акт восприятия чешским литературным языком русских лексических элементов и определили их роль и функцию в языке-усвоителе.

Таким образом, критерии нашей общей классификации материала лежат вне структуры языка и оказываются тесно связанными с социальными условиями развития языка.

В зависимости от того, каковы побудительные причины заимствований из русского языка в чешский национальный литературный язык периода его становления, выделяются следующие категории русизмов: 1) слова, воспринятые в качестве элементов высокого стиля, создание которого осознавалось как одна из главных задач языковой деятельности будителей; 2) обозначения понятий и признаков, не сложившиеся в чешском литературном языке к началу XIX в. ввиду предшествовавшего длительного упадка чешской книжности; 3) слова, использованные для пополнения скудной терминологии различных областей знания; 4) слова, призванные заменить употреблявшиеся до сих пор германизмы; 5) русские слова-экзотизмы, к которым прибегали при описании русской действительности.

§ 2. Слова, пополнившие так называемую поэтическую лексику чешского литературного языка.

К сходным чертам в развитии литературных языков разных народов В. В. Виноградов относил, в частности, то, что «до эпохи национального развития литератур поэтическая речь осознавалась как особая разновидность речи, резко обособленная от других форм речевой деятельности...» [18, 162]. В чешской литературе эта тенденция к созданию особой поэтической речи четко прослеживается в первой трети XIX в., т. е. в начальный период формирования национального чешского литературного языка. Она проявляется как в теоретических высказываниях литераторов-будителей, так и в их художественной практике. Особенно важны в этом отношении высказывания Йозефа Юнгмана, чье влияние, как и влияние его школы в целом, было определяющим для чешского литературного развития данного периода. Так, давая похвальную оценку первой значительной чешской поэме «Величие природы» Милоты Здирада Поляка, Й. Юнгман пишет: «Наш поэт свободным духом прокладывает собственней путь и создает новую, особую поэтическую речь, придавая своему произведению художественный характер, т. е. характер необычности (выделено автором. — Г. Л.), без чего поэма никогда не поднялась бы над уровнем повседневной речи и не стала бы художественным произведением» (Krok, 1821, 153). С этим высказыванием перекликается другое рассуждение Й. Юнгмана в письме к А. Мареку: «...Существует некий поэтический язык, стоящий сам по себе, и кто его не чувствует и не владеет им, далек от того, чтобы быть настоящим поэтом» [104, 148].

Итак, требование к поэтической речи — необычность, обособленность, точнее — приподнятость над речью, служащей для повседневного общения, — как главный признак художественности. Следует отметить, что эти требования предъявлялись не только к языку поэзии, но и к художественной прозе [189, 38].

На уровне лексики поэтическая речь характеризовалась обилием неологизмов и архаизмов, с помощью которых обогащались синонимические ресурсы, а также заполнялись ощутимые пустоты в словарном составе (прежде всего в области отвлеченной лексики), образовавшиеся в результате длительного застоя в литературе на чешском языке.

Возникает вопрос о соотношении неологизмов и архаизмов в поэтической речи.

Известно, что при определении неологизма (в нашем случае лексического) обнаруживаются различные подходы исследователей к этой проблеме и неодинаковые критерии их выделения.[58] Весьма распространен

[58] Обзор точек зрения на принципы выделения неологизма см. в работе О. Мартинцовой [163, 283]. См. также статью Е. К. Чирковой [94].

хронологический подход к выделению неологизмов, при котором к ним относят все лексико-семантические явления, возникшие после определенного временного предела.[59] Другим критерием выделения неологизмов может служить их оценка носителями языка, которые ощущают или не ощущают новизну и необычность языкового явления. В основе третьего критерия лежит представление о месте новой единицы в словарном составе языка. Последнего критерия придерживается, в частности, О. Мартинцова: «Критерий определения неологизма, с точки зрения его потенциальной возможности войти в систему словарного состава вызывает менее всего возражений. Он позволяет отделить от неологизмов так называемые модные слова, индивидуальные неологизмы и т. д., употребление которых имеет кратковременный или ограниченный характер» **[**163, *284***]**.

Нам кажется, что при выборе критерия выделения неологизмов необходимо принимать во внимание особенности функционирования данной формы существования языка в данных конкретно-исторических условиях. Вряд ли может удовлетворить потребностям исследования некий единый общий критерий. Так, например, приняв третий из указанных выше критериев, согласно которому неологизмами следует признавать лишь те новые наименования, которые способны стать единицами лексической системы, мы должны были бы исключить из круга анализа массу новых слов, которые просуществовали в чешском языке очень недолго и во многих случаях не вышли за пределы индивидуального словоупотребления. Однако таким образом мы неминуемо исказили бы характер языковых процессов в изучаемый нами период развития чешского литературного языка — период почти безграничного словотворчества и большой нестабильности словарного состава. По этим соображениям мы отказываемся от данного критерия и рассматриваем как в известном смысле равнозначные явления все новые наименования, возникшие в данный период в художественных, а также научных текстах, независимо от того, закрепились ли они позже в словарном составе чешского языка или нет. Это не означает вместе с тем, что мы оставляем без внимания вопрос об отношении этих слов к системе словарного состава, однако существенно для нас то, что в пору своего возникновения и функционирования в эпоху становления чешского национального литературного языка все новые слова имели общую языковую функцию.[60] Что касается первых двух критериев, то оба они применимы при изучении функциональной стороны развития языка, причем хронологический критерий, вероятно, должен быть основным.

---

[59] Такой подход представлен, в частности, в работах Д. Н. Шмелева [96], В. Т. Коломиец [37].

[60] Такой подход представляется оправданным, так как мы здесь не ставим в теоретическом плане вопрос об особенностях «речевого слова» по сравнению со «словом языковым».

Практически задачу выделения неологизмов мы решаем, следуя подходу А. Едлички, выработанному им при изучении литературоведческой терминологии эпохи чешского национального возрождения [136, *35*]. В качестве опоры используется Словарь Юнгмана, который достаточно полно охватывает лексику древнечешских памятников, а также отражает новые явления в лексике. Неологизмом считается слово, которое: а) документировано в этом словаре лишь текстами эпохи национального возрождения; б) не документировано примерами, но снабжено указанием на инославянский источник; в) не представлено в Словаре Юнгмана.

Под архаизмами в настоящей работе понимаются слова, которые представлены в чешских памятниках XIV — XVII вв., но оказались забытыми в течение последующего периода, когда функции чешского литературного языка были сужены до минимума. Обращение чешских литераторов-будителей к таким словам вызвано теми же причинами, что и словотворчество: архаизмы использовались как поэтические синонимы привычных слов и как средство пополнения словарного состава, в частности отвлеченной лексики. Художественные функции неологизма и архаизма смыкаются; обращение к архаизмам, по существу, оказывается одним из способов неологизации в речи. На это свойство указывал Б. А. Ларин: «Неологизмом называют новое, непривычное слово, вводимое писателем в литературный язык. Это „новое" слово часто бывает почерпнуто из очень старых источников и является собственно забытым словом» [46, *138*].

Для чешского литературного языка рассматриваемого периода функциональное слияние неологизмов и архаизмов было особенно характерно. «Строгое различие между архаизмами и новыми явлениями в языке Махи и вообще в языке той эпохи, — пишет Б. Гавранек, — провести не только очень трудно, но и принципиально не всегда целесообразно и возможно, потому что между ними просто не существует точных границ. Архаизмы — если речь идет не об устаревших словах и формах, удерживающихся в языке, а о тех, которые вновь вводятся в язык, — использовались отнюдь не как элементы сознательной архаизации текста, а только как элементы языка художественного, особенно поэтического... собственно, это новые для языка явления, отличающиеся от неологизмов только происхождением, а отнюдь не функцией» [126, *180*]. Стремление к созданию необычной поэтической речи сочеталось у чешских будителей с идеей всеславянского литературного языка, одним из путей образования которого представлялось насыщение каждого из литературных славянских языков элементами других «братских наречий». Широкую известность получило программное заявление Й. Юнгмана, содержавшееся в предисловии к его переводу «Потерянного рая»: «Не желай, дорогой друг отечества, чтобы возвышенная поэма была осквернена обыденным языком; лучше, будучи славянином, привыкай к славянскому языку и... стремись к тому, чтобы и

мы, чехи, понемногу двигались навстречу общему литературному славянскому языку» [142, *13*].

Славянская ориентация будителей наложила сильный отпечаток на неологизирующую деятельность чешских литераторов эпохи национального возрождения, обусловив многочисленные заимствования из славянских языков, преимущественно русского и польского, пополнявшие поэтическую лексику; что касается оживления архаизмов, то и здесь зачастую оказывается решающим факт наличия соответствующего слова в каком-нибудь из славянских языков.

Наконец, нужно отметить еще один путь образования особого слоя поэтической лексики — введение в литературный язык лексических диалектизмов. Своеобразие чешской языковой ситуации изучаемого периода проявлялось, в частности, в специфической художественной функции диалектизмов. Если «поэтика реализма, — пишет Б. А. Ларин, — ...обосновала необходимость и целесообразность включения различных диалектизмов как средства к созданию реалистических языковых колоритов» [46, *130*], то в чешскую литературу эпохи возрождения, переживавшую период предромантизма, диалектизмы вводились как средство поэтизации литературного языка. Диалектные слова воспринимались не как признак грубой обыденной речи, а как элементы былой славянской языковой стихии, сохраненные народом в безбрежном море господствующей немецкой речи. Особенным вниманием литераторов пользовались те диалектизмы, которые имели соответствия в других славянских языках (к тому же в теории того времени отсутствовало четкое различие между славянскими языками и их территориальными диалектами).

Таким образом, в функциональном отношении выступали как общая категория «поэтизмов» неологизмы, архаизмы и диалектизмы, причем русское лексическое влияние прослеживается на всех этих трех разрядах.

Новая и обновленная лексика, отмеченная русским влиянием, использовалась в чешском литературном языке изучаемого периода главным образом в двух направлениях: 1) для обогащения синонимики, 2) для восполнения пробелов в области отвлеченной лексики. Между этими двумя группами лексики не было резкой грани: в первой было много, если не большая часть, отвлеченных слов, а слова второй, естественно, вступали в синонимические отношения с уже существовавшими словами соответствующего семантического поля. В основу разделения положено наличие или отсутствие семантического тождества между неологизмом и синонимичным ему «старым» словом: у слов первой группы такое тождество имеется — расхождение между словами синонимического ряда лишь стилистическое: неологизм выступает в роли яркого поэтизма. Введение в язык слов второй группы вызвано потребностью наименования различных оттенков понятия, которое уже имеет словесное выражение, но слишком общее; речь идет здесь как бы о расширении смыслового регистра лексических выразитель-

ных средств. Неологизмы этой группы могут выделяться и своей стилистической окраской, но более важен в данном случае семантический признак.

1. *Поэтические синонимы.* Рассмотрим несколько примеров обогащения поэтической синонимики, происходившего в той или иной степени под влиянием русского языка, отталкиваясь от тех слов, которые в конце XVIII в. приводил Й. Добровский в двух первых русско-чешских словариках — в «Сравнении русского и. чешского языков» 1796 г. и в учебнике русского языка 1799 г. (см. о них выше, на с. 12—14). Русское слово и чешский перевод в списках Добровского в ходе словотворческой деятельности будителей превращались зачастую в синонимические пары, где слово, навеянное русским словоупотреблением, играло роль поэтического элемента. Например: děva — děvče, rty — ústa, šíje — krk, hrad — kroupy, vesna — jaro, jeseň — podzim, šum — hřmot, bol — bolest, vysota — výška, luh — louka, vojín — voják, syrý — vlhký, lepo — hezky, blahý — štastný, pěti — zpívati, l'ubiti — milovati, kohda — kdy, mohyla — hrob, deska — prkno, ručej — potok, dráha — cesta, oruží — zbraň, chrabrý — udatný, křepký — silný, bystrý — prudký, svěží — čerstvý, celovati — líbati, jískati — hledati.

Среди этих слов — и предметная и отвлеченная лексика, разные части речи. Объединяет их возможность быть использованными в романтических описаниях природы, внешних и внутренних свойств человека, а также сражений, подвигов и т. п.

Приводимые ниже примеры помогут представить семантико-стилистические процессы, характерные для данного способа пополнения чешских синонимических ресурсов.

Bol. Помещая это слово в своем «Сравнении русского и чешского языков» (1796 г.), Й. Добровский переводит его чешским bolest. В том же значении употреблялось в чешском и отглагольное существительное bolení (JS I, 159). Тем не менее, было воспринято и существительное bol, которое в образовавшемся синонимическом ряду bol — bolení — bolest было ярко выраженным поэтизмом. Наряду со словариком Й. Добровского источником его послужила и Краледворская рукопись (Ach ty trnie, ostré trnie, čemu si bol sdělo? — RK, 104).

В словаре Й. Юнгмана указано на бытование слова в русском языке, но приведены также ссылки на польский язык и моравское наречие. Таким образом, сразу несколько факторов оказали влияние на распространение поэтизма в чешском языке наличие слова в других славянских языках и диалектах; представление о его бытовании в древнечешском (на основании употребления в поддельной рукописи); кроме того, имела значение и безаффиксная форма существительного, которая охотно использовалась будителями в поэтической речи **[**127 *92***]**. Характерно, что с формальной стороны слово приспособилось к моравскому употреблению, приняв мужской род, но если в моравских говорах оно обозначало физическую боль, то в

литературном чешском языке стилистическая окраска слова bol повлияла на семантический сдвиг: bol — душевное страдание. Ср. следующие употребления: «Bol němý se rozehřívá, || tekou slzí přívaly» (Čel., 188, 1824 г.); «Tam vám ukáží, kde matička || Naše vlast, a kde ten drahý Eden, || Z něhož — ach bol! — Čech jest vypověděn!» (ČČM, 1836, 118). Соответственно и производное прилагательное bolný, которое в отличие от bol имело довольно широкое распространение в древнечешском языке в значениях ‘терпящий физическую боль’, ‘болезненный’, стало преимущественно употребляться в переносном значении: «Z bolných ňader těžce povzdychnula» (OPR, 60); «Řeky Moravy, an vlnami leje || Do noci tiché bolný žel» (ČČM, 1835, 246).

Весьма показательно, что воспринятый в тот же период русизм bolnice (синоним чешского nemocnice) не привился в чешском языке, оставшись в единичных употреблениях: «Na postředě bulévaru stoji Jakovlevská bolnice s apotekou» (Kotl., 262). Это слово нашло отражение и в Словаре Юнгмана (JS I, 161), но решающим для его судьбы в чешском языке оказалось то, что оно противоречило поэтической окрашенности родственных слов bol, bolný. Последние же получили широкое распространение в языке художественной литературы и дошли до наших дней. Академический словарь чешского языка отмечает существительное bol в значении ‘душевное страдание’ и приводит — с пометами *книж.* или *поэт.* — несколько его производных: bolno, bolnoblahý, bolnosladce, bolnosladký, bolnozvuký (PSJČ I, 166—168).

Blahý. Русское прилагательное blag было помещено в «Сравнении русского и чешского языков» с переводом Й. Добровского: «Dobrotiv, blahoslavený», в котором, собственно, указано на два значения слова. В Словаре Й. Юнгмана заметно стремление ввести в чешский литературный язык слово blahý во всех значениях, которые оно имело в других славянских языках (за исключением отрицательно-оценочных значений, известных русской народной речи): 1. Хороший; истинный. Для иллюстрации этого значения Юнгман приводит старославянское сочетание *совѣстию благою,* которому соответствует в чешском контексте s dobrým svědomím; 2. Благословенный, блаженный, счастливый; 3. Милостивый, добрый. Оба последних значения подтверждаются текстами, переведенными с польского (из Словаря Линде).

Между тем и в поэтических текстах Й. Юнгмана, и в произведениях других авторов начала XIX в. слово blahý выступало лишь во втором из указанных в Словаре значений и обогатило, таким образом, синонимический ряд blahoslavený — blažený — šťastný. В переводах с русского blahý соответствует прилагательным *блаженный* и *благий.* Ср. в переводе из Карамзина: «Život blahý dar jest bohův» (Novor. 1824, 200) — «Жизнь есть благий дар богов» (Аф. ж., 41). В чешских поэтических текстах отмечена и краткая форма этого прилагательного, соответствующая той, которая была приведена Й. Добровским: «Blah! Koho před porodem si milost oblíbila

božstva» (Krok, 1822, 22); «A blah, kdo hrdlo outěkem si chrání!» (ČČM. 1831, 132).

С точки зрения создания поэтической синонимики заслуживают внимания первые употребления прилагательного blahý — в переводах Юнгмана. Сравнение этих переводов со славянскими посредниками показывает, что опорой при выборе данного слова для Й. Юнгмана могло быть и польское прилагательное błogi, которое выступало в польском тексте перевода «Потерянного рая» в синонимическом ряду błogi — szczęśliwy. Характерно, однако, что и из этого польского ряда, и из соответствующего русского синонимического ряда блаженный — благий — счастливый Юнгман избирает лишь прилагательное с основой blah-(blaž-), так как чешское прилагательное šťastný не имело возвышенной стилистической окраски. Приведем некоторые примеры из переводов «Потерянного рая»:

В. П.	**Przyb.**	**JR**
дондеже Богочеловек… возвратил *блаженное* жилище (1)	póki …Bog człowiek …znowu nieodzyska *błogiego* siedliska (7)	až náš Bůhčlověk …získal opět *blažené* ono sídlo (21)
Во оном *блаженном* состоянии (2)	w tak *szczęśliwym* stanie (8)	v tak *blahém* stavu (22)
во *блаженном* царствии света (2)	na łonie *szczęśliewej* korony światła (9)	v *blažené* světla říši (22)

В юнгмановском переводе «Потерянного рая» было впервые создано и производное существительное blahost: blahosti ztráta (JR, 22). Опорой для него послужили и русское, и польское соответствия: из русского была взята основа — благоденствия потерянного (В. П., 3), а из польского — словообразовательная модель — szczęśliwości ztraty (Przyb., 8). В переводе «Аталы» существительное blahost находим как соответствие франц. bonheur, русским *блаженство* и *счастье:* mon songe de bonheur — сон моего *блаженства* (Н. Р., 124) — сновидения *счастия* моего (И. М., 147) — sen můj o *blahosti* (JR, 92). Показательно, что и здесь Й. Юнгман не использовал чешского существительного štěstí, которое в ряду blahost — blaženství — štěstí было стилистически нейтральным.

Слово blahost принадлежит к распространенным поэтизмам эпохи национального возрождения. Этому способствовало не только его употребление в переводах Й. Юнгмана, но и появление в Краледворской рукописи (v dědiny vrátíše sie byvšie blahost — RK, 18). Для В. Ганки источником этого слова послужили, вероятно, юнгмановские переводы.

Таким образом, если прилагательное blahý (blah) можно считать заимствованием из русского языка, толчком для которого послужило «Сравнение русского и чешского языков» Й. Добровского, а опорой — наличие соответствующей формы (błogi) в польском языке, то существительное blahost в значении ‘счастье’ является собственным новообразованием Юнгмана от основы blah-. Это подтверждается и анализом словарной статьи на

слово blahost в Словаре Юнгмана, где русское существительное *благость* приведено лишь для подкрепления индивидуального употребления слова blahost в значении ‘милость’ в языке Я. Коллара *(«rus.* blagosť‘ = gratia» JS I, 130).

Blahost — не единственный неологизм, созданный в изучаемый период от основы blah-; нужно отметить еще его словообразовательный синоним-вариант blahota (ср. у Челаковского (1819 г.): duch můj ... žídlem plynul rajské blahoty Čel., 250) и прилагательное blahotný (žezlem vlasti blahotným — Vid. nov., 1816, 202). Заметный слой поэтизмов начала XIX в. составили многочисленные сложные слова с первым компонентом blaho-.

Следствием внедрения в чешский литературный язык слова blahý и его производных явился также и существенный рост частотности образований с основой blah- (blaž-), редких в чешском языке до периода национального возрождения, например blažený, blaženost, blaženství (см. данные словаря Юнгмана — JS I, 136).

Chrabrý, chrabrost. Введение этих слов в литературный чешский язык связано с именем В. Ганки, хотя первое употребление прилагательного chrabrý отмечено в стихотворении А. Марека 1814 г. **[**174, *231***]**. В. Ганка широко использовал данные слова в Краледворской и Зеленогорской рукописях: Stiaglav chraber na Radbuže chladně (RZ, 4); řváše **[**Kruvoj**]** chrabrost v svoje Ľudi (RK, 40); Vojmir vnoči na ně chrabrú rukú (RK, 50) и др. В. Ганка пропагандирует эти слова и в дальнейшем: в переводе из Карамзина от 1821 г. (dokončili hody chrabří Rusíci — Krok, 1821, 83), а также в поддельных глоссах Mater verborum. Й. Юнгман в первых переводах еще не употреблял слов chrabrý и chrabrost[61] но охотно подхватил «оживленные архаизмы» В. Ганки. В 1821 г. он использовал один из них в собственном стихотворении (Ni vaše lvova chrabrost, ni silné paže obrana — Krok, 1821, 4), а другой прокомментировал в примечании к отрывку из Зеленогорской рукописи («**Chraber**, chrabrý, t. J. Udatný, jiným Slovanům posud v obyčeji» — Krok, 1821,59).

В статье на слово chrabrý в Словаре Й. Юнгмана мы также находим указание на существование этого слова в других славянских языках: «*rus.* chrabry, *pol. chrobry, cr. illyr. vind*. hrabren, *sor*. krobly» (JS I, 816).

Учитывая, что основными источниками первых употреблений данных слов в литературном чешском языке были русские («Сравнение русского и чешского языков» Й. Добровского, поддельные рукописи), их следует при-

---

[61] Интересно в этой связи примечание Й. Юнгмана, сделанное им при работе над переводом «Слова о полку Игореве» (10-е годы XIX в.). Переводя прилагательное *храбрый* словами srdnatý, udatný, он пишет: «Жаль, что слово chrabrý (польск. chrobry) в чешском языке утрачено» [143, *696*].

знать русизмами,[62] хотя несомненна и поддерживающая роль других славянских языков.

Прилагательное chrabrý оказалось полезным пополнением чешских синонимических запасов (chrabrý — udatný) и получило весьма широкое распространение в литературном языке. Среди множества употреблений отметим несколько из произведений Ф.Л. Челаковского. В переводе русской повести А. Дуропа «Ратмир и Всемила»: Byl přinucen chrabrá vojska vysílati (R. a V. 59) — Он принуждаем был посылать храбрую дружину (Р. и В., 59), из «Отголосков русских песен»: tam na rovinách, smutných || mnoho chrabrého (OPR, 62); как «исконно чешское» слово, Ф.Л. Челаковский использует его даже там, где в переводимом русском тексте стоит его синоним *удалой:* удал добрый молодец — chrabrý, dobrý jinoch (Sl. p. I, 116).

В Словаре Й. Юнгмана зафиксирован еще один русизм от той же основы — chrabrec, в значениях: 1. Udatný vojak, jonák; 2. Chloubce. Вероятно, источником этого не прививщегося в чешском языке слова был словарь Гейма. К этому же источнику можно отнести и производные глаголы chrabřeti, chrabřiti и chrabřiti se, поскольку они приведены Юнгманом без текстовых иллюстраций. Между тем собственно чешскими неологизмами являются зафиксированные в юнгмановском словаре chrabroduchý (padlo reků chrabroduchých — ČČM, 1828, 42) и найденные нами velechrabrý (Tvé činy velechrabré po celém vyhlasila lidstvu — Žák V. Osvobozený Jerusalem T. Tassa. Praha, 1833, 15) и chrabrojarý (chrabrojarých jinochů — Novor., 1824, 174)

Для процесса усвоения слова chrabrý показательно, что еще в 1823 г. оно приводилось в списке малоизвестных слов (Krok 1823, 159: Chrabrý = statečný, tapfer).

Vesna. Хронологически проникновение слова vesna в чешский литературный язык можно представить следующим образом. 1796 г. — появление слова в «Сравнении русского и чешского языков» Й. Добровского с переводом jaro; 1818 г. — пример из Краледворской рукописи: po puti všiej z Vesny po Moranu (RK, 16), — где слово vesna употреблено в переносном значении ‘юность’; 1819 г. — использование слова в поэме М. З. Полака «Величие природы»: «Tam li mi jíti, || kdež barevný stkví koberec se vesny» (Pol., I), в притекстовом словарике к которой слово объясняется через jaro. С этого периода начинается активное использование слова vesna в качестве поэтического синонима существительного jaro. Слово было горячо поддержано Й. Юнгманом. В рецензии на поэму М. З. Полака, во второе издание которой Й. Юнгман, как известно, внес существенную редакторскую

[62] К русизмам их безоговорочно относят и этимологические словари. В. Махек отмечает, что в чешском языке от данной общеславянской основы сохранился лишь топоним Chrabry (с выпадением -r-) [208, 204]. Т. Орлось [168, 78—79] рассматривает слово в ряду полонизмов, основываясь на ничем не подкрепленном мнении Ф. Шимека [173, 312].

правку, он одобряет насыщенность поэмы необычными словами, придающими ей возвышенный характер. Среди «старых слов», использованных в поэме, Юнгман называет и существительное vesna. При этом он, вероятно, учитывает не только употребление слова в «древней» Краледворской рукописи, но и сохранение его в моравских говорах. См. притекстовое пояснение слова vesna, употребленного в стихотворении Я. Филипека «Radost mladého věku»: «Kvítečky zmlazené Vesně || Rovná se jinochů věk». — «**Vesna**, co jaro u Rusů. Moravané toho slova až podnes užívají» (Čechoslav, 1821, 282).

Действительно, слово можно считать и старочешским, но оно относится, по словам Я. Белича, к «периферийным архаизмам»: в древнечешских памятниках оно не зафиксировано, но сохранилось в восточночешских говорах, причем в форме среднего рода (по аналогии с léto) **[**101, *3***]**. Между тем будители в 1829 г. получили новое «подтверждение» того, что слово vesna бытовало в древнечешском языке: оно оказалось в числе «открытых» В. Ганкой глосс Mater verborum. Таким образом, для Й. Юнгмана и его школы это был пример утраты чешским языком общеславянского слова, восстановление которого оыло привлекательно во всех отношениях.

Для употребления слова vesna в текстах эпохи национального возрождения весьма характерно олицетворение, чему способствовала и форма жен. рода (основное, стилистически нейтральное обозначение весны — jaro — не представляло возможности такого употребления). Например: «Líbá Vesna všecky své ... vnady před básníkem rozvinuje» (ČČM, 1831, 46). Наряду с синонимической парой vesna — jaro возникла подобная пара jeseň — podzim, где слово jeseň имело поэтическую окраску. Для чешского языка начала XIX в. это был неологизм, еще в 1831 г. он объяснялся в притекстовых словариках через слово podzim (см., например, «Vysvětlení nepovědomějších slov» Han. Písně, 125).

Появление этого слова в чешском литературном языке произошло не без влияния русского *осень*, известного будителям из «Сравнения русского языка с чешским» Й. Добровского. Слово могло быть заимствовано и непосредственно из польского (jesień). Однако несмотря на то, что наличие слова в русском и польском имело определенное значение, решающим было, вероятно, существование его в словацком.[63] Не случайно и Юнгман, указывая в своем Словаре инославянские параллели, привел ряд примеров употребления слова jeseň в словацких народных песнях и у словацких авторов. Что же касается непосредственного толчка к использованию этого слова в чешском литературном языке, то им, безусловно, было появление Краледворской рукописи, где jeseň встречается дважды: «Kak by mrzli klasi

[63] В. Махек считает одинаково возможным заимствование как из словацкого, так и из польского [208, 223]. Т. Орлось рассматривает слово в ряду полонизмов [168, 82 и сл.].

v stozě, || by vezdy jeseň byla» (RK, 112), «Aita rozmnožie sě Tatar mnostvie, || jak sě množie večerní tma v jeseň» (RK, 72).

Vesna и jeseň принадлежали к излюбленным поэтизмам эпохи чешского национального возрождения и сохранились до сих пор как стилистически окрашенные (см. SSJČ IV, 65, I, 785).

Luh. В «Сравнении русского и чешского языков» Й. Добровский переводит русское *луг* чешскими louka (luka). В этом же значении выступает слово luh и в Mater verborum (поддельная глосса) **[**93, *57***]**. Однако luh — подлинное чешское слово: Й. Добровский своим переводом только обратил внимание на расхождение значений русского *луг* и чешского luh, которое в Словаре Юнгмана определено как «болотистое, сырое, низкое место, главным образом заросшее ольховником, ивняком и т. д.» (JS II, 359—360). Слово louka в этом же словаре определяется: «место, где растет трава, особенно идущая на сено» (JS II, 270). Поэтизация слова luh началась уже в первых стихотворных опытах чешских будителей (у Пухмайера: Lada sype po luzích a sadech; у Марека: Tu, kdež stinné luhy obvlažuje rychlotoká z hory Jizera; оба примера из сб.: Prvotiny pěkných umění. Praha, 1813). В этих употреблениях еще не отмечается семантический сдвиг: так, сочетание stínné luhy (тенистые луга) говорит о том, что речь идет о месте, поросшем деревьями. В дальнейшем происходит решительное синонимическое сближение существительных luh и louka, которое особенно заметно в переводах Ф.Л. Челаковского из русской народной поэзии. Русское слово *луг,* весьма частое в народных песнях, он последовательно передает чешским luh. Например: круты красны берега и зеленые луга — kolmé krásné břehy i zelené luhy (Sl. p. III, 113); а подале того в зеленых лугах — a ještě dále v zelených luzích (SL. p. II, 83) и т. д. Как и во многих других случаях, словоупотребление Ф.Л. Челаковского послужило образцом для подражания, и синонимическая пара luh — louka, первое слово которой характеризовалось возвышенной поэтической окраской, прочно вошла в литературный чешский язык. Первоначальное смысловое различие между этими словами оказалось размытым, чему, несомненно, способствовало то, что существительное luh до его включения в синонимический ряд luh — louka имело несколько специальный характер и не было так широко известно, как родовое обозначение louka. Результаты синонимического сближения слов luh и louka, произошедшего под влиянием русского языка в эпоху чешского национального возрождения, со всей четкостью проявляются в современном литературном языке (см. толкование слова luh в SSJČ, I, 1141. «**luh** — kniž. louka, lučina»). Первоначальное значение существительного luh отразилось сейчас лишь в специальном употреблении: «*бот.* очень влажный лес с перегнойной почвой в областях, затапливаемых паводками, состоящий преимущественно из лиственных пород (ольхи, ясеня и тополя)».

Mohyla. Русское mogila приведено Й. Добровским в учебнике русского языка (1799 г.) с переводом hrob. Это общеславянское слово не зафиксиро-

вано в древнечешских памятниках, но отражено в некоторых чешских топонимах: Mohelno, Mohelnice и др. **[**208, *372***]**. По нашим данным, первое употребление слова в XIX в. содержится в «Краткой истории славянских народов» Ф. Рюса, переведенной В. Ганкой (1818 г.): «Ještě nyní se nacházejí v mnohých krajinách ... veliké homole, mohelnice, mohyly» (Han. Hist., 30). Три варианта наименования, приведенные В. Ганкой, свидетельствуют о поисках наиболее приемлемого из них. Ближе всего к чешскому звучанию был вариант mohelnice; подобная форма встречалась и у других авторов. Так, например, в переводах из древнегреческих классиков, выполненных Фр. Широм (1827 г.), читаем: «Na Saffin hrob. Kosti a prázdné jmě sice má tato Saffy mohelna...» (Šír, 63).

Слово mohelna Шир снабдил произвольным этимологическим комментарием: «mohelna или mohyla, а также mohyla или homole, hůmole, humulus, надгробие из земли в виде холма; несомненно, от humus» (там же). Однако формы mohelna и mohelnice были вытеснены формой mohyla, которую можно рассматривать как заимствование, и из русского и из польского. Т. Орлось считает слово полонизмом, так как в Словаре Юнгмана приводится ссылка только на польский язык (*po1*. mogila — JS II, 486) и Словарь Линде **[**168, *55***]**. Вместе с тем оно встречается и в переводах с русского, ср. в переводе из Полевого (В. Ганки?): «Jasnoskvělé jaro... obnaží chladnou, tichou mohylu velikého básníka» (ČČM, 1837, 460); «Každý den pláče někdo z živých nad něčí mohylou» (там же); переводе с русского А. Марека: «Mohyly a nadbřežných uteův nápisy» (ČČM, 1838, 241) и др. В тексте 1844 г. отмечена форма, не приспособленная к чешской звуковой и графической системе: «V spisku... Köppena mogily se přivlastňují skandinavským Varjaho — Russům» (ČČM, 1844, 109). Таким образом, русское языковое влияние в данном случае нельзя отрицать, равно как и польское.

Что касается значения и употребления слова mohyla в чешском литературном языке, то оно определялось уже внутренними языковыми потребностями. Здесь рано наметились две различные линии. Во-первых, слово стало поэтическим синонимом чешского hrob. Ср. у Челаковского (1820 г.): «Máť příroda svou mohylu si chystá» (об осени — Čel., 221); в стихотворении А. Марека «U hrobu mateře» (1821): «Slz teče vvýlev na mohyly mrtvin, || srdce jejich však neožije více» (Mar., 42); у Й. Марека: «V noci chladné když slzívám || Nad mé lásky mohylou» (ČČM, 1829, 6). Во-вторых, слово mohyla употреблялось в качестве археологического термина в значениях ‘саркофаг’ (не удержалось впоследствии) и могильный курган’: «Jsouť to sochy mající mohylu (sarcophag) knížete obklíčiti» (Krok, 1822, 145); «Ouhoří ... jako mohyly (hrobní památka) stroskotaného světa ze sutin nasypané se býti zdají» (ČČM, 1827, 110); у Шафарика: «hrobky (mohyly) pak králův nalezaly se ve straně jmenované Gerrhus» (ČČM, 1835, 23).

Оба значения сохранились и в современном литературном чешском языке, причем значение ‘могильный курган’ словари приводят как основное (см. PSJČ II, 925).

Oruží. Слово относится к разряду архаизмов, вышедших из употребления и забытых к XIX в. Словарь Й. Юнгмана отмечает большое число употреблений из древнечешских текстов, свидетельствующих о синонимическом применении форм orudie и oružie, каждая из которых выступает в двух значениях:

1. Приспособление, инструмент для какой-н. деятельности;
2. Предмет, служащий для защиты или нападения в бою.[64] О забвении слова oruží уже в XVII в., во времена Я. А. Коменского, красноречиво свидетельствует цитата из его проповеди, приведенная в Словаре Юнгмана: «Staroslovanské slovo oruží jemuž nyni, jež jest tolik co nádobí, řídký rozumí» (слово nádobí означает здесь ‘инструмент, приспособление’). В «Учебнике русского языка» Й. Добровский приводит русское *оружие* как соответствие чешскому zbraň. В числе других архаизмов, оживленных под влиянием русского языка, слово употреблено в Краледворской рукописи: «Však za oružie jmě cep protivo vrahóm» (RK, 60), — где имеется и причастная форма oružení ‘вооруженные’: «Naliť Uhřie v setniny sě shlukú, naliť oružení s nimi střetnú» (RK, 70). Обе формы получили некоторое развитие в литературе национального возрождения: «Tesáků, mečů a bodáků leskot... Některé [pacholky] záhubné oruží stírá, jiné pak železné pouto již svírá» (Šaf. Básně, 65); «A lidí pěších i konných, oružených i neozbrojených» (А. Марек, пер. с русск. ČČM, 1838, 242; русск. соответствие: *вооруженных* и *безоружных*).

Существительное oruží в качестве стилистически окрашенного элемента отражено в словарях современного чешского литературного языка с пометой *книж.* (PSJČ III, 1141).

Vojín. В «Сравнении русского и чешского языков» Й. Добровского дано в соответствии с чешским voják. Первые употребления в чешском языке связаны с В. Ганкой: «Radost vzevzně z úst vojnóv Zábojevých» (RK, 36); «Vojni! vece» (RK, 36); «Vojni… jidú pojednom, oružie nesúce» (RK, 46) и т. д.

В Словаре Й. Юнгмана на слово vojín приведены примеры лишь из Краледворской рукописи, однако оно было достаточно распространено и в последующих текстах. Ср. у Челаковского (1824 г.): «to v loubi stinném || s spanilým vojínem v rozhovoru láska || Běla krasavice» (Čel., 184); у него же в переводе с русского: zhrozili se vojínové (R. a V., 87) — русск. соответствие: *смутились воины* (Р. и В., 206); у других авторов, без опоры на русский текст: «Vzhůru každý kdo vojín jsi věrný» (ČČM, 1837, 139); «vojín pohnut státi zůstává» (ČČM, 1838, 152). Ф.Л. Челаковскому было известно

[64] Этимологически данные слова не могут быть сближены [200, *III*, *154*, 15, *86*].

из русских источников и собирательное существительное vojinstvo — хотя бы из повести А. Дуропа («меч его открывал пространный путь воинству» — P. и B., 59). В переводе этой фразы Челаковский использовал форму мн. числа существительного vojník (заимствованного из сербохорватского языка), но вскоре он употребил слово vojinstvo в «Отголосках русских песен»: «Mnoho chrabrého vojska ruského, || mnoho vojinstva i francouzského || ku syré zemi hlavou přilehlo» (OPR, 62). Таким образом, в значении ‘член войска, дружины; солдат’ в рассматриваемый период имелось несколько синонимов от корня voj-: voják, vojín, vojník. Словарь Й. Юнгмана отмечает также редкую форму из древнечешских памятников vojan. Слово vojník почти не имело распространения ни в данный период, ни в дальнейшем. Пара же vojín — voják не утратила своих синонимических свойств и в современном литературном чешском языке, даже несмотря на то, что в 60-е годы XX в. существительному vojín было сообщено и второе, терминологическое значение — ‘рядовой солдат’ (PSJČ VI, 1108).

Šíje. В качестве чешского соответствия русскому šeja Й. Добровский в «Сравнении русского и чешского языков» приводит слово krk, хотя родственная форма šíje в том же значении была широко употребительна в древнечешских памятниках. Очевидно, что и в данном случае, как во многих других, речь идет о вытесненном из речевого обихода и почти забытом слове. Начало его повторной активности положил Й Юнгман, использовав слово в переводе «Потерянного рая»: «Často chochol zježený a kovové|| šíje hladkost nakloňuje, || líže zem [had]» (231). В числе других поэтизмов «Потерянного рая» это слово было усвоено П. Й. Шафариком (см. в балладе 1815 г.): «A kolem, kolem po cestě || se všecko dívá nevěstě, || jak v slunci s šíje její || se zlaté vlasy chvějí» (Šaf., Básně, 98). Охотно употреблял слово šíje в своих стихотворных опытах А. Марек. Однако лишь с двадцатых годов XIX в. слово šíje стало излюбленным поэтизмом, чему способствовала, вероятно, огромная популярность Краледворской рукописи, где слово šíje было употреблено в описании княжеской дочери покровительницы рыцарского турнира: «Ta dci na div slična bieše, || těla urostlého krásně, || líce jmieše ovšem bielé, || na lícech ruměnci ktviechu... i po jejiej bielej šíji || vlasi zlatostvúci vějú» (RK, 86). Характерны эпитеты этого существительного, типичные для поэзии и романтической прозы первой половины XIX в.: labuťová šíje (Dennice, 15); hrdě sklenutá šíje; hrdá šíje (Jindy a n., 106, 83) и т. п.

Оценивая факторы, вызвавшие к жизни полузабытый архаизм šíje, трудно выделить главный: одним из несомненных импульсов было указание Й. Добровского на русское слово; нельзя не учитывать и общей огромной зависимости Краледворской рукописи, где выступало это слово, от русской языковой стихии; вместе с тем очевидно и влияние польского szyja, в частности на словоупотребление Й. Юнгмана, переводившего «Потерянный рай» через польское посредство. Весь этот комплекс факторов на-

шел отражение в статье на слово šíje в Словаре Юнгмана, который подкрепляет его ссылками на другие, славянские языки (*slav.* (т. е. старославянский, — *Г. Л.)* šíja, *po1.* szyja, *rus*. šeja. — JS IV, 456).

В современном литературном языке слово šíje бытует и как стилистически окрашенное (словарная помета *книж.*), и как специальный географический и технический термин (развитие терминологических значений здесь не рассматривается) PSJČ V, 1055.

Приведенные выше несколько примеров обогащения чешских синонимических ресурсов под влиянием русского языка, как уже было отмечено, связаны с именем Й. Добровского, так как он первым обратил внимание на соответствующие русские слова, вошедшие впоследствии в синонимические отношения с чешскими словами. Вообще же круг подобной лексики в литературе чешского национального возрождения был весьма широк.

Приведем в качестве иллюстрации некоторые синонимические ряды или пары, появившиеся в данный период (первым в ряду стоит слово, возникшее под влиянием русского языка):[65] blahorodný — urozený; blahořečí — výmluvnost; blahosklonnost — náchylnost — přízeň; bohatýr — rek — hrdina — rytíř mužný; bezdělí — prázdnost; bezmluví — tichost; dvižení — hnutí; jinostranný — cizokrajný; kurhan — náhrobek; kynžal — dýka; lad — pořádek ladný — hezký — pěkný; malosilí — slabost; milostina — almužna; mnoholetí — dlouhověkost; mučitelný — trapný; pěvec — zpěvák; pleska — tanec; plodonosný — plodný; plzný — užitečný — prospěšný; postup — chod; prosnouti se — probuditi se; přiličny — příhodný; přízrak — příšera — oblud; retivý — náhlý — prchlý; skromný — mírný — skrovný; souratník — spolubojovník; strohý — přísný; sudba — osud; teska — tesknost; tuče — mrak; unylý — smutný; vršina — vrch; vřemě — čas — doba; vstřetiti — potkati; záštita — záchrana; žertva — oběť; žitel — obyvatel и др.

2. *Отвлеченная лексика.* Задача поднять чешский литературный язык на уровень других развитых литературных европейских языков, которую ставили перед собой будители, требовала в числе прочего существенного пополнения лексики, связанной с выражением различных сторон духовной жизни человека, оттенков чувств и переживаний, особенностей восприятия и осмысления окружающего мира — всего того, что может быть включено в понятие «отвлеченная лексика», занимающая, как известно, одно из главных мест в системе словесных выразительных средств литературы романтизма, в направлении которого стала развиваться и чешская литература. Поиски недостающих обозначений понятий, известных будителям в иноязычной оболочке, сочетаются с постоянным стремлением к созданию особого, необычного поэтического языка, характеризующегося также и сближением с родственными славянскими языками.

---

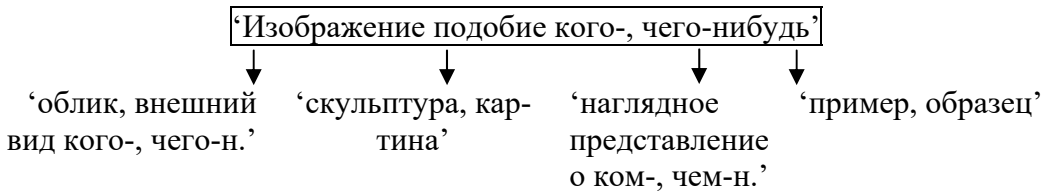
[65] Материал извлечен из Словаря Й. Юнгмана.

Проследим на некоторых примерах, как воплощались в фактику литературного языка все указанные тенденции.

Obraznost. Это существительное в поэзии и романтической прозе первой половины XIX в. было почти непременным атрибутом описания внутреннего мира героев и их восприятия окружающей природы. Автор новообразования — Й. Юнгман, впервые оно употреблено в его переводе «Аталы».

В русских посредниках этому слову каждый раз соответстует *воображение:* Obraznost má děsila se zárovně buď hlasu, buď mlčení, jenž následovati mělo na volání mé (JA, 40) — Воображение мое равно ужасалось и гласа и молчания, последовавшего моим воплям (Н. Р., 125); Klam, omyl, marnost, sen obraznosti raněné (JA, 46) — Мечта, химера, суета, сновидения пораженного воображения (И. М., 183); tvá obraznost klopotná (JA, 43) — Пылкое твое воображение (Н. Р., 139). Введение нового слова Й. Юнгман облегчает пояснением его в притекстовом. словарике: «*Obraznost* — mysli, fantasie», — которое ярко свидетельствует о потребности в слове: существительное mysl многозначно и не выражает с точностью данного понятия, fantasia — иноязычное слово, бытующее и в немецком, и уже потому была желательна его замена.

Несомненная зависимость от русского словоупотребления проявляется в создании формы obraznost довольно сложно и своеобразно. Прежде всего здесь нужно принять во внимание историю смыслового развития чешского существительного obraz, которое весьма широко представлено в древнечешских памятниках. Словарная статья obraz в Словаре Юнгмана позволяет проследить филиацию его значения:



Не все эти значения одинаково широко представлены к началу XIX в.: так, много примеров на значение ‘облик, внешний вид кого-, чего-н.’; очень заметна тенденция к образованию специального значения obraz — ‘произведение живописи, картина’. Между тем значение ‘наглядное представление о ком-, чем-н.’ в Словаре подтверждено лишь двумя примерами из текста: XVI в. и одним из Й. Юнгмана. В литературе периода национального возрождения происходит интенсивное развитие данных и возникновение новых значений слова obraz. Толчком к этому послужило использование его в переводе «Потерянного рая», причем обращает на себя внимание опора Й. Юнгмана на текст русского посредника. Например: obraz zvířecí jeho (JR, 33) — звероподобный его образ (В. П., 19); vida ve mně dokonalý obraz svůj (JR, 65) — созерцал себя во мне, совершенном тво-

ем образе (В. П., 66); na pravici seděl jednorozený Bůh syn, skvělý obraz slávy otcovy (JR, 76) — одесную его, сияющий образ его славы, сидел единородный сын (В. П., 81); černou Gehennou, strašným pekel obrazem (JR, 32) — черная Геена, проображение ада (В. П., 17).

Что касается существительного obraznost ‘фантазия, воображение’, то оно создано Й. Юнгманом с учетом однокоренного русского слова *воображение,* на основе одного из значений слова obraz (‘мысленное представление о чем-н.’). Непосредственной связи с русской формой *образность,* несомненно известной Й. Юнгману, здесь, как кажется, нет; для передачи понятия ‘образное выражение’, ‘изобразительность’ Юнгман создает другой неологизм — obrazotvornost: «Ačkoli v prostomluvě nejvíce rozum, v básnění obrazotvornost zaujata jest (J. Slov. I, s. XIII).

Система обозначений obraz — obraznost — obrazotvornost, созданная Юнгманом, была принята другими литераторами его школы, эта система прослеживается даже на соотношении русского соответствия и чешского слова, если речь идет о переводах с русского. Так, чешскому obraz, как и у Юнгмана, обычно соответствует русское *образ.* Например: «půvabný obraz tvůj nezmizí z duše mé» (R. a V., 70) — «Прелестный образ твой не истребится из души моей» (Р. и В., 52). В юнгмановской же традиции переводят словом obraznost русское *воображение* (как и употребленное синонимически *мечтательность*): učinkuje na city, na obraznost (Č. vč. 1835, 330) — действует на чувства и на воображение (Б. чт., 1834, 64); Hluboké city, smělá obraznost (Pal. Greč) — Глубокие чувства, смелая мечтательность (Греч, 309) и т. п. Ср. также перевод Палацким слова *воображение* модифицированным юнгмановским неологизмом obrazotvornění, когда речь идет об изобразительных возможностях поэта: «Но чаще он [Жуковский] любит предаваться всей стремительности отважного своего воображения, которое ... избирает путь нередко странный» (Греч, 311) — Ale častěji líbí se mu vzdáti se vší klopotnosti odvažného svého obrazotvornění... (Pal. Greč).

Как синоним obrazotvornosti употребляется сочетание obrazotvorná moc в переводах с русского: geniální stvůra neobyčejného vtipu a původní obrazotvorné moci (Pal. Greč) — гениальное произведение необыкновенного ума и оригинального воображения (Греч, 215).

Таким образом, русское словоупотребление активизировало существительное obraz в литературном чешском языке как в смысле обогащения его семантической структуры, так и в плане словообразовательном — как производящую основу для существительных obraznost, obrazotvornost (obrazotvoření) и некоторых других (obrazlivost — JS II, 795; obrazivost — ČČM, 1846,388).

Обращает на себя внимание факт, что в изучаемый период не получило развития прилагательное obrazný. В нашем материале отсутствуют примеры его употребления, а соответствующая статья в Словаре Юнгмана очень скудна: там отмечено значение ‘относящийся к картине’ (obrazný rám) и

производное ‘фигуральный, переносный’ со ссылкой на русский язык (obrazný smysl slov). Это и дает нам основание считать существительное obraznost производным от obraz (с суффиксом –nost).

Bodrost, bodrý. Первые в чешском языке употребления этих форм воспринимались как воскрешение давно забытых чешских слов. Форма bodr была «обнаружена» В. Ганкой в числе других глосс памятника XIII в. Mater verborum, а существительное bodrost содержалось в опубликованной В. Ганкой Краледворской рукописи (Rozstúpi — RK, 88). В действительности речь идет о заимствовании из русского языка: праслав. *bъdrъ должно было бы дать на чешской почве форму bedrý. Понятие «живой, полный физических и духовных сил», обозначаемое русским словом *бодрый*, не имело адекватного однословного выражения в чешском языке. Об этом свидетельствует, в частности, объяснение прилагательного bedrý через немецкое munter в притекстовом словарике журнала «Krok» (1823, 158), а также поиски Й. Юнгманом наиболее близкого соответствия слову *бодрость* в русском переводе-посреднике «Потерянного рая» (бодрость не коснит возвратитися (В. П., 9) — brzy se i *živost* vrátí (JR, 10); воспримут новую бодрость и оживут (В. П., 12) — *odvahy* nové pocítí, hned oživou (JR, 16) и т. п.).

С двадцатых годов XIX в. прилагательное bodrý в значении ‘живой, полный физических и духовных сил’, а также существительное bodrost становятся излюбленными поэтизмами, — несомненно, под влиянием ганковских поддельных рукописей. Они широко представлены в произведениях Ф. Л. Челаковского, В. Камарита, В. А. Свободы, К. Винаржицкого и других будителей. В сочинениях Й. Юнгмана эти слова не встречаются; сдержанное отношение чувствуется к ним и в Словаре Й. Юнгмана, где представлена лишь форма существительного (с толкованием ochotnost, čilost и переводом Munterkeit, заимствованным из словаря Добровского), иллюстрированная всего двумя примерами — из Краледворской рукописи и стихотворения Й. Камарита.

Со временем произошел некоторый сдвиг в значении слова bodrý. В условиях чешско-немецкого билингвизма, распространенного в чешском обществе в продолжение всего XIX в., это прилагательное подверглось своеобразной семантической контаминации со сходно звучащим немецким прилагательным bieder ‘простодушный’ **[**208, *59***]**. В результате значения русского слова *бодрый* и чешского bodrý перестали взаимно покрываться: значение, с которым слово bodrý было заимствовано из русского, стало в современном чешском языке архаичным, основным же оказалось ‘простодушный, добросердечный, открытый’ (PSJČ I, 159). Характерно, что в четырехтомном академическом словаре чешского литературного языка ставшее архаичным значение уже не представлено (SSJČ I, 144). На расхождение значений слова в русском и чешском языках было обращено внимание при составлении Большого русско-чешского словаря (VRČS): для перевода слова *бодрый* вовсе не используется чешское bodrý, а приводится

целый ряд других синонимов: plný, sily, čilý, radostný, optimistický, plný života **[**166, *360***]**.

Něžný. Введение этого слова в литературный чешский язык связано с именем В. Ганки, который начиная с 1817 г. неоднократно употребляет его в переводах и переделках русских песен [160, 4]. «Авторство» заимствования хорошо осознавалось уже современниками, о чем свидетельствует, в частности, пародия на стихотворение В. Ганки «На себя», где обыгрывается его пристрастие к этому слову: čí by hlas tak něžnoněžně zněl...; přeněžně jako Amor vzkvet...; O náš osud nás něžně miloval... [138, 355].

То, что заимствование принадлежит В. Ганке, не вызывает сомнения и у исследователей. См. высказывание Й. Йиречека: «Особенно полюбилось Ганке русское слово něžný, до сих пор неслыханное в чешской литературе, ни древней, ни средней. Правда, в Mater verborum имеется глосса něha, но это не что иное, как подделка, в которой проявилось увлечение Ганки этим словом» **[**138, *358***]**.

В притекстовых словариках к своим произведениям В. Ганка объясняет слово něžný посредством немецкого эквивалента zart, zärtlich (Han. Písně, 126). Очевидно, что заимствование слова něžný было вызвано потребностью в расширении скудного набора слов, связанных с обозначением различных оттенков проявления чувств. Для слова něžný в Словаре Й. Юнгмана приведены лишь два синонима: outlý и měkký (JS II, 723), которые не содержали таких семантических признаков как ‘ласковый’, ‘выражающий любовь, привязанность’ и под. Прилагательное něžný, как и его производные něžně, něžnost, стало одним из самых распространенных поэтизмов чешского языка XIX в. Уже в произведениях В. Ганки (Han. Písně) оно представлено в нескольких значениях, свойственных этому слову в исходном, русском языке: 1. ‘Ласковый, проявляющий любовь, привязанность к кому-н.’ (Ach slavíčku něžný || komu libě pěješ? — 48); оттенок этого значения: ‘полный любви, нежности (о сердце, чувствах)’ (Proč různit srdce věrná? || proč něžná srdce mřít? — 49; Něžné srdce vadne! — 44); 2. ‘Приятный для глаз, слуха’ (A tu s tváří zardělou || dal mně růži něžnou — 28); в форме наречия (Pěje něžně slavíček || v zeleněnkém houští— 65); 3. ‘Хрупкий, слабый’ (Strašně bujný víter věje, || strašně černé mraky honí; || něžná lilie se chvěje, něžná lilie se kloní... — 89).

С течением времени слова něžný, něžně, něžnost прочно вошли в словарный состав чешского литературного языка и утратили былую возвышенную поэтическую окраску.

На развитие семантики слова něžný на чешской почве оказало влияние, в частности, его взаимодействие с прилагательным jemný. В юнгмановскую пору слово jemný еще почти не выступало в качестве синонима něžný, так как его основные значения были довольно тесно связаны с внутренней формой слова (jemný — однокорневое слово с формами vzíti, jímati). В этом смысле очень показательна словарная статья на слово jemný

в Словаре Й. Юнгмана, имеющая такую схему: Jemný, adj. Относящийся к взиманию... Хорошо захватывающий, острый (о якоре, пиле)... перен. Который легко схватывает, понимает, способный (člověk k dobrému jemný a zpusobný)... Способный тронуть, взять за сердце... Который легко принимается, растет..., и лишь на последнем месте указано переносное значение ‘приятный’ (jemný hlas, jemné oči, jemné stáří, jemné chování) (JS I, 600). Сопоставление данной словарной статьи с соответствующей статьей четырехтомного словаря современного чешского литературного языка (SSJČ I, 782—783) показывает глубокие изменения в семантической структуре слова за сто с лишним лет. Основным значением стало то, которое в Словаре Й. Юнгмана вовсе отсутствовало: ‘мягкий, не жесткий, не грубый (на ощупь)’; остальные значения также существенно видоизменились, причем некоторые из них приобрели семантические признаки, общие с прилагательным něžný. Последнее, в свою очередь, несколько сузило сферу своего употребления; в конечном итоге русское *нежный* и чешское něžný стали различаться в оттенках значения и в сочетаемости. Различия в сочетаемости хорошо показаны в VRČS: нежный... *(чувства. голос, женщина)* — něžný; ... *(вкус, цвет, звук, растение, кожа, ткань)* — jemný (II, 409). Такая сочетаемость начала складываться уже в эпоху национального возрождения, что можно проследить, в частности, на выборе чешского соответствия для русского *нежный* в переводе повести «Ратмир и Всемила», принадлежащем Ф. Л. Челаковскому: «Ne jedna matka něžná mluvila k své dceři» (R. a V., 7) — «Не одна нежная мать говорила своей дочери» (Р. и В., 62); «Poslouchal něžný hlas její» (R. a V., 78) — «Вслушивался в нежный ее голос» (Р. и В., 64); ср., однако: «Bílé Všemiliny ruce mu [koni] nebudou podávati pšenici» (R. a V., 72) — «Нежные руки Всемилы не будут уже подносить ему пшеницу» (Р. и В., 56).

Řešiti, rozřešiti, řešitelný. В. Ганка употребил глагол rozřešiti в Зеленогорской рукописи в качестве поэтического синонима rozhodnouti «Poče kněžna s otna zlata stola: ||Moji kmetie, leši i vládyky, se bratroma rozrešite pravdu» (RZ, 6) — перевод на современный чешский язык: rozhodněte rozepři (там же, 7); «Moji kmetie, leši i vládyky, rozrešite moje výpovědi (RZ, 8) — rozhodněte o těchto mých dvou výpověděch (там же, 9). Й. Юнгман раскрыл значение этого глагола, комментируя «древнечешский» текст: «*Řešiti* (rěšiti) jest něm. auflösen, entscheiden» (Krok, 1821, 61). Характерно, что Й. Юнгман пояснил слово посредством немецкого перевода, а не синонимом rozhodovati, обратив таким образом внимание на отсутствие смыслового тождества между глаголами rozhodnouti, rozhodovati и rozřešiti, řešiti, которые в первые десятилетия XIX в. вошли в чешский язык из русского. В отличие от исконно чешских форм, основным значением которых было ‘отдать (отдавать) предпочтение тому или другому, выбирая между чем-н.’, глагол řešiti имел значение ‘обдумав, прийти к какому-н. выводу, объяснению, выходу’.

Таким образом, в данном случае словоупотребление В. Ганки в поддельных рукописях не было определяющим: слово вошло не как поэтический синоним, тождественный чешскому слову, а как обозначение нового смыслового оттенка. В. Махек указывает, что слово řešiti было заимствовано из русского языка В. Седлачеком [208, *530*]. Это утверждение справедливо потому, что слово закрепилось в чешском языке именно в том основном значении, в котором Седлачек употребил его в 1822 г. в своей Геометрии (Základové měřictví čili geometrie).

Русский язык стал опорой для образования и таких слов, пополнивших отвлеченную чешскую лексику, как bezutěšný, blahověstiti, dálnovidný, drahocenný, jevení, přístrastí, přítvornost, rovnoduší, rozpoložení, rozrušitelný, rukovoditi, řevnivý, slabodušný, souhlasí, svršenstvo, úspěch.

§ 3. Терминологическая лексика, созданная под воздействием русского языка.

Если до сих пор об отвлеченной лексике говорилось в связи с ее применением в языке поэзии и художественной прозы, где номинативная функция слов сочеталась с функцией художественно-экспрессивной, то в настоящем разделе будет рассмотрено терминологическое применение отвлеченной лексики.

В современных исследованиях заметно стремление разграничить собственно термины, бытующие в узкоспециальной литературе, и лексику терминологического характера, которая, однако, получает распространение и в общелитературном языке.[66] Оказывается, провести такое разграничение зачастую весьма трудно, несмотря на то, что в современных европейских языках сложились достаточно строгие терминологические системы для каждой области знания и производства. Существует множество промежуточных, переходных явлений, характерных, с одной стороны, для процесса становления терминов, а с другой — для процессов детерминологизации, также постоянно происходящих в языке [23, *11 и сл.*].

Гораздо более зыбкие границы между собственно терминологической и общелитературной отвлеченной лексикой существовали в период формирования национальных литературных языков, в частности чешского. Это связано прежде всего с тем, что до середины XIX в. сами науки еще не получили такой дифференциации и специализации, которая характерна для последующих периодов [34, *75—90*]. Идеалом образованности считался энциклопедизм знаний и интересов, отсюда и «просветительская установ-

[66] Так, например, А. В. Калинин различает «узкоспециальные» и «общепонятные» термины [33, *138, 165*]; А. Д. Хаютин — «терминологию» и «терминологическую лексику» [92, *105—110*] И. Р. Гальперин — «специальную» и «терминологическую» лексику [22, *69*]; В. П. Даниленко — «терминологическую» и «общенаучную» лексику [24, *18 и сл.*].

ка», которую отмечает, например, В. В. Веселитский для русских авторов XVIII — начала XIX в.; в соответствии с нею, читателю «сообщались многочисленные сведения из разных областей, разъяснялись термины и понятия и т. д.» [17, *9*].[67]

Просветительские цели были еще более насущными для чешских деятелей национального возрождения, остро осознававших необходимость вооружить своих соотечественников знаниями которые помогли бы им в конкурентной борьбе с командной немецкой нацией. Так, в 1806 г. Й. Юнгман отметил с горечью; «Чех имеет очень мало возможностей узнать об усовершенствовании хозяйства, о природе, науке и других вещах, необходимых для просвещенного народа, в то время как немец извлекает пользу не только из многих ученых сочинений, но и в изобилии снабжен пособиями и руководствами во всех областях знаний. А после этого клевещут на чехов, что они не так способны к деятельности в различных мануфактурах и фабриках, как немцы» [104, *44—49*].

Для чешских будителей характерно совмещение литературных и научных занятий: так, поэт и переводчик А. Марек создавал компилятивные труды в области философии и логики, историк Ф. Палацкий начинал и как поэт, и как создатель чешской терминологии по эстетике; историк и филолог П. Й. Шафарик в 20-е годы совмещал литературные опыты с замыслами о создании синтетического труда по философии естествознания; знаменитый впоследствии физиолог Я. Е. Пуркине опубликовал несколько стихотворений и переводов. Этот ряд можно было бы продолжить. Смысл усилий деятелей чешского национального возрождения четко выражен в одном из высказываний Й. Юнгмана: «Знаменитому Мицкевичу принадлежат слова о том, что чехи — народ языковедов. Если бы это было так. Но истинно то, что в сегодняшнем своем положении чех не может правильно писать, если не будет усердно изучать свой язык. Три этапа должна пройти наша литература: познание языка, знакомство с предметом и образованность духа (známost věci a cvičenost ducha), оригинальность произведения. Первому могут помочь старые образцы, второму — чтение и перевод лучших чужих сочинений, для третьего этапа нужны время и светлые умы, которые родятся со временем» (J. Slov. 11, 29).

Таким образом, и по общности задачи, и по составу авторов-речетворцев области терминотворчества и создания общелитературной лексики тесно смыкаются. Эти внеязыковые факторы отразились и на характере терминологической лексики начала XIX в.

В названный период еще не выступают на передний план такие важные признаки терминотворчества, как стремление к однозначности и стабильности наименований. Задача как бы распадалась на два этапа: в первую

---

[67] Эту же особенность подчеркивает для более раннего периода развития русского литературного языка Л. Л. Кутина [42, *5*].

очередь было необходимо создать как можно более полный инвентарь терминов для разных областей науки; задача же упорядоченности терминологии откладывалась на неопределенное будущее.

Приведем некоторые высказывания будителей, проливающие свет на характер терминологической деятельности в начале XIX в. Я. Е. Пуркине рассказывает в своих воспоминаниях об одном из кружков будителей (куда входили кроме него братья Ян Сватоплук и Карел Борживой Преслы, братья Йозеф и Антонин Юнгманы, Войтех А. Свобода и другие), в котором в 20-е годы XIX в. живо обсуждались вопросы терминологии: «Это был первый подлинно чешский кружок (pravé počateční besedy české); говорили не иначе, чем по-чешски, хотя бы речь шла и о сложнейших научных вопросах; при этом то и дело появлялась необходимость создавать недостающие названия, что и делалось — иногда удачно, а иногда довольно неуверенно. Эти наши усилия направлял Йозеф Юнгман, который, заглядывая в свои богатые словарные выписки, часто находил нужное слово, уже употреблявшееся нашими предками» (Purk. Básně, 272).

Важно признание Й. Юнгмана: «Думаю, что мы не можем договориться о технических словах до тех пор, пока не будет готов словарь, потому что мы не знаем, что у нас есть, а чего недостает. Поэтому давайте сейчас плести их, как умеем, а впоследствии все выровняется» (ČČM, 1882, 175).[68]

Характерная вообще для начальных периодов складывания научной терминологии и отвлеченной лексики «синонимичность» **[**32, *104***]**, «тождесловие» **[**82, *543***]**, «лексическая вариантность», «полиномия», **[**17, *12*, *16***]**, т. е. существование нескольких наименований для одного и того же понятия, объяснялось применительно к чешскому литературному языку периода национального возрождения, как нам кажется, не только объективными причинами. Имела значение и теоретическая установка деятелей возрождения, согласно которой терминологическая лексика, подобно словарю поэзии и художественной прозы, должна характеризоваться богатством и разнообразием. Чем больше названий будет введено в научный оборот, тем больше возможностей выбора окажется у авторов, которые в конце концов определят наиболее удачный вариант. Этот подход можно продемонстрировать на терминотворческой практике самого Й. Юнгмана, как она представлена в конце 30-х годов в его переводе статьи из «Библиотеки для чтения» (т. XXIII, СПб.,1837, с. 21—57) «Теория образования воздушных камней и морских приливов» (J. J. O povstání povětrných kamenů a přítoku mořského. Od. p. Maceroniho anglického plukovníka. Z Bibliot. Tom XXIII. ČČM, 1838, s. 177—196). Сопоставление русского текста и юнгма-

[68] Ср. также другое рассуждение Юнгмана по поводу терминологии: которые требуют, чтобы мы договорились о терминах... но я ненавижу самодержавие в литературе и охотно принимаю чуждые мне и противоположные мнения; время само решит и оставит нужное. Впрочем, я не отрицаю, что изначальное согласие в терминах было бы полезнее» (ČČM, 1882 188). См. об этом у А. Едлички [137, *27 и сл.*].

новского перевода убеждает в том, что Й. Юнгман сознательно прибегал к образованию нескольких терминов, соответствующих одному и тому же понятию, создавая своеобразные синонимические или, вернее, вариантные пары и даже ряды.

Например, понятию, названному в русском тексте «тяготение или взаимное притяжение тел», соответствует у Й. Юнгмана следующий ряд терминов и терминологических сочетаний: tíhota, vzájemné přitahování těl, tažení, přitažení tíže. Ср. употребление терминов в русском и чешском текстах:

Тяготение или *взаимное притяжение* тел может действовать в обратном содержании квадратов расстояния (21)	*Tíhota* čili *vzájemné přitahování* těl může účinno býti v převracené poměře kvadratů v rozlehlosti (178)
в одинаковом удалении от центров *тяготения* (23)	v jedinakém oddalení ode středu *tažení* (178)
капиллярное, или волосяное, *притяжение* (30)	kapillární neb vlasené *přitažení* (186)
против теории всеобщего *тяготения* (40)	proti zásadě o všeobecném *přitahování* čili *tíži* (194)

К этому ряду необходимо прибавить еще и другие варианты, ранее отраженные в Словаре Юнгмана и созданные, вероятно, при его участии (примеры из трудов сподвижников Юнгмана — А. Марека, В. Седлачека, Ф. Паладкого и А. Пресла): přitáhavost, přitažlivost (JS III, 630—631).

Среди этих слов, образованных от одного корня, есть и вновь созданные (přitáhavost, přitažlivost), и старые многозначные широкоупотребительные слова, которым здесь сообщено терминологическое значение (tíhota, tíže ‘тяжесть, тягость’), и отглагольные субстантивные образования (tažení, přitažení, přitahování), наиболее близкие русским соответствиям *(тяготение, притяжение).* Кажется, что в стремлении ввести в оборот как можно больше терминологических вариантов были максимально использованы словообразовательные возможности избранной основы. Испытание временем выдержал один из предложенных Юнгманом и его учениками терминов — přitažlivost, а также отглагольное существительное přitahování, обозначающее не понятие притяжения как свойства физических тел, а его действие, проявление: Přitažlivost zemská — síla jevící se přitahováním hmot k zemi volným pádem a vahou (PSJČ IV, 2, 464). Применения слов tíha и přitáhavost в значении физических терминов *тяготение, притяжение* отмечены указанным словарем как устаревшие.

Приведем еще некоторые примеры полиномии в юнгмановском переводе названной научной статьи:

Русский текст	Перевод Юнгмана
явление (22, 28, 30)	úkaz (178), jevení (183, 185)
масса (вещества) (23, 24, 25, 37, 46)	spousta tělesná (178), spousta (180, 182), spousta (hmota) (191), spousta (masse) (195)
образование (звезд, планет земного шара) (24, 25, 29, 36)	obrazování čili tvoření (179), obrazování (formování) (180), dělání (184), utvoření (190), tvoření (191)
вещество (24, 25, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39 и др.)	jestota (180, 185, 187), bytnost (187, 191, 193), jestota (bytnost) (180, 188), jestota čili bytnost (185), jestota čili hmota (181), hmot (186) hmota (191), věc (180), jestota a věc (180)
действие (в значении ‘влияние, воздействие’) (29, 32, 33, 35, 38, 41, и др.)	činění (185), konání (188), dění (187), působení (195), činnost (182), oučinek (184).

С точки зрения воздействия русского языка должны быть отмечены слова jevení, obrazování и dění. Первые два являются прямыми заимствованиями; что касается dění, то это слово отмечено в древнечешских памятниках только в значении ‘деяние; совершение действия’ (JS I, 355). Таким образом, в употреблении Й. Юнгмана устаревшее слово dění приобрело новое, терминологическое значение, подобно тому, как это имело место в русском слове *действие.*

Примечательно, что рассматриваемый перевод Й. Юнгмана вообще изобилует лексическими и семантическими неологизмами, особенно в области отвлеченной лексики. Большинство неологизмов создано по образцу русских слов, например, nápor (напор), nazvání (название), obvlečka (оболочка), ohnědyšící (огнедышащий), nevysoko létavý (невысокопарный), předvěří pravdy (преддверие истины), úporně (упорно), uveličiti (увеличить), vzbuzovatel (возбудитель), vzhled (взгляд) и мн. др. Напрашивается четкая параллель между данным текстом и поэтическими переводами Й. Юнгмана с русского языка — они имеют функциональную общность, представляя собой своеобразный «опытный участок», где производится проба новых лексических средств на пригодность.

Однако в рассматриваемый период в области терминотворчества намечалась и крепла и тенденция к созданию строгих терминологических систем, к закреплению за отдельными вариантами терминов дифференцированных значений — к общему упорядочению терминологического употребления. Эта тенденция яснее всего прослеживается в творчестве братьев-естествоиспытателей Яна Сватоплука и Карла Борживоя Преслов, создавших чешскую ботаническую, зоологическую и отчасти химическую терминологию, в сочинениях Ф. Палацкого «Опыт чешской терминологии философии и особенно эстетики», Й. В. Седлачека и некоторых других. Несмотря на то, что эта терминология очень полно представлена в Словаре

Й. Юнгмана (в этом снова сказывается подход к ней как к части общелитературного словарного достояния), она может быть четко вычленена на основании характерных для терминов признаков. Как уже указывалось, терминология, созданная Преслами, проанализирована в работах Т. Орлось [169] и частично В. Колари [147].[69] В нашем исследовании она привлекается лишь спорадически, в целях сопоставления с общелитературной лексикой. В то же время нами учитывается отмеченная русским влиянием терминологическая лексика таких областей знания, как теория литературы, философия, эстетика, история, поскольку здесь особенно очевидна размытость границ между терминологической и общелитературной лексикой.

Так, уже в первые десятилетия XIX в. свободно функционируют в общелитературном языке такие русизмы, которые были первоначально использованы в качестве терминов: částice, jevení, objem, povrchnost, přípěv, slovesnost, sopka, souhlasí, vkus, vodomet, zádumčivost, žertva.

Рассмотрим более подробно особенности функционирования некоторых слов этого круга лексики.

Zádumčivost, zádumčivý. К этим словам обратился А. Марек в своем труде «Логика» (1820 г.) в поисках славянского выражения для понятий «меланхолия», «меланхолический». Ср. его определение: «Zádumčivost (Schwärmerei) neboli stav mysli, kdež samé temné představy v duši panují» (Состояние мысли, при котором в душе царят самые черные представления) (Mar. Log. 184). Определение А. Марека без изменений использовано в Словаре Юнгмана (JS V, 450). Источником заимствования, вероятно, послужил А. Мареку словарь польского языка Й. Линде, где в значении melancholia выступает существительное zaduma, в статье на которое приведены и русские ближайшие формальные соответствия *задумчивость* и *задумчивый* (SL VI, 743).[70] Таким образом, при создании этого термина имела место опора на два родственных языка: использована русская лексема, которой сообщено терминологическое значение однокорневого польского слова.[71]

Уже в первые десятилетия XIX в. слова zádumčivost, zádumčivý вышли за пределы терминологии и стали употребляться в качестве поэтизмов. Переводы из русского языка поддерживали такое употребление. См., напри-

---

[69] В данных исследованиях подчеркивается и славянское влияние в этих терминологических областях, на которое указывает сам Ян Сватоплук Пресл в предисловии к одному из своих трудов: «Где не хватало средств нашего чешского языка, я обращался к польскому, русскому и другим славянским наречиям» (Krok, 1821, 67).

[70] Примечательно, что в своем Словаре Й. Юнгман приводит и полонизм záduma как синоним (вариант) формы zádumčivost, представив его даже в виде отдельной словарной статьи (JS V, 450). Это одно из множества свидетельств стремления Юнгмана к полиномии терминов на общеславянской основе.

[71] Правда, в Словаре указано только на русское происхождение слова (помета rus.). Остальные слова с корнем -dum- восприняты чешским языком в период национального возрождения из польского [208, *134*].

мер, в переводе из Карамзина: Lehký oblak zádumčivosti zastíníl stolujících (легкое облако задумчивости) (Novor. 1824, 200). Характерно, однако, что наиболее зрелые переводчики, хорошо знакомые с русским языком, четко осознавали смысловое различие между русскими словами *задумчивый* ‘погруженный в раздумье, в размышления’, *задумчивость* и чешскими zádumčivý, zádumčivost, на семантику которых наложило след терминологическое употребление. Так, Ф. Л. Челаковский в переводе русской повести А. Дуропа «Ратмир и Всемила» счел возможным перевести словом zádumčivost русское *исступление:* «Ужасное исступление приметно было во всех движениях бедной Всемилы» (Р. и В., 212) — «Přehrozná zádumčivost byla k pozorování v každém hnutí ubohé Všemily» (R. a V., 9 1) . Значение ‘склонный к болезненной меланхолии’ выступает в прилагательном zádumčivý в другом переводе Ф. Л. Челаковского, где этому слову соответствует русское *мечтатель* в значении ‘тот, кто поддается игре расстроенного воображения’. Ср. «...скажи ему [незнакомцу, написавшему мистическую повесть], что он мечтатель, что все это нервы...» (Б. чт., 1834, 190) — «Řekni mu, aby se snům takovým nepoddával, a nebyl příliš zádumčivý. Zadumčivý! Budešliž si pamatovati to slovo?» (Č. Vč. 1834, 387). Привлекает внимание прием Челаковского-переводчика: в тексте, обращенном к слуге, простому человеку, zádumčivý подано, как слово ему незнакомое, требующее заучивания.

Дальнейшее семантическое развитие слова zádumčivý в чешском языке интересно с точки зрения сопоставления значений слова в дающей и принимающей лексических системах.

Чешское zádumčivý развило отсутствующий в русском языке смысловой оттенок ‘мрачный, подавленный (о мыслях)’. Например: Byl sklíčen, přepadaly ho zádumčivé myšlenky (PSJČ VII, 830) — Он был подавлен, его обуревали мрачные мысли.

В сочетаниях с обозначениями природных явлений, элементов пейзажа русское и чешское прилагательные как бы сближаются. Ср. сходные контексты: «Люблю... || Твоих задумчивых ночей || Прозрачный сумрак, блеск безлунный...» (А. Пушкин) — Byl smutný, zádumčivý večer (V. Mrštík). Однако академические толковые словари русского и чешского языков, откуда взяты эти примеры, толкуют значение рассматриваемых прилагательных по-разному: «**Задумчивый**... || *перен.* Тихий, покойный» (БАС, IV, 431) — «**Zádumčivý** ... Производящий грустное, удручающее впечатление» (PSJČ VII, 830).

Vid. Документы эпохи донесли до нас свидетельства того, как складывалось терминологическое значение этого слова в чешском языке. В письме Й. Юнгмана А. Мареку от 1817 г. мы читаем: «Сейчас я работаю над небольшой теоретической частью хрестоматии, взяв за основу труд Pölitz’a. И здесь так и этак перекручиваю слова. Idea хочу назвать вслед за русскими = vid» (ČČM, 1822, 177). Марек с готовностью принял предло-

жение своего учителя и включил новое слово в свою терминологическую систему: «Представления, к которым обращается разум, мы называем vidy (idea)» (Mar. Fil., 226). Первые употребления термина обычно сопровождались пояснениями в тексте: «Um... prvorodná v člověku vláda rozpoznávání věcí, čili matice vid (idej)» (J. Slov. I, V); «Zanícená obraznost umělce musila ... zodrážeti hranatosti mramoru... aby v něm krásne vidy (idey) své... hodně umístila» (Krok, 1821, 29).[72]

Новый термин был принят и Ф. Палацким, который склонялся, правда, к форме женского рода (vida). Палацкий предложил и несколько производных от этой формы: «Vida (?) idea; vidinně, v idei; odtud vidinnost, rozdílné od idealnosti» (ČČM, 1827, 111). Ср. также юнгмановское образование того же ряда: «Popisovací báseň zvidiňuje (idealisuje) předměty, kteréž obrazotvornou moc člověka obzvláště zabývají» (Krok, 1821, 150). Некоторое распространение получила и производная форма vidka в значении ‘идея’: vzdělání původních prvé dotčených videk (idej) (ČČM, 1827, 23).

Рассматривая термин vid, следует указать на своеобразие его соотнесенности с русским языком, о которой свидетельствует один из создателей термина («idea хочу назвать вслед за русскими = vid»). Очевидно, что речь идет не о заимствовании слова в совокупности его формы и значения, а лишь о восприятии формы, которой сознательно сообщается нужное значение. Слово vid встречается и в переводах с русского, как соответствие лексеме *идея:* великие идеи его [Платона] о Божестве и Натуре... (Аф. ж., 33) — vznešené vidy jeho o Božství a Přírodě (Novor., 1824, 183). (Здесь, может быть, форма ж. рода — vida.)

По существу, чешские будители калькируют лат. idea, греч. ἰδέα ‘видеть’ **[**200, *II, 117***]**, используя родственную русскую форму,[73] которая уже в момент восприятия не ощущается как чужеродная благодаря тому, что чешский глагол viděti, как и русский *видеть,* относится к основному словарному фонду, имеет множество производных, среди которых быстро «растворились» и бессуффиксальные формы vid, vida.

Одновременно с терминологическим употреблением, или даже предвосхищая его, появляются и другие применения формы vid, также, по всей вероятности, связанные с русским языком. Первое из них отмечено в поддельной Краледворской рукописи: na straň ot sud skryto před Čsmírovým videm (JS V, 94). Слово vid имеет здесь значение, определяемое В. Далем как «крайний предел зрения, по расстоянию» **[**197, *I, 203***]** к проявляющееся в таких русских сочетаниях, как *быть на виду у кого-н., потерять из виду* и т. п.

---

[72] Здесь выступает форма женского рода: vida.

[73] Факт калькирования подтверждается в Словаре Й. Юнгмана в статьей на слово vida: «2. vida, dem. vidka ... dle lat. idea...» (JS V, 94).

В первые десятилетия XIX в. получает распространение и значение слова vid ‘внешность, видимый облик чего-н.’, причем первые употребления отмечены у авторов, испытавших на себе сильное воздействие русского языка (А. Марек, Ф. Л. Челаковский): Na vysokém břehu jsou vystaveny kostely, kteréz v celosti podávají nádherný vid; Neukázalo se tedy lidem v tom vidu ono město (JS V, 94). В действительности здесь не имела места естественная филиация значений, так как каждое из них было для чешского языка фактом заимствования, включая сюда, вероятно, и фразеологически связанное значение, которое проявляется в выражениях ni vidu ni slychu (OPR, 71). Указанное терминологическое значение слова vid не вышло за пределы эпохи чешского национального возрождения. Словари современного чешского литературного языка отмечают лишь форму vida в значении ‘представление, идея’, причем как редкую и устаревшую. В то же время другие значения слова vid не только закрепились, но и получили дальнейшее развитие (SSJČ IV, 81). В середине XIX в. из русского языка было заимствовано и другое терминологическое — грамматическое — значение (slovesný vid — вид глагола).[74]

Průmysl. Как и в предыдущем случае, мы наблюдаем здесь большую материальную близость заимствованного из родственного языка слова с исконными чешскими образованиями. В чешском издавна известны существительные от основы -mysl с различными приставками и нулевым суффиксом: domysl, obmysl, rozmysl, smysl, úmysl, výmysl, zámysl. К этой же словообразовательной модели принадлежит и широко распространенное древнее личное собственное имя Přemysl. С другой стороны, имеется немало существительных, образованных от иных глагольных основ с помощью приставки pro- (prů-): proboj (průboj), projem (průjem), prochod (průchod), průkop, prolom (průlom), průtok, průvod. Таким образом, в чешском языке существовала потенциальная возможность появления и существительного promysl (průmysl), которая, однако, не была реализована.

Введение слова průmysl (первоначальная форма promysl) в чешский словарный состав в XIX в. было связано с необходимостью обозначить новую, индустриальную форму производства материальных благ — промышленность. Термин латинского происхождения industrie, который в этот период проник в чешский язык, не отвечал пуристическим настроениям будителей, стремившихся максимально славянизировать литературный язык.

Следует подчеркнуть элемент сознательности в истории восприятия и дальнейшего усвоения русизма promysl: слову было сообщено не то значе-

[74] Заимствование осуществлено Ф. Л. Челаковским в лекциях по сравнительной грамматике славянских языков: Čelakovský F. L. Čtení o srovnávací mluvnici slovanské. Praha, 1853, s. 248. — См. об этом у Ф Травничека [179, *688*].

ние, которое к тому времени оно получило в исходном языке,[75] а то, которое было обусловлено потребностями языка-усвоителя. По своему смысловому содержанию слово promysl отвечало русскому существительному *промышленность,* которое, как известно, было введено в 1791 г. Карамзиным в качестве соответствия латинскому термину industrie и в начале XIX в. уже широко распространилось в русском литературном языке.[76] Слово *промышленность* было, несомненно, известно и чешским будителям. Одно из свидетельств этого — сохранившиеся выписки Ф. Палацкого из «Опыта краткой истории русской литературы» Н. Н. Греча (1822 г.), сделанные им в конце 20-х годов, где дважды встречается это слово в чешской транслитерации: «Zbudila se národní „promyšlenost“»; «vniterná promyšlenost, dílny, řemesla vznikly v každém ujezdě» (Pal. Greč). — «Возбудилась народная промышленность» (Греч, 91); «Внутренняя промышленность, фабрики, ремесла возникли в каждом уезде» (Греч, 237). Между тем в чешский язык была введена не данная форма, а та, которая соответствует русскому *промысел.* Решающим моментом, определившим заимствование слова, явилась, по-видимому, возможность его осмысления на основе значений обеих морфем, известных чешскому языку в других сочетаниях, а также возможность использования формы promysl (průmysl) в качестве удобной словопроизводящей основы. Об этом красноречиво свидетельствуют, в частности, рассуждения автора статьи «Promysl neb průmysl» В. Г. (Вацлава Ганки?), помещенной в одном просветительском журнале 1833 г.: «В наше время, когда почти все европейские народы называют словом industrie подъем всяческих ремесел, торговли, искусств... возникает насущная потребность найти для этого и хорошее чешское название... Были предложены многие слова, образованные от различных чешских корней, но самым удачным и лучше всего выражающим смысл представляется promysl или průmysl. Ибо, если мы хотим в ремесле, торговле, искусствах и т. д. сделать что-нибудь лучше, легче и солиднее, чем это делалось до сих пор на основе простых навыков, то необходимо это прежде всего со всех сторон разумно продумать (promysliti)... Если нам такое со всех сторон продуманное (skrz naskrz promyšlené) дело удается, то, действительно, вряд ли можно найти для него более подходящее название, чем promysl или průmysl, от которого очень удобно образовать слова promyslný, promyslně, promyslnost или průmyslný, průmyslně, průmyslnost ... Ведь есть же у нас důmysl, obmysl, oumysl, pomysl, zámysl, rozmysl, почему же нам не иметь и promysl или průmysl, в котором мы так нуждаемся? Будем довольны, что этому слову еще не дано другого значения и оно осталось у нас как бы в запасе для нужного употребления» (Jindy a n., 103—104).

---

[75] Об истории значений слова *промысл* в русском языке см. в статье А. Н. Котовича [40].

[76] Об истории слова *промышленность* в русском языке см. у Ю. С. Сорокина [82, *335—341*].

В приведенных рассуждениях нет упоминания о русском языке как источнике слова, что и понятно: оно не рассматривалось как заимствованное; существование слова в родственном славянском языке представлялось как наличие его «в запасе для нужного употребления».

Введение в лексику литературного языка нового слова, призванного выступать в роли термина, естественно предполагает в период начального функционирования слова наличие каких-то объясняющих контекстов, которые указывают на его смысл. Для первых употреблений слова promysl (průmysl) можно отметить две группы таких пояснений. 1) Пояснение через слово industrie, приводится обычно в скобках. Например: Promysl (industrie) Poláků teprv nedávno se vzbudil (ČČM, 1830, 80); Pozornější skoumaní v oboru… promyslu (industria) zjednalo látku ke všelijakým naukám (ČČM, 1835, 180). 2) Вторая группа пояснений интересна с точки зрения взаимодействия родственных языков — обращается внимание на внутреннюю форму слова, актуализируется мотивированность наименования. Например: «Záměr té společnosti (Jednoty průmyslové v Čechách) jest vzbuzovati v naší vlasti průmysl (t. j. s přemejšlením spojené provozování řemesel a obchodu)» (ČČM, 1836, 91). Ср. также предисловие к статье «Прогресс промышленности» в научно-популярном журнале, редактируемом П. И. Шафариком: «Промышленностью (promyslem) мы называем такое систематическое развитие искусств, ремесел и торговли — вообще всего того, что относится к занятиям, дающим средства к жизни, при котором продуманно (oumyslně) стремятся ко все большему и большему совершенству. В этом смысле наш век существенно отличается от предыдущего тем, что если тогда ремесла, торговля и другие занятия основывались главным образом на навыках и обычаях, то теперь они стали предметом продуманного изучения (skoumavého důmyslu)» (Svět., 4).

Актуализация связи promysl — mysl, уже стертой в русском образце *промысел,* имеет в чешских текстах начала XIX в. и более широкое значение, чем быть только средством включения нового слова в лексическую систему родного языка. Нетрудно увидеть здесь стремление будителей привлечь внимание и интерес читателя к самому явлению, обозначенному ими словом promysl. Передовые деятели чешского национального возрождения хорошо сознавали значение развития родного языка для создания собственных национальных сил, способных выдержать конкурентную борьбу с господствующей немецкой буржуазией. См. характерное высказывание: «An mezi Čechy promysl jediným jazykem německým buditi se nedá!» (ČČM, 1834, 107) — Одним немецким языком нельзя поднять (букв. *пробудить)* промышленность у чехов! Отсюда и конкретные усилия будителей способствовать становлению национальной промышленности путем организации патриотического общества («Jednota ku povznesení promyslu v Čechách»), которое занималось распространением на родном языке научных и технических знаний, прежде недоступных тем, кто не владел

немецким языком. Само внедрение славянского термина promysl, которое сопровождалось раскрытием его внутреннего смысла, как его понимали будители, играло своеобразную пропагандную роль.

Рассматривая историю усвоения русским языком нового слова *промышленность,* Ю. С. Сорокин отмечает постепенный характер формирования его современного терминологического значения. «Для многих произведений русской печати 20—50-х. годов, — пишет он, — еще характерно обозначение этим словом: любой производительной деятельности и всех отраслей народного хозяйства. Оно равно прилагается и к сельскому хозяйству, и к ремеслу, и к формам развивающегося мануфактурного производства, и даже к торговле» [82, *337*]. Примечательно, что и чешское слово promysl (průmysl) в начальной стадии своего функционирования также отличается широтой и неопределенностью своей семантики и употребляется для выражения разных понятий, относящихся к производительной деятельности: вообще. См., например, употребление, в котором существительное promysl выражает общее понятие, включающее в себя торговлю, земледелие и мануфактурное производство: «Bezděky se naskytuje otázka: čili Anglicko nabylo nynější svou mohovitost obchodem, či orbou, anebo manufakturami? Nepochybně odpoví se nám, že vesměs všemi těmito třídami národního promyslu» (Č. vč., 1834, 3 1 1) . В следующем примере словом průmysl называются сельское хозяйство и торговля в совокупности: «Průmysl jejich, jak rolnický, tak kupecký, jest příkladný, an Rusy sama příroda k tomu stvořila» (Dennice, 1840, 169). См. также примеры, где průmysl — ремесло или другое занятие, дающее средства к жизни: «Průmysl na vlaské zlaté pomeranče, aneb na strakonické červené čepičky» (Květy, 1835, 165); «Stopy neposlední společenské vzdělanosti, promyslu čili řemesel a umění» (Šaf. Slov. starož., 434).

Вместе с тем к концу 30-х годов начинает доминировать употребление слова promysl (průmysl) в значении, близком к современному — ‘добывающая или обрабатывающая промышленность, индустрия’. Например: «K nejhlavnějším předmětům průmyslu rakouského náleží zboží vlněné, bavlněné a sklo» (Balbi, 441); «Dobývání této soli mohlo by se částkou promyslu českého státi» (Presl Lučba, 50).

Такое сходство употреблений чешского promysl и русского *промышленность* в первые десятилетия XIX в. может навести на мысль о продолжающемся влиянии русского словоупотребления.[77] Однако, имея в виду узкий характер чешско-русских языковых контактов в начале XIX в., скорее, нужно говорить о сходных тенденциях семантического развития, обусловленных в данном случае внеязыковой действительностью (становле-

[77] Как, например, для лексики, заимствованной русским языком в XVIII в., убедительно доказывается двустороннее корректирующее воздействие дающей и принимающей лексико-семантических систем в книге Е. Э. Биржаковой, Л. А. Войновой, Л. Л. Кутиной [10, *254 и сл.*].

ние терминологического значения слова отражает постепенность развития самого обозначаемого явления, а также его осмысления обществом).

Vkus. История внедрения этого слова в чешский язык особенно ярко подтверждает роль сознательного отбора при обращении будителей к русскому языку как источнику пополнения терминологической лексики.

Слово vkus впервые появилось на чешской почве в «Сравнении русского и чешского языков» Й. Добровского как соответствие чешским словам okušení, chuť, košt. В примечании к этому слову Добровский подробно рассматривает данные чешские синонимы (добавляя к этому еще okus и šmak) с точки зрения выражаемых ими значений и соответствия духу чешского языка. Формы košt и šmak он квалифицирует как терманизмы, у слова chuť отмечает двузначность (gustus, sapor); относительно формы окиз указывает, что она является новообразованием Я.А. Коменского; форме okušení Й. Добровский отдает предпочтение **[**114, *32***]**.

В 20-е годы к русскому слову *вкус* обращается Ф. Палацкий в поисках выражения понятия «чувство, понимание изящного». Приведем отрывок из его письма Й. Юнгману, написанного в пору углубленных занятий Палацкого эстетикой и философией: «Необходимо выработать чешскую терминологию, ибо латино-греческая чехам не пойдет на пользу. Во мне еще достаточно жив пуристический дух, чтобы не вносить в родную речь чужеязычные пятна.... Посоветовавшись с г-ном Шафариком, мы остановились на следующем определении синонимов: pěkný, pěknota = Schönheit... Lepý, lepost, lepota = das Niedliche. Sličnost = Eleganz... Kunšt я хочу всюду перекрестить на umělectví... Но вот — чехи никогда не имели вкуса (nikdy neměli gustu, Geschmack); поэтому и слова для него не имеют. Chuť, по-моему, не всегда можно употребить, так как оно ни у кого не вызывает эстетических представлений, давайте же возьмем на помощь русское vkus» (Pal. Kor., 33).

Известно, что употребление в русском языке слова *вкус* в указанном отвлеченном значении является результатом калькирования французского le goût и отмечено уже в первой половине XVIII в. **[**17, *148—150***]**. Подобный подход был не чужд и чешскому языку. Ср. употребление слова chuť в отвлеченном значении в юнгмановском переводе «Аталы» Шатобриана: «hájek ... rozdílný vedle chuti a srdce těch, kdož štípili jej» (JA, 37) (в русском переводе-посреднике: сообразно вкусу и сердцу — И. М., 133). В дальнейшем слово chuť в значении ‘чувство, понимание прекрасного’ получило некоторое распространение, но не позже начала 30-х годов. См. у Винаржицкого: chuť jemná (k veršům) (ČČM, 1830, 53); у В. Ганки: «Chuť a básnický jazyk našich Slovanských předků» (Igor, 82) и др. Ср. также неологизмы bezchutenství ‘безвкусие’ и krásochuť созданные на основе подобных употреблений слова chuť: jsou Slované vstěkující za oděvy hlav svých bohužel bezchutenstvím vyznamenané (Krok, 1822, 157).

Для начала XIX в. может быть отмечен вариантно-синонимический ряд: chuť — vkus — okus — krásochuť — krásocit.

Приведем контексты, из которых ясно синонимическое употребление этих слов: Promění li se opět nekdy vkus a chuť nyněšího pokolení (ČČM, 1835, 90); Komičnost vysoká ... něžných pravidel vkusu (krásocitu) ... šetří (J. Slov. I, s. XX); Vkus aneb okus — gustus (там же). Ср. также использование Ф. Палацким слов vkus, krásochuť для передачи русского *вкус:* lepší vkus v architektuře (Pal. Greč) — лучший вкус в архитектуре (Греч, 47); ušlechtění krásochuti — утончение вкуса (там же).

Что касается слова okus, образованного Я. А. Коменским для обозначения одного из пяти чувств человека — вкуса, то его употребление в данной синонимической связи нужно, вероятно, считать индивидуальным. Й. Юнгман в своем словаре уже не указывает на эту связь.

Сложные существительные krásocit и krásochuť, образованные в эпоху национального возрождения, удержались для выражения понятий «чувство прекрасного, эстетические чувства» и «способность воспринимать изящное, вкус», но их структура обусловила сравнительно узкое, терминологическое употребление данных слов, в то время как заимствование vkus оказалось гораздо жизнеспособнее и окончательно закрепилось не только в рамках терминологии эстетики, но и в общелитературном употреблении. Одним из первых активных распространителей нового слова был П. Й. Шафарик, который, может быть, был и «прямым виновником» его появления в чешском языке. См. примеры употребления слова vkus в текстах Шафарика: «Seznámiti se zúplněji s veršem, jehož si téměř každý krasocitný národ v té míře, v které vkus svůj ztenčuje, přivlastniti pospíchá» (Krok, 1822, 2); «Musel jsem toho podotknouti, maje ohled na Váš jemný estetický cit a vkus» (Kor. Šaf. — Pal, 68).

Очевидно, решающим моментом для усвоения слова явилось то, что оно было свободно от груза бытового употребления, мешавшего, например, слову vkus развить отвлеченное значение.[78]

Не сохранилось прямых указаний на то, ассоциировалось ли слово vkus с однокоренными чешскими словами, но представляется несомненным, что оно связывалось с такими глаголами, как okusiti, pokusiti, zkusiti, каждый

---

[78] О том, что необходимость преодоления этого момента существовала и в русском языке в связи с появлением у слова *вкус* нового значения, свидетельствует, например, пояснение Кантемира к выражению «вкус в платьях» (Сатира II, 1-я ред.): «„вкус только в кушаньях говорят", здесь же взято „с французского языка"». Цит. по книге В. В. Веселитского [17, *148*]. В чешском языке препятствием для распространения слова chuť в новом значении послужили и другие его также переносные, но уже традиционные значения, например, ‘удовольствие’ (pracovati s chutí). Ср. замечания Й. Юнгмана по поводу использования слова vkus в терминологическом значении: «chuť означает также удовольствие (die Lust), поэтому менее здесь годится» [J. Slov., I, s. XX].

из которых мог употребляться в значениях: 1) ‘попробовать что-н. на вкус’, 2) ‘попытаться что-н. сделать’; 3) ‘испытать, искусить что-н. или кого-н.’.

Известны были в чешском языке и субстантивные бессуфиксальные образования okus, pokus, моравское zkus в значении ‘попытка, проба’ (JS II, 927; III, 255; V, 690). Наконец, в ряду таких образований стоит и созданное Я.А. Коменским, но полузабытое к тому времени слово okus ‘вкус’.

Таким образом, близость чешской словообразовательной и семантической системе оказалась немаловажным фактором, способствовавшим усвоению русизма vkus.

Представляют интерес производные этого существительного в чешском языке. Если образования с приставкой bez- (bezvkus, bezvkusnost) еще несут на себе следы русского влияния, то прилагательное vkusný и по значению и по употреблению весьма отличается от соответствующего русского. Как известно, русское *вкус* в значении ‘чувство, понимание изящного’ не имеет производного прилагательного; чешское же vkusný, естественно, не имеет значения ‘приятный на вкус’. Отсюда возможность таких сочетаний в чешском языке, как vkusný oblek, vkusná pravidla architektury и т. п.: «Tu byla hraběcí rodina prostomilým děvčátkem ... českým proslovím uvítána ... což i k jejímu vkusnému (gustiös) obleku velmi dobře slušelo» (Jindy a n., 40); «Saně vkusného díla» (Zp. Petr., 306); «Kterékoli domy jsou od kamena, staveny jsou čistě podlé vkusných pravidel architektury» (Kotl., 263). Ср. соответствующие употребления наречия vkusně: «An Čechové vkusněji sobě počínajíce, už latinského zdobnějšího písma sobě oblíbili» (Jindy a n., 63); «Universita stavitelsky vkusně ozdobena sloupením» (Kotl., 259); «Jindy sobě vkusněji zdobívali hlavu» (ČČM, 1838, 54).

Наблюдения над процессом адаптации в языке — усвоителе терминологической лексики из близкородственного языка свидетельствуют о значительной стимулирующей роли заимствования, приводящего к реализации ряда потенциальных возможностей собственного языка.

§ 4. Слова, вводимые для замены германизмов.

Лексика, рассматриваемая в настоящем разделе, не ограничена пределами поэтического и научного, стилей литературного языка. Скорее, она связана с его разговорной формой, которая в первые десятилетия XIX в. находилась еще в зародышевом состоянии. Господство немецкого языка в литературе и официальном общении, длившееся десятки лет, привело к тому, что множество понятий не получило или утратило чешские наименования. Стремления патриотически настроенной чешской интеллигенции ввести родной язык в повседневный обиход и корреспонденцию наталкивались на многие трудности, вызванные недостатком необходимой лексики. Переписка будителей пестрит свидетельствами того, как преодолевались эти трудности: новые слова зачастую создавались походя, по мере не-

обходимости; в скобках обычно указывалось немецкое соответствие, позволяющее понять неологизм. См., например, попытки Й. Юнгмана (1810, 1813 гг.) передать по-чешски понятие ‘бухгалтер’: «Všude posud jsou horliví vlastenci. P. Karafiat kněhředitel (Buchhalter) v Brně mi poslal 200 zl., abych Miltona dal tisknout (ČČM, 1881, 511); «Tento pak v Reichstadtě při fabrice Leitenbergrově tuším počty vede (Buchhalter)» (ČČM, 1882, 36).

Будители, знакомые с русским и другими славянскими языками, использовали для замены германизмов славянские заимствования. Примеры таких замен находим, в частности, в письмах из России чешского купца М. Котлера, которые в 1843 г. опубликовал А. Марек: «Na uhlu Maškova pereuloku (Seitengasse)» (Kotl., 283); «V jiném ohledu jsou, to znamenití lidé, pocházející z městečka Vizniky, kteří co roznošníci (hausírníci) v celé Sibiři s krásným tovarem (drobným zbožím) trhují» (Kotl. 273). Примечателен комментарий А. Марека к слову roznošník «это слово можно было бы употребить в чешском языке вместо hausírník» (там же). См. также письмо из России К. Гавличека-Боровского: «Tři rakouské a tři ruské rohatky (Schlagbäume) na člověka číhají» (H. B., 138).

По традиции того времени в скобках могли приводиться объяснения нового слова и в художественных текстах, переводных и оригинальных. Слова, образованные под воздействием русского языка или заимствованные из него, нередко имели в качестве пояснения немецкие эквиваленты — это говорит о том, что они были призваны заменить германизмы. К ранним примерам такого типа относится введение Юнгманом слова záhub (русский образец — *изгиб)* вместо германизма Fald в переводе «Аталы»: «Zdaž není, kde by nás ukryli lesové, záhybu (faldu) v zelenitém oděvu jejich?» (JA, 18) — «Не имеют ли леса в зеленой своей одежде изгибов для нашего убежища?» (И. М., 38). Из более поздних переводов с русского А. Марека: «Jindy nelze bylo jináč přistoupiti k dámám, leda... v pudrované *příčesce* (Frisur)» (ČČM, 1832, 76); «V prostředu stojí lavice a při ní dívka se *žhutem* (Plumpsack)» (ČČM, 1838, 245).

Стремление вытеснить германизмы с помощью славянских слов отчетливо проявляется в Словаре Й. Юнгмана, где опорой в этом смысле послужил в первую очередь русско-немецкий словарь И. Гейма. Сравним некоторые словарные статьи из обоих словарей:

Словарь Й. Юнгмана	**Словарь И. Гейма**
Brilna… die Barbierstube. *Rus.*	**Брильня**… die Barbierstube.
Brilný… zum Barbieren gehörig, n. p. miska, *rus.*	**Брильный**... zum Barbieren gehörig, брильное блюдо.
Bulečnik… *rus.* Pekař, který, bulky peče, Weissbrodbäcker.	**Булочник**… der Weissbrodbäcker.
Chlebopek... (chlebopečec, *rus*.) Brodbäcker.	**Хлебопечец**… der Brodbäcker.
Chleboprodavač… (*pol.* Chleboprodávce, *rus.* Chleboprodavec) L. Brodverkäufer.	**Хлебопродавец**… der Brodverkäufer.

Kozyř… *rus.* trumf, karta, která bije. **Козырь**… der Trumf.

Словарь Й. Юнгмана предлагает также следующие русизмы взамен употреблявшихся германизмов: ještík вм. kastlík (JS V, 898); laditi вм. štempovati (JS IV, 508); pluk вм. regiment (JS III, 129); sleď вм. hering (JS II, 142); suchar вм. Zwieback (JS IV, 375); šutka вм. žert (JS IV, 528); želati вм. vinšovati (JS V. 107) и др.

Как и в иных случаях, большое значение для Й. Юнгмана имел факт наличия заимствуемого слова не только в русском, но и в других славянских языках или чешских диалектах. Юнгман стремился по возможности предлагать для замены того или иного германизма несколько вариантов из разных славянских источников, с целью создать вариантно-синонимический ряд. Так, для понятия «парикмахерская» (в языковом обиходе чешских городов — Barbierstube) в Словаре Юнгмана приведены наряду с русизмом břilna также словацкое слово bradárna и забытое старочешское выражение bradýřská světnice, извлеченное Й. Юнгманом из сочинений Я. А. Коменского (JS I, 168, 169).

Еще Й. Добровский в учебнике русского языка 1799 г. привел несколько слов, которым в чешском языке соответствовали только германизмы. Ср. в словарике Й. Добровского [114, *74-76*, *95*] :

русск.	**нем.**	**чеш.**
očki	Brillen	breyle
selď	Häring	herynk, slaneček
treska	Stockfisch	stokfiš
polk	Regiment	regment
polkovnik	Oberster	obršt
pochod	Marsh	marš
želať	[wünschen]	vinšovati

В текстах первой половины XIX в. мы наблюдаем настойчивые попытки внедрить указанные русские слова вместо соответствующих германизмов.

Očky. Впервые после Й. Добровского — и уже в чешской орфографической форме — употребил это слово начитанный чешский купец и литератор Франтишек Владислав Гек (1769—1847) в заглавии своей стихотворной эпиграммы: «Očky (Brejle)» (Prvot., 174). В самом тексте эпиграммы встречается лишь слово bejle. В другом стихотворении этого же автора (1815 г.) слово očky употреблено как синоним brejle: «Kdo můž bez oček býť, zdali půjde si kupovat brejle?» (Hek, 82). Очень прозрачно выступает стремление заменить словом očky германизм brejle в высказывании Й. Юнгмана, относящемся к 1814 г.: «Co jste o prostonárodní řeči pověděli, jest patrným důkazem, že všecko jen s německými brejlemi nebo ať dím slovenštěji — očkami pozorujete» **[**104, *56***]**.

Слово не было подхвачено другими литераторами, так что в своем Словаре Й. Юнгман не счел возможным приводить его в особой словарной

статье. Правда, оно нашло отражение в статье на слово brylle: **«Brylle,** brejle... očky, *rus.* = očni skla, die Brille...» (JS I, 193). Здесь, вероятно, сказалось среди других факторов известное «сопротивление» чешской морфологической системы: форма očky вм. očka (регулярное окончание существительных ср. рода во мн. числе) противоречила системе; в то же время не могло произойти и выравнивание по модели políčko — políčka, так как форма očko ‘глазок’ была живым регулярным уменьшительным образованием от *oko.* Сыграла роль и давность заимствования слова brylle/brejle в чешский язык.

Sleď. В Словаре Юнгмана для этого слова указаны два соответствия: рус. *сельдь* и польск. Śledź (м. р.); приводится так-же форма sleď из словацкого памятника (JS IV, 142). Можно предположить, что это слово, заимствованное из скандинавских языков до XII в. **[**200, *III*, *597***]**, бытовало и в чешском языке, но оказалось вытесненным германизмом herink (Häring). В начале XIX в. вновь происходит усвоение слова sleď. При этом наблюдаются колебания в основе и в отдельных падежных окончаниях: «Hlavní řemeslo bývalo rybaření, zvláště lov sledí (Häringe)» (Han. Hist., 22); «nakládáno sledě (herinky)» (Spol., 107); «slouží pící jako sledi velrybě» (ČČM, 1838, 190); «Sledů (heringů) snad l tisíc milionů se pochytá ročně» (Spol., 156); «Sleď sardinský (Svět, 268).

С течением времени в языке укрепилась форма sleď м. рода, с двумя вариантами во мн. числе: sleď и sledi. Слово herynk (herynek) также сохранилось в языковом обиходе, однако лишь в значении ‘соленая сельдь’, причем со сниженной стилистической окраской (стилистически нейтральный литературный синоним — slaneček) (SSJČ I, 583; PSJČ V, 352).

Treska. Слово является в чешском языке общепризнанным русизмом **[**169, *138***]**. Первоначальная форма, засвидетельствованная у Ф. Томсы (1805 г.), — třeska **[**208, *650***]**; однако она не получила распространения. В трудах естествоиспытателя Я. С. Пресла, возможно, произошло повторное заимствование слова, на этот раз в форме treska: «Nejznamenitější ryby jsou doreš (Dorsch), treska (Stockfisch), sleď (Häring)» (Krok, 1836, 245). В Словаре Юнгмана слово оформлено как второе значение вышедшего из употребления древнечешского treska ‘щепка, лучина’ (JS I, 631). Такое представление о происхождении слова treska в значении Gadus Morrhua отражается и в современных этимологиях этого слова. Так, если традиционно оно относилось к заимствованиям из скандинавских или германских языков, то у М. Фасмера находим следующее: **«Треска II** — рыба «Gadus Morrhua». Первонач. «рыба-щепка» и тождественно этимологически *треска I* («щепка, заноза»); ср. нем. Stockfisch «треска»: Stock «палка»...» **[**200, *IV, 100***]**. С середины XIX в. слово treska стало широко употребляться и за пределами терминологической лексики, постепенно вытесняя германизм stockfiš, который словарями современного чешского литературного языка квалифицируется как устаревшее просторечное слово (SSJČ IV, 735).

Pluk, plukovník, podplukovník. Существительное pluk, относящееся к общеславянской лексике (pъlkъ), было широко представлено в древнечешских памятниках в значениях ‘множество людей, полчище’ и ‘войско, часть войска’ (JS III, 129). Однако, в отличие от русского языка,[79] в чешском не развилось в дальнейшем специального военного значения слова pluk (соединение из нескольких батальонов). Это объясняется тем, что в Астрийской монархии армия обслуживалась исключительно немецким языком. Так и в чешский речевой обиход вошли германизмы: regiment (regment) ‘полк’, obršt ‘полковник’, obrštův lajtnant ‘подполковник’.

Проникновение в чешский язык русских слов, которые впоследствии вытеснили указанные германизмы, началось еще в XVIII в. Так, например, в одной из записей приходской «памятной книги» села Быстра у Полички, сделанной в 1798 г. во время первого пребывания русских войск в Чехии, приводятся в латинской транскрипции некоторые русские военные обозначения: «Totum regimen, quod videram in exercitiis illorum ad Mautam, constabat ex 1600 hominibus. Nullum generalem habent regimina ipsorum, sed tantum supremos. Unicus generalis ipsorum est, qui totam armadam ducit, id est general-anscheff. „Obrister” vocabutur „Polkovník”, „Regiment” — „celej polk”» **[**122, *6***]**.

Во время наполеоновских войн, когда русские войска вновь проходили через Чехию, эти слова, несомненно, приобрели еще большую известность, особенно в чешских военных кругах. Показательно, что первое употребление слова pluk в новом значении связано с именем чешского патриота, офицера Милоты Здирада Полака, который оставил заметный след и в литературе. В стихотворении, опубликованном в 1813 г., читаем: «Švarných Čechů tisíce se hrne, || Již se v pluky strašné rojejí...» Слово pluky здесь применено не в строгом терминологическом значении, но автор снабжает его подробным примечанием, уже мало связанным с поэтическим текстом, где он излагает свои терминологические соображения, опираясь при этом на русский язык: «Pluk — Regiment zbor... Správce pluku slove plukovník, rusky Polkovník, Podplukovník — obrštův laitnant» (Prvot., 123).

Специальное терминологическое значение слово pluk получило в чешском языке полное развитие лишь значительно позднее — после 1918 г., когда в чехословацкой армии был упразднен немецкий язык. Тогда же были закреплены как номенклатурные слова plukovník и podplukovník. В течение же XIX в. произошло оживление полузабытого pluk в значении ‘часть войска’, ‘воинство’. Этому способствовало употребление его в поддельной Зеленогорской рукописи (jen-že príde s pluky Čechovými — RZ, 4), а также в переводах с русского или через посредство русского языка. Наиболее ранние примеры такого употребления в юнгмановском переводе «Потерянного рая»: «Kdo... ve tmu všelikém a pluku nad jiné předčí» (JR,

[79] Об истории слова *полк* в русском языке см. у Ф. П. Сороколетова [83, 37-49].

167) — в рус. посреднике: «От всякия дружины, от каждого полка... достойнейшие» (В. П., 41); в переводе Ф. Л. Челаковского: «Plukové ruští tisíce porazili» (R. a V., 88) — «Полки российские истребили тысячи» (Р. и В., 208). В эпоху национального возрождения было воспринято и существительное plukovůdce, впервые употребленное В. Ганкой в переводе из «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина: «pročež volili slované plukovůdce» (Krok, 1831, 489).

Pochod. В значении ‘передвижение войска’ слово стало употребляться по образцу русского *поход* и польского pochód, вытеснив впоследствии германизм marš.[80] Усвоение нового значения (прежнее pochod — ‘ходьба’) началось, вероятно, лишь в тридцатые годы XIX в., так как во втором томе Словаря Й. Юнгмана (1836 г.) оно еще не приводится в статье на слово marš в ряду синонимов, которые Юнгман предлагает в качестве чешских соответствий: tažení, odtah, postup, ochoz, táh vojáků (JS II, 395), а в статье же на слово pochod (т. III, 1837 г.) это значение уже приведено — со ссылкой на Словарь Линде (JS III, 233) и иллюстрациями из переводов с русского и польского, возникших в 30-е годы. См. в переводе Ф. Л. Челаковского из Булгарина: «nazejtři deset tisíc Černohorců vystoupilo v pochod» (ČČM, 1833, 409).

К настоящему времени указанное значение слова pochod стало основным в его семантической структуре (см. PSJČ IV, 533). В отличие от русского, на его базе развилось и значение ‘музыкальное произведение в четком ритме под шаг’. Слово marš перешло в разряд устаревшей и просторечной лексики (PSJČ II, 724).

Želati, želání, poželání. Общеславянские слова *žalhti ‘сожалеть, печалиться’ и *želhti ‘желать’ еще в дописьменный период чешского языка слились в одну форму želeti (в результате перегласовки *a<e* между мягкими согласными). Таким образом, возникли омонимы в пределах одного круга лексики, обозначающей понятия, связанные с духовной жизныа человека. Материалы Словаря Й. Юнгмана показывают процесс явного вытеснения из языка омонима želeti ‘желать’, который иллюстрируется всего лишь двумя — тремя примерами. В значении ‘желать’ в чешском языке употреблялись слова žádati, přáti и германизм vinšovati. Судя по иллюстрациям в Словаре Юнгмана (JS V, 106—107), слово vinšovati получило особенно широкое распространение в значении ‘выражать, высказывать пожелание (добра, счастья)’.

Стремясь заменить германизм vinšovati славянским словом, Й. Юнгман обратился сначала к почти вышедшей уже из употребления форме želeti. Однако ее омонимичность оказалась серьезным препятствием: потребова-

[80] Здесь, как и в других случаях, при трактовке слова как германизма не учитывается его происхождение в немецком языке, поскольку для пуристических оценок будителей этот момент был несущественным.

лись оговорки, указывающие, в каком именно значении употреблено слово. См. письмо Й. Юнгмана А. Мареку от 1808 г.: «A jak povždy tak... k tomuto roku Vám všeho dobrého od srdce přeji a želím (v smyslu druhém)» (ČČM, 1881, 503). Выходом здесь оказалось усвоение формы želati, которая развилась, вероятно, из более древней želeti **[**201, *280***]** и была представлена в словацком и русском языках. Слово želati в значении ‘выражать пожелание’ первоначально распространилось в кружке Й. Юнгмана. Мы находим его почти в каждом письме Юнгмана Мареку, например, в письмах 1814, 1818, 1821 гг.: «Želaje srdečně, aby se vám co nejlépe vedlo» (ČČM, 1882, 42); «Želaje vám štěstí k novému roku» (ČČM, 1882, 456); «Želám i Vám zdraví a mnoho radosti» (ČČM, 1882, 472). Упоминание об этом слове содержится в письме Й. Юнгмана к Я. Коллару от 1821 г., в котором он рассуждает о возможностях сближения чешского и словацкого языков: «Древний чешский язык — это почти ваш словацкий. Сближение далось бы без труда, особенно силами поэтов. Конечно, это не обойдется без громкого сопротивления... Неедлого и компании, но ничего, будем делать, что можем. Я уже давно осмеливаюсь оживлять želati на месте vinšovati или „перепиленного” на два значения želeti» (ČČM, 1880, 44).

В сочинении Й. Юнгмана «Словесность» (1820) представлены его попытки внедрить слово želati. Так, Юнгман снабжает комментарием глагол vinšovati в тексте начала XVII в., помещенном в хрестоматийной части книги («S tím se Vám na všem dobře a šťastně mítí vinšuji»): «vinšuji — из немецкого, вместо старого želím и еще более старого želaju. Форма želám могла оы быть использована для различения с želiti ‘печалиться’» (J. Slov. I, 242).

В другом месте книги Й. Юнгман предлагает в качестве замены прилагательного vinšovný ‘поздравительный’ отглагольное адъективное образование želací: Želací **(**vinšovný**)** list k rodinám, k novému roku a p. (J. Slov. I, s. XCIII).

Если Й. Юнгман употреблял слово želati лишь в значении ‘выражать пожелание’, то у других авторов его направления, особенно тех, кто владел русским языком, встречается и применение слова в значении ‘хотеть, испытывать желание’. Ср. в текстах Челаковского, Ветешника, Шира и других: «Ohnisko vlastní jest, co želám, jediné!» (Novor**.** 1825, 61); «Přítelkyni želám (žádám) sobě přitovařišiti» (Novor. 1825, 102); «Ona však něčeho k ouplnému štěstí želá» (ČČM, 1827, 108). Явно под русским воздействием появились и производные формы poželání, želaný: «I do nás přijměte všeho blaha na tento rok poželání» (ČČM, 1881, 524); «Denníkům dal želaných by darů» (Šír, 19).

Решающие сдвиги в семантике и употреблении этой группы слов произошли позднее, во второй половине XIX в. Современное же состояние, отраженное в толковых словарях, таково: želati в том значении, какое хотел ему придать Й. Юнгман (‘выражать пожелание чего-н. доброго’), не закре-

пилось в языке; германизм vinšovati оказался вытесненным новообразованием blahopřáti, еще не зафиксированным в Словаре Юнгмана. Глагол želati в значениях ‘просить, умолять’, ‘горячо желать, хотеть, а также прилагательное želaný ‘желанный’ имеют в словарях пометы: *книжное* и *устаревшее* (PSJČ VIII, 1015; SSJČ IV, 909).

К рассмотренным выше примерам вытеснения германизмов славянскими словами можно прибавить также достаточно характерный случай, когда заимствованное слово заменяется заимствованным же, но пришедшим через русское посредство.

Čaj. В европейских и азиатских языках употребляются два названия для напитка из сушеных листьев растения, происходящего из Китая: одно из них восходит к северокитайскому čhā (турецкое, татарское, русское и др.), другое — к южнокитайскому (французское, английское, немецкое и др.) **[**200*,* IV, *311***]**.

В чешском языке до периода национального возрождения была распространена форма thé (té), пришедшая через посредство немецкого языка. Другая форма появилась впервые в немецко-чешском словаре Й. Добровского (1821 г.) форма čej с ясными следами «филологической обработки»: перегласовка *a<e* перед *j* в закрытом слоге, представленная в ней, происходила в XIV—XVI вв., здесь же она была воспроизведена с целью приспособить новое слово к обычному чешскому звучанию. Однако эта форма не получила дальнейшего развития, в то время как в текстах, отражающих русскую действительность, все чаще стала появляться форма čaj (в тридцатые годы она еще нередко пояснялась в скобках формой thé). Например: «Vypiji několik šálků horkého čaje (thé)» (ČČM, 1830, 58); «Krom toho ještě čaj (thee), cukr» (ČČM, 1830, 63); «Čaj (thé) připravují Kalmukové s mlékem» (Č. vč., 1834, 325); «Byl postaven samovar, pili sme čaj» (Kotl., 272).

Будители активно поддерживали форму čaj, так как противопоставляли ее «германизированному» thé. Об этом свидетельствует, в частности, рассуждение, помещенное в журнале «Светозор»: «Словом čaj называют русские, китайцы и т. д. ... сушеные листья двух видов растения... Слово thé пролезло в обиход только из-за неправильного прочтения слова čaj, написанного разными способами правописания, так как многие европейцы, особенно немцы в 1660 г., когда чай начал распространяться, еще не умели читать по-английски, а тем менее по-китайски, по-арабски и т. д.» (Svět, 110).

Форма čaj привилась в чешском языке, чему, конечно, немало способствовала возможность его естественного включения в чешскую морфологическую систему. Несклоняемая же форма thé (té) сохранилась лишь в суженном значении ‘настой целебных трав’, и здесь уступая в употребительности своему синониму čaj (PSJČ VI, 116).

Основная борьба с германизмами, засорявшими чешскую лексику, развернулась в последующие периоды, начиная со второй половины XIX в., т.

е. с возникновением и развитием разговорной формы чешского литературного языка. В это время значительно снизилась роль сознательного воздействия на язык, которая была характерна для первых десятилетий XIX в., когда чешский литературный язык культивировался лишь сравнительно узким слоем общества. Соответственно повысилась регулирующая роль внутренних языковых тенденций; продуктивность нередко приобретали такие явления, которые в ранний период национального возрождения совсем не были в центре внимания творцов литературного языка. Это отразилось и на судьбе ряда русизмов, которые были введены для замены слов немецкого происхождения. Рассмотрим в качестве примера существительное mražené. Оно появилось в 30-е годы XIX в. в переводах с русского или через посредство русского, а также в текстах, содержащих описания русской жизни. Например, в переводе Ф. Л. Челаковского: «Krmí (medvěda) mraženým a suchary» (Č. vč., 1835, 10) — «которого он кормит мороженым и сухарями» (Б. чт. 1834, 65); у Гавличека-Боровского: «Mražené, oblíbená i u nejnižších tříd mlska, roznáší se zde a prodává» (H. B., 59). В дальнейшем слово получило некоторое распространение как соответствие немецкому Gefrorenes. Однако к концу XIX в. оно было, в свою очередь, вытеснено чешским новообразованием zmrzlina, что не без огорчения констатирует один из продолжателей юнгмановских начинаний Ф. Бартош: «Zmrzlina (Gefrorenes). Эта неправильная форма в последнее время вытеснила уже привившееся русско-чешское mražené (moroženoje)» **[**98, *100***]**.

Такого рода факты могут послужить материалом для изучения продуктивности способов чешского словообразования определенного исторического периода.

В целом можно проследить известную тенденцию к закреплению тех славянских замен германизмов, которые не относятся к чисто бытовой лексике. Ср. например, оживление под русским влиянием историзма sjezd (1821. «byl tu pověstný sjezd (kongres)» — Spol. 49), усвоение русского слова *завод* (v cárském i zrcadelném závodě (fabrice). — Zp. Petr., 305) и т. п. С другой стороны, не закрепились русизмы černidlnice вм. kalamař, ještík вм. kastlík, kozýř вм. trumf, příčeska вм. Frisur, rohatka вм. Schlagbaum, žhut вм. Plumpsack и др. Здесь, несомненно, сказался тот значительный разрыв, который существовал в течение всего XIX в. между письменно-литературной формой языка, где и появлялись слова, отмеченные русским влиянием, и его неофициально-разговорной формой.

§ 5. Русские слова-экзотизмы в произведениях о России.

Слова, обозначающие явления русской действительности (специфические детали быта, социально-экономические отношения, особенности природных условий и т. п.) и употребляющиеся преимущественно в описаниях России, относятся к категории экзотизмов.[81] Экзотизмы имеются в каждом литературном языке и находятся, в общем, на периферии его словарного состава. Вместе с тем интенсивный приток русизмов-экзотизмов в чешские тексты первой половины XIX в. ярко свидетельствует о возросшем интересе чехов к русской действительности, что явилось одной из предпосылок широкого лексического заимствования из русского языка в чешский. Как известно, между экзотизмами и остальными лексическими заимствованиями нет непроходимой грани и совсем не редки случаи, когда экзотизмы начинают употребляться и для обозначения явлений внутренней жизни страны языка-усвоителя.

Экзотизмы рассматриваются нами в рамках тематических групп, т. е. групп лексики, выделенных на основе классификации обозначаемых ими явлений действительности [87, *526*]. Такая классификация дает представление о том, какие стороны русской действительности привлекали внимание в Чехии того времени, каков был уровень знаний о России и т. п. При рассмотрении экзотизмов отмечены и особенности их формальной адаптации в чешском языке.

При отнесении слов к экзотизмам принималась во внимание прежде всего их «колористическая» функция в контексте. Таким образом, если слова, обозначающие русскую реалию, употребляются в составе научной терминологии, то они включаются в категорию экзотизмов только в том случае, если в текстах первой половины XIX в. они встречаются и в описаниях России. К русским словам-экзотизмам мы относим и слова, обозначающие реалии других народов, населяющих Россию, учитывая общую функцию данных слов с собственно русскими наименованиями и заимствование их чешскими авторами из русского источника. Вопросы происхождения рассматриваемых слов в русском языке здесь не ставятся.

По тематическому признаку русские слова-экзотизмы могут быть разделены на следующие группы.

1. Слова, обозначающие природные особенности России (ландшафт, рельеф; явления природы; животный и растительный мир): tajga, tundra, step; buran; morž, ťulen, hluchar; moroška.

2. Слова, обозначающие особенности быта России: а) продукты питания, блюда, напитки: jíkra, pirohy, šči, suchar; brága, kumis, kvás, vodka, zbiten;

---

[81] Экзотизмы понимаются нами в том широком значении, какое принято, в частности, в работах А. Е. Супруна [85], В. П. Беркова [8, *109 и сл.*].

б) одежда, обувь; ткани, меха: burka, dušehrejka, chalát, kaftan, kamlejka, kuchlanka, rubáška, salup, sarafan, šaraváry, šuba, tulup; sapohy; kokošník, kyka; kamka, kumač, kytajka; bělka, pižík;

в) меры длины, площади, веса: aršín, versta, desetina, sažeň, četverť, pud;

г) деньги: denga, kopeka (kopejka), červenec, rubl;

д) различные предметы быта: bumažník; hudok (hudoček), húsli; popona; samovar;

е) средства передвижения: drožky, četverňa, liže, nárta, oboz, parochod, perekladná, teleha, trojka, připřažka;

ж) жилища и другие постройки и сооружения: balagán, dače, dvorec, jurta, kybitka, zeměnka;

з) торговые помещения и места торговли: bazar, hostinný dvor, lávka, rjädy, tolkučí trh;

и) бытовые заведения: báňa, charčevňa, gostinica, kabák, traktýr;

к) предназначенные или оборудованные для чего-н. пространства: ploščaď, prijisk, zástava;

л) народные развлечения: chorovod, gulaňje, kulačij boj, pleska, večeřinky; koňki, samokat.

3. Слова, обозначающие особенности социально-экономической жизни и политического устройства:

а) политический строй и управление: car, carice (cařice), hosudar; orda; žandarm, budešník, častný pristav; starosta, popečitel, upravitel;

б) сословия и социальные группы (в том числе и категории Древней Руси): křepostný, mužik, mužictvo, duše, burlak; kozák, kozactvo, ataman, jezaul; bárin, činovník, dvořanstvo, gospoda, kupec, kupéčestvo, kupčicha; poměštík; artěl, čin, gilda; bojar, bojařín, kňaz, kněžna; chán; opričník, smerd, stolník, tiun;

в) профессии и занятия: bohomaz, čumák, dvorník, jamščík, izvoščík, lavečník, prikažčik, raznoščík (roznoščík), robotčí, švejcar, ňáňuška;

г) орудия наказания и принуждения: knut, nahájka, utočka;

д) общие понятия, связанные с социально-экономическим укладом: úkaz, kabala, zakabaliti, obrok;

е) религия: archidiakon, archimandryt, metropolit, diakon, diák, pop, odšelec; ikona, ikonostas, klíros, cárské vrata, riza, riznice; cerkva, sabór, monastýr; máslenice, Svetaja, pomínky; rozkol, rozkolník;

ж) титулы, обращения и т. п.: prevoschoditelstvo, veličestvo, sudar, vysokoblahorodí; baťuška, mátuška.

Приведенный материал, хотя он и не является исчерпывающим, характерен для состава и функционирования русизмов-экзотизмов в чешском языке первой половины XIX в. с нескольких точек зрения.

Прежде всего в этой категории русизмов имеется слой заимствований, вошедших в чешский язык значительно раньше изучаемого нами периода (в категории русизмов-неэкзотизмов такой слой отсутствует).

Хронологически более ранние русизмы могли проникнуть в чешский язык через посредство латинского и немецкого. Из латинских источников можно назвать «Московскую хронику», переведенную в 1590 г. и использованную впоследствии в Словаре Й. Юнгмана. Что касается немецкого посредства, то оно было в высшей степени вероятным в условиях чешско-немецкого билингвизма, обычного для Чехии XVIII в.

Более ранние русизмы некоторыми чертами отличаются от тех, которые вошли в чешский язык в XIX в. непосредственно из русских источников. Для них характерна формальная неустойчивость, зачастую отражающая особенности языка-посредника. Рассмотрим для примера некоторые из русизмов такого типа.

Car. Слово, по всей вероятности, первоначально проникло в чешский язык из немецкого, где оно было известно еще с XVI в.; написание его в немецких источниках колеблется: Czar, Cziar, Tzar, Zaar, Zahr и т. п. **[**73, *205 и сл.*]. В чешской транслитерации возникла форма čár, которая четко свидетельствует о том, что она взята не «прямо из русских источников. Эта форма встречается в чешских текстах вплоть до 20-х годов XIX в. Ср. производное слово čárstvující в сообщении журнала «Čechoslav» за 1820 г.: «Obětována jest [русская грамматика Пухмайера] Její císařské milosti Marii Feodorovně Nejjasnější Mateři čárstvujícího Samodržce vší Rusie Alexandra I» (224). Характерен комментарий Й. Юнгмана к слову cár, которое он употреблял в переводе «Потерянного рая» (1811) уже в общем значении ‘верховный правитель, король, самодержец’: «cár — а не как обычно произносят čár; слово, перешедшее к русским от татар, или, может быть, стяжение слова Caesar... Означает то же, что король» **[**142, *337*]. В Словаре Юнгмана приводится форма car, которая уже безоговорочно связывается с caesar (со ссылкой на Добровского) (JS I, 217).

Kopeka. О немецком посредстве при усвоении этого слова ясно свидетельствует форма, приведенная в Словаре Юнгмана как единственная: «**Kopeka**, y, f., ruský peníz, sto do ruble, eine Kopeke» (JS II, 123). Ср. текст из журнала за 1821 г.: «Ta nejlacinější cena za vůz bývá po 50-ti kopekách» (Čechoslav, 380).

Форма, более точно соответствующая русской, — kopejka (kopějka) — появляется сначала у тех авторов, которые побывали в России (Котлер, Гавличек) или хорошо знали русский язык (Челаковский).

На немецкое посредство при проникновении в чешский формы kopeka указывает Е. В. Опельбаум **[**73, *107*].

Rubl. Как и в предыдущем случае, немецкое посредство более чем вероятно; о нем говорит и форма rubel, приведенная в Словаре Юнгмана: «Rubel, rubl = ruský peníz, ein Rubel» (JS III, 947). О колебаниях в роде свидетельствует предостережение А. Марека в рубрике журнала «Крок», посвященной борьбе с языковыми ошибками («Lovec»): «Ruský rubl nebud užíván jako ženského pohlaví» (Krok, 1823, 143).

Versta. Это слово встречается в текстах первой половины XIX в. в следующих вариантах: veršt, versť, verst, versta. Первая форма зафиксирована в переводе латинской «Московской хроники», (подробнее см. выше, с. 72 и сл.). Й. Юнгман отмечает ее в Словаре как неправильную (veršt, melius: versta). До 30-х годов нередко встречается форма м. рода verst: «První den, asi 40 verstů urazivše, se zastaviti museli» (Maťuš., 59); «Jezero Elton samé v okrouhlosti má přes sto verstů» (Čechoslav, 380). Форма versť (ж. рода) употреблена в переводе А. Марека: «Za den a za noc uběhnou psi do 180 verstí neb přes 20 mil» (ČČM, 1838, 243). К середине XIX в. все эти формы, которые, по всей вероятности, объясняются немецким влиянием (eine Werst), оказались вытесненными формой versta, пришедшей непосредственно из русского языка.

Step. Это существительное, издавна известное во многих европейских языках **[**73, *174 и сл.;* 9, *34***]**, несомненно, было известно и в Чехии ранее XIX в., хотя в Словаре Й. Юнгмана приведен лишь один пример — из журнала XIX в. Отмеченный нами случай употребления этого слова в форме Stepp явно свидетельствует о немецком посредстве при его первых заимствованиях (немецкая форма — eine Steppe): «Na půlnoční straně lesů prázdnými pustinami, jenž Rusové Steppy jmenují... jest ohrazeno» (Čechoslav, 117). В 30-е годы XIX в. слово step стало обозначать не только русскую реалию, но было использовано в географической терминологии по отношению к более общему понятию: všechna lada, ruským podobná (Balbi, 21).

Ukaz. По данным Е. В. Опельбаума, в немецком языке слово Ukaz известно с начала XVIII в., в XIX в. оно употреблялось иногда даже вне связи с русской темой **[**73, *195 и сл.***]**. Оно было известно и чехам, пользовавшимся немецким языком. В немецком контексте употреблял его, в частности, Й. Добровский **[**172, *38***]**.

Knut. Следует согласиться с Е. В. Опельбаумом, что первичное заимствование этого слова в чешский язык произошло через посредство немецкого **[**73, *103***]**. Об этом свидетельствует вариантная форма knuta, ж. рода (в немецком — eine Knute) зафиксированная, в частности, в чешско-немецком словаре Фр. Котта **[**206, *I, 713***]**. При повторных заимствованиях прямо из русского закрепилась форма м. рода.

Русизмы, вошедшие в чешский язык через посредство немецкого, в результате установления чешско-русских языковых контактов подвергались своеобразному корректированию, зачастую сознательному, которое приближало эти слова к правильной русской форме. В этом смысле характерно, например, рассуждение А. Марека по поводу написания топонимов Днепр и Днестр: «Откуда пошла ошибка новейших авторов, которые пишут: Dnyper и Dnyster? Ведь уже сам слух должен был бы их предостеречь от этого! Немец, не имея возможности выразить своей графикой русское или польское Dněper и Dněster, пишет Dniestr и Dniepr, а чех, читающий

только по-немецки, не спросив совета у инославян, рабски повторяет за немцами: Dnyper, Dnyster» (Krok, 1823, 145).

Экзотизмы, воспринятые из русского языка в изучаемый нами период, также отличаются формальной нестабильностью, но она имеет совершенно другой характер и в целом отражает стремление как можно точнее постигнуть естественное звучание слова в русской речи и как можно ближе передать его средствами чешской графики.[82] Гавличек-Боровский, руководствуясь этим стремлением, в отдельных случаях прибегает даже к новым графическим знакам, не свойственным чешскому языку (ср. заимствованное из польской графики обозначение твердого ł: bałagan — Н. В., 28, 79; попытку передать букву *я* после согласного: v Rjädách — Н. В., 80).

Отмеченная тенденция сталкивается на практике с другой: приспособить слово к чешской фонетической и словообразовательной системе, сделав его таким образом максимально понятным чешскому читателю. Так возникают, с одной стороны, формы: perekladnaja, krepostní, prikažčík, riza, prevoschoditelstvo, gulaňje, gulať (Н. В., 153, 161, 79, 63, 14, 88, 25) и т. д., а с другой — večeřinky (OPR, 74), křepostný (Zp. Petr., 304), přikažtík (Н. В., 81), jemčík (Kotl., 273), říznice (ČČM, 1839, 492), gulání (Н. В., 24), hulati (Kotl., 269).

Представляют интерес попытки передать ударение русских слов, которые имеются у Ф. Л. Челаковского и носят почти систематический характер у Гавличека. Ударение обозначается тем же знаком, что и чешская долгота (начало такой традиции обозначать русское ударение положил еще А. Пухмайер) [134, *109 и сл.*]: báňa, bárin, báťuška, brága, górod, gospodá, guláňje, ikonostás, kabák, kozák, kupéčestvo, mátuška, ňáňuška, pomínky, popečítel, sabor, samovár, upravítel и т. п. (Н. В.).

Однако основное различие между русскими экзотизмами старого и нового времени (относительно рассматриваемого периода) заключается не в способе их оформления на чешской почве, а в различии их функций в литературном языке. До того, как наступила новая фаза в отношении чехов к России, связанная с процессом становления чешской нации, отдельные русские слова, получавшие известность в Чехии главным образом через посредство немецкого языка, принадлежали к области традиционно непереводимой лексики (названия денег, мер и весов, характерных для той или иной страны природных явлений, наиболее высокие титулы и т. п.).

В текстах же периода чешского национального возрождения функция русских экзотизмов была в первую очередь и преимущественно колористическая: русские слова намеренно оставлялись без перевода, даже если они достаточно легко поддавались передаче на чешский язык. Приведем

---

[82] Ср., например, написание слова versta под немецким влиянием (veršt, verst) и форму vjorst (род. п. мн. ч.) у Гавличека: Škoda jenom, že to bylo přes 20 000 vjorst od Krkonoš (Н. В., 10).

красноречивое высказывание А. Марека, редактировавшего письма из России чешского купца Михала Котлера (Kotl.). В ответ на замечание Й. Юнгмана о перегруженности записок Котлера русизмами, А. Марек писал: «В письмах Котлера, конечно, много русизмов, но я боялся переводить их на чешский, чтобы не лишить эту вещь истинно сибирского аромата» [135a, *211*].

Правда, современниками не всегда осознавалась функциональная значимость данной категории слов, и они рассматривались в ряду других бесчисленных неологизмов эпохи. Показательна полемика между Ф. Л. Челаковским и В. Ганкой, развернувшаяся в 1834 г. на страницах журнала «Часопис Ческего музеа». В статье «Новое произведение на новом языке» Челаковский резко критиковал язык переводов В. Ганки с польского, наводненных лексическими и грамматическими полонизмами: «Пан В. Г. привык переносить из одного языка в другой не мысли, но слова — слова, слова, так верно и добросовестно, что... готов оставить в нашем языке совершенно чуждое ему слово и форму без изменения, не считаясь с тем, могут ли чешские читатели понять такое слово. Этим недостатком страдают не только его переводы польских народных песен-краковяков; мы найдем его и в других сочинениях этого автора, особенно переведенных со славянских языков, которые скорее поймет русский, чем чех» (ČČM, 1834, 448). Отвечая, на критику Челаковского, Ганка указывал на русизмы в «Отголосках русских песен»: «Что удивительного в том, что в переводе краковяков осталось несколько полонизмов! Ведь в „Отголосках русских песен” наделано гораздо больше русизмов, и из содержащихся там русских слов можно было бы слатать еще более смешной текст...» Тут же Ганка приводит список русизмов из «Отголосков»: sobaka, bohatýr, bohatýrský, panichida, vosk jarý, pravoslavný, otecký syn, svistěti, suchota, strasť lásky, bujarý, ataman, večeřinka, nasměšník, rozjařiti se, čestno, bojar, jezaul, tovar, aršín, kamka, kysejný, hosudar, knut, stolničit, vid, kudra, popona (ČČM, 1834, 452).

В действительности подходы В. Ганки и Ф. Л. Челаковского несравнимы: если в случае Ганки речь идет о его переводческой беспомощности, то у Ф. Л. Челаковского русизмы являются одной из основных стилеобразующих черт, так как создают русский национальный и народный колорит, совершенно необходимый для избранного им жанра.

Очень выразительно выступает колористическая функция русизмов в «Русских картинах» К. Гавличека-Боровского, который зачастую употребляет русское слово даже тогда, когда обозначаемая им реалия является не только русской и имеет соответствующее чешское наименование. В основе этого лежит стремление подчеркнуть специфику того или иного явления в русской среде. Приведем в качестве примера контексты (в нашем переводе), в которых выступают существительные gostinica и izvožtík, имеющие в чешском языке словарные соответствия: hostinec и fiakr. «Купеческую натуру лучше всего наблюдать в московских gostinicách (hostince, оборудо-

ванные по русскому способу), где купцы составляют главную публику, в то время как дворяне и иностранцы предпочитают ходить в кондитерские и отели европейского типа. В настоящей русской гостинице (gostinici), которая так богато обставлена, что ни один наш пражский hostinec не посмеет с ней тягаться, — в каждой комнате найдешь большой святой образ...» (H, B., 73—74). «Слово izvoščik означает наше fiakr. Однако то, что fiakr и русский izvoščik многими и существенными чертами отличаются друг от друга, поймет всякий, кто... увидит это большое различие и малое сходство между ними, и вместе с автором он будет жалеть, что вообще слово fiakr было использовано для толкования izvoščik» (H. B., 130).

Как правило, русские экзотизмы получают объяснение в тексте. Они сводятся к следующим основным типам:

а) называющие основные признаки понятия: «jejich oblíbený nápoj kumis (kobylí mléko)» (Č. vč., 1834, 317); «národním kvasem (nápojem strojeným ze žitné mouky a sladu)» (Zp. Petr., 307); «kuchlanka, dlouhý široký kožich s rukávy» (Matuš., 58);

б) указывающие общее, родовое понятие: «v damaškové dušehrejce (zvláštní kabátek)» (H. B., 33); «ovčí tulup (kožich) na sobě» (Zp. Petr., 307); «Na dlouhé, ouzké, ale velmi lehké nartě (druh saněk)» (Matuš., 58);

в) дающие чешское словарное соответствие: «Pirohy (skládanice) chutnají mu lépe» (Zp. Petr., 308); «ruskou ňáňušku (chůvu)» (H. B., 33); «po pravé straně stojí... „dači“ (letohrádky)» (Kotl, 268); «ruskou plesku (tanec) tančí» (H. B., 47); «hosudarju (císaři) přináleží, a ne pánům» (Kotl, 260);

г) дающие немецкое словарное соответствие: «křepostní (Leibeigene)» (H. B., 161); «před námi na kousku sena jemščik (prostý sedlák bez uniformu, postilion)» (H. B., 153); «na uhlu Maškova pereuloku (Seitengasse)» (Kotl, 283); «Tři rakouské a tři ruské rohatky (Schlagbäume) na člověka číhají» (H. B., 138).

В произведениях Ф. Л. Челаковского и К. Гавличека-Боровского представляют большой интерес подстрочные комментарии к русизмам-экзотизмам. В этих примечаниях не только раскрывается содержание обозначаемых ими понятий, например: Aršín — loket ruský» (OPR, 8); «klíros — místo, kde jsou zpěváci» (H. B., 14), — но и даются краткие сведения о той или иной реалии русской жизни, например: «Večeřinky — schůzky podobné našim přástvám, kde práce večerní se krátí zpěvem, žertem, povídkami a t. p.» (OPR, 74). В то же время комментарии к отдельным словам у этих писателей могут служить поводом для высказывания политических оценок. Так, обращает на себя внимание комментарий Ф. Л. Челаковского к выражению ataman kruhu kozackého (OPR, 75), который составлен на основании статьи Б. Сухорукова «О внутреннем состоянии донских казаков в к. XVI столетия», опубликованной в журнале «Соревнователь просвещения и благотворения» за 1824 год. Челаковский здесь с симпатией отмечает эле-

менты демократизма в казачьем устройстве: «Každý kozák měl tuto hlas svobodný».

С. Б. Никольский подчеркивает, что «именно примечания очень часто и служат Челаковскому средством выражения и пропаганды затаенных идей и взглядов, которые могли вызвать репрессии цензуры» [69, *338*]. У Гавличека примечания к отдельным словам обыгрываются в сатирических целях. См., например, комментарий к русизму duše в значении ‘крепостной’: «В России крестьяне именуются душами. Вместо вопроса, как богат этот господин, русские задают такой: сколько у него душ? Эта фраза имеет как бы сатирический смысл, так как отрицает душу у господ. Ведь если кто-нибудь имеет 100 крестьян, то о нем не говорят, что он имеет 101 душу, а только 100, как будто бы сам он никакой души не имеет» (Н. В., 118—119).

Таким образом, функциональное использование русизмов в художественной и научной литературе начала XIX в. было весьма разнообразным. Оно отвечало главным потребностям развития словарного состава чешского литературного языка периода его формирования как национального: служило обогащению фонда лексических выразительных средств и научной терминологии, способствовало очищению чешского языка от избыточных германизмов, а также имело значение для ознакомления чехов с жизнью и культурой русского народа.

Глава IV

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА ВКЛЮЧЕНИЯ РУСИЗМОВ В ЧЕШСКУЮ ЯЗЫКОВУЮ СИСТЕМУ

§ 1. Вводные замечания. Основными единицами классификации лексических и семантических инноваций, возникших под воздействием другого языка, являются, как известно, заимствования и кальки. Под заимствованиями обычно подразумеваются слова, воспринятые из другого языка в единстве их значения и материального оформления (хотя бы и с изменениями того и другого) [77, *117*; 58, *256*], под кальками — лексемы, копирующие морфологическую структуру чужого слова словообразовательными средствами собственного языка (словообразовательные кальки) или воспринимающие значение чужого слова с соотносительной морфологической структурой (семантические кальки). Известно также, что кальки представляют собой крайне неоднородное явление, трудно поддающееся внутренней классификации и отграничению от собственных, не зависимых от другого языка, образований [88; 91, *77 и сл* 5].

Что касается разграничения калек и собственно заимствований («подстановок» и «перенесений», по терминологии Э. Хаугена), то в большинстве случаев это как будто бы не является проблемой. Э. Хауген приводит лишь одну оговорку: «Основополагающее различие между перенесением и подстановкой часто бывает трудно провести в тех случаях, когда заимствование оказывается омонимичным какому-либо слову родного языка, например, в американском норвежском заимствованное слово fil (англ. field ‘поле’) омонимично норвежскому слову со значением ‘напильник’» **[**91, *78***]**.

Следует, однако, учесть, что современная теория заимствований и калек создана и развивается преимущественно на материале неблизкородственных языков.[83] Обращение же к результатам, в частности, межславянских языковых влияний сразу же выдвигает проблему разграничения указанных категорий. Так, субституция звуков, обычная при усвоении заимствованного слова, в случае взаимодействия близкородственных языков может означать в то же время и субституцию морфем, и тогда грань между заимствованием и калькированием оказывается размытой (например, чешские слова přímĕs, přívět, přízývati, возникшие под воздействием соответствующих русских: *примесь, привет, призывать,* можно, вероятно, рассматривать и как лексические заимствования с заменой русского мягкого *р’* чешским *ř*, русского *ы* чешским *ý* и т. д., и как кальки, в которых русской приставке *при-* соответствует чешская pří-, а корневым, морфемам *-мес-, -вет-* и *-зыв-* чешские морфемы того же происхождения, что и русские).

Проблема усложняется еще и тем, что заимствование из русского языка происходило не спонтанно, устным путем, а являлось, по существу, актом сознательного филологического творчества. Отсюда глубокое проникновение в морфологическую структуру заимствуемого слова, стремление обнаружить признаки русского и чешского языкового родства и опереться на них при адаптации слова.

Сохранилось интересное свидетельство подхода чешских будителей к заимствованию из родственных славянских языков — предисловие Й. Юнгмана к стихотворению одного словацкого поэта, где он пишет следующее: «Косностью мысли можно объяснить упреки, раздающиеся в наши дни по адресу тех, кто наш превосходный, но в известном смысле запущенный язык стремится обогатить и облагородить из славянских источников. Хотят якобы „ополячить” и „обрусить” его. Это не так, друг мой, его хотят „ославянить” — там, где он перестал быть славянским. Объяснимся более понятно. Только тот, кто пытается заниматься точными науками и литературой, знает, как недостает нам научных и литературных слов. Создавать новые слова опасно из-за трудности науки о языке, а брать

---

[83] Исключением является длительная традиция изучения элементов старославянского языка в русском, но рассматриваемые здесь явления весьма специфичны.

их от других славян и не трудно и полезно, только вопрос — как это делать? Мы не можем одобрить смешивания форм разных наречий. Например, неправильно было бы заменить наше латинско-немецкое punkt русским словом točka, так как широкий гласный *o* в этом слове является признаком русского языка. Но если мы заменим его словом tečka (деминутив от неупотребляемого, но возможного tka, ср. důtka, půtka и т. д.), то слово уже будет иметь чешский характер: таким образом, мы слово punkt богемизируем, а отнюдь не русифицируем. Также и русские, если бы захотели вместо своего... „обсерватория" взять наше hvězdárna, сообщили бы ему русский характер: zvězdárnia. Если же слово не имеет особых признаков своего наречия, как, например, sopka, то не вижу причин не использовать его в том же виде, как у русских, тем более, что у нас хорошо известны родственные слова: soptati и т. д.» (Krok, 1822, 10—11).

Таким образом, Й. Юнгман призывал преобразовывать заимствуемые из славянских языков слова в согласии с историческими соответствиями этих языков, что и проводилось с достаточной последовательностью на практике. Так как при этом устанавливалось соответствие между морфемами родственных слов, то можно говорить здесь о явлении калькирования. Круг собственно заимствований суживается, вероятно, лишь на те случаи, когда внутренняя форма и словообразовательная структура воспринимаемого слова затемнены (например, buhor, mys, kabala, kamyš, klikva и т. п.). Заметный слой этой лексики составляют слова неславянского происхождения, воспринятые через русское посредство, например arbuz, bergamot, busurman, našatýr, skypidar и др. Процент таких слов среди лексики, воспринятой из русского языка, сравнительно невелик, что и понятно: мотивированность корня и аффиксов лежала в основе всей словотворческой деятельности будителей: она была главным признаком славянского характера лексики, противопоставляемым немотивированности германизмов.

Конечно, степень мотивированности слов, воспринимаемых чешским из русского, была различной. Здесь были и слова с ясной для чеха внутренней формой (например, běloručka, bezumec, dušehubitel; ботанические термины bělanka, bělokopytník, hrachovník, hřeběšek и др.), но воспринимались и слова с менее ясной или неясной внутренней формой (например, brositi, retivý, šutka, lakušník (лягушник) и др.). Они представляют собой своеобразные полукальки, где основа (корень) заимствована, а суффиксы осознаются как элементы словообразовательной структуры собственного языка, так как они совпадают в обоих языках.

Таким образом, русизмы, проникшие в чешский литературный язык в результате сознательной деятельности чешских будителей начала XIX в., могут быть разделены на: 1) собственно заимствования (непроизводные и деэтимологизированные слова); 2) полукальки (слова, близкие чешским по

своей структуре, но содержащие «непереведенный» корень) и 3) кальки (в том числе и семантические).

Возможность выделения в нашем материале указанных категорий не означает, однако, целесообразности использования их в конкретном анализе. Такое общее деление не удовлетворяет уже и при исследовании процессов заимствования из неблизкородственных языков. Поэтому, например, Э. Хауген предлагает рассматривать всякое заимствование как включающее элемент перенесения и элемент подстановки. Все черты сходства между языком — источником заимствования и заимствующим языком он называет перенесением, а все различия — подстановкой материала заимствующего языка [90]. Такой подход позволяет более гибко и подробно описать все типы приспособления, выражающегося в том, что «говорящий выбирает из числа своих языковых навыков такой, который можно подставить вместо сходного элемента заимствуемой единицы» [90, 351]. Для нас очень важен следующий вывод ученого: «Результаты этого, обычно бессознательного, процесса свидетельствуют о том, что, хотя во многих случаях выбор может принимать довольно причудливые формы, общая тенденция вовсе не является беспорядочной. Не формулируя этого в явном виде, носители языка производят, грубо говоря, лингвистическое сопоставление двух языков» [там же].

Если даже при спонтанных процессах заимствования, происходящих в условиях массового двуязычия,[84] обнаруживается регулирующая роль своеобразного «лингвистического сопоставления двух языков», то еще сильнее она должна проявиться при сознательном отборе и обработке заимствуемой лексики, которые имели место в изучаемых нами процессах. Стремление приспособить воспринимаемую русскую лексику к «духу чешского языка» проявлялось очень многогранно, на всех уровнях слова: фонетическом, структурном и семантическом. Характер подстановок отражал также и другие тенденции будителей, например, усилия возродить древнеславянские формы и значения, уже утраченные или не развившиеся на чешской почве. При этом их представления об исконности тех или иных форм, о первоначальности или древности того или иного значения порой бывали ошибочными, что не могло не отразиться на форме и употреблении усвоенного русизма. Сложные и прихотливые явления, обусловленные всеми этими факторами, не могут быть достаточно полно и подробно охарактеризованы в рамках деления русизмов на собственно заимствования, полукальки и кальки, поэтому целесообразно рассмотреть материал с точки зрения характера субституций на разных уровнях слова, от фонетического до семантического, а также характера перенесений.

---

[84] Э. Хауген наблюдал речь носителей американских диалектов норвежского языка.

§ 2. Подстановки на графическом и фонетическом уровнях.

Рассматривая типы субституций, относящихся к фонетическому облику заимствуемых слов, необходимо учитывать, что последние входили в чешский язык книжным путем, причем у большинства будителей, особенно первого поколения, не было сколько-нибудь ясного представления о реальном русском произношении. Поэтому подстановки производились не на основании сопоставления произносительных характеристик тех или иных звуков, а лишь с учетом исторически закономерных соответствий в русском и чешском языках.

Так, в области гласных учитывалась прежде всего разница в рефлексах исчезнувших общеславянских редуцированных и ятя. В соответствии с чешским рефлексом редуцированного гласного заднего ряда произведена, например, подстановка звука *е* на месте русского *о* в следующих словах: ležný (JS II, 312)[85] — *ложный*, tečka (JS IV, 559) — *точка*, teska (JS IV, 547) — *тоска*, výzev (JS V, 349) — *вызов*; в приставках vervati se (ČČM, 1833, 402) — *ворваться*, vezvýšiti (JS V, 90) — *возвысить*; в суффиксе: postupek (ČČM, 1839, 249) — *поступок*, samorodek (Kotl., 265) — *самородок*, snímek (JS IV, 210) — *снимок*, svitek (Čel., 31) — *свиток*, účastek (JS I, 29) — *участок* и др. К этим примерам примыкает и подстановка звука *е* в слове vet, употребленном в Краледворской рукописи.

М. Комарек пишет об этом: «При возникновении слова vet влияние русского языка проявилось особенно интересным образом: гласный в русской форме *вот* был ошибочно принят за рефлекс «ера» и поэтому при заимствовании слова неправильно заменен гласным *е*, так как *о* в русском *вот* является исконным звуком...» **[**148, *244***]**.

Звук *е*, развившийся из былого ѣ, имеет в чешской графике обозначение ě, если он стоит после губных согласных, а также после переднеязычных ď, ť, ň, что сигнализирует о наличии особенностей произношения этих согласных в данном положении. В соответствии с этой буквой ě обозначается рефлекс ѣ и в словах русского происхождения. Графическая и фонетическая подстановка в данном случае определяется установлением тождества корней заимствуемого и исконно чешского слов. Ср. подстановку в нескольких общеславянских корнях, выступающих в заимствованиях из русского: **běl**-: běloručka (JS I, 92) — *белоручка*, běluha (JS I, 93) — *белуга*, proběl (Č. vč. 1835, 331) — *пробел*; **děl**-: úděl (JS I, 31) — *удел*, udělný (Šaf. Slov. starož., 230) — *удельный*; **hnět**-: uhnětatel (JS IV, 720) — *угнетатель*; **měr**-: bezměří (JS I, 110) — *безмерие*; **pěv**-: nápěv (JS IV, 595) — *напев*, přípěv (JS III, 596) — *припев*, zápěv (JS V, 518) — *запев*; **věr**-: bezvěr (JS I,

[85] В скобках приводится указание на источник, в первую очередь — на Словарь Юнгмана. Ссылки на другие источники даются лишь в том случае, если слово не отражено в данном словаре.

117) — *безвер*, blahověrný (JS I, 131) — *благоверный*, jinověrný (JS I, 619) — *иноверный*, и др.

Традиционная черта чешской орфографии — особое обозначение на письме *i*, восходящего к общеславянскому *у(ы)* — была использована при заимствованиях из русского слов, содержащих звук *ы*. Так, например, в соответствии с русским *ы* появляется буква *у* в следующих словах: bohatýr (JS I, 155) — *богатырь*, kamyš (JS II, 21) — *камыш*; mys (JS II, 522) — *мыс*, poryv (ČČM, 1838, 240) — *порыв*, pyl (JS III, 771) — *пыль*, unylý (JS IV, 761) — *унылый* и др. Ориентация на традиционную орфографию, отражавшую в некоторых чертах былую общность, фонетических явлений чешского и русского языков, проявилась, в частности, в том, что после заднеязычных согласных в заимствованиях из русского подставлялась буква соответствующая былому *у (ы)*. Например: kynžal (JS II, 246) — *кинжал*, kyparis (JS II, 246) — *кипарис*, kyrilice (JS II, 247) — *кириллица*, kyška (JS II, 249) — *кишка*, mohyla (JS III, 486) — *могила*, pohybel (JS III, 230) — *погибель*, rakytník (JS III, 789) — *ракитник* и др.

Фонетические подстановки в русских заимствованиях связаны также с приспособлением к тем чешским явлениям, которые возникли в результате исторических перегласовок в (после мягкого согласного — в конце слова или перед следующим мягким), *и* в *i* (после мягкого согласного). Поскольку данные фонетические законы перестали действовать за несколько веков до рассматриваемого нами периода, налицо и здесь сознательные усилия будителей придать вводимым русским словам такую форму, которая не содержала бы сочетаний звуков, уже не характерных для чешского языка. См. подстановки в словах: ještík (JS V, 898) — *ящик*, lišejník (JS II, 337) — *лишайник*, štěditi (JS IV, 505) — *щадить*, klikva (JS II, 71) — *клюква*, slida (JS IV, 149) — *слюда*, а также в словах, включающих в себя корень lib- (люб-)*:* boholibec (JS I, 156), člověkolibec (JS I, 308), dušelibec (JS I, 509) и др.

Долгота гласных в заимствованиях из русского языка появляется в приставках и суффиксах — в соответствии с закономерностями, свойственными исконно чешским словам подобного образования. См. долготы префиксальных гласных в словах, образованных от глагольной основы: nápěv (JJS II, 595), náplyv (Šaf. Slov. starož., 554), příboj (JS III, 545), příliv (JS III, 582), výstřel (JS V, 354) и др.; долготы в префиксах и суффиксах существительных отыменного образования: nábradník (JS II, 540), nálebník (JS II, 579), záštitník (JS V, 567), příbřeží (JS III,545).

В области согласных отмечается последовательная передача русского *г* чешским h: bahulník (JS I, 62), buhor (Šaf. Slov. starož., 415), horečka (JS I, 728), hornice (JS I, 732), hrabež (JS I, 742), rohatka (JS III, 841), rozhrom (JS III, 878), strohý (Mar., 81) и т. д.

Довольно последовательна подстановка ř на месте русского мягкого *р'*. Например: řebčík (JS III, 804) — *рябчик* (35 V, 180), vřemě — *время,* vstřetiti (35 V, 200) — *встретить* и т. п.

Если можно наблюдать отклонения от этого правила в некоторых словах с затемненной внутренней формой (chrebet (Balbi, 20), biruza (JS I, 126), retivý (JS III, 820), reveň (JS III, 820) и др.), то без исключения оно действует в области префиксов (předsedatel (JS III, 474), předsloví (JS 111, 474), předvěstník (ČČM., 1838, 241), přehovory (Kor. Šaf. — Pal, 80), příčeska (ČČM, 1846, 509), příliv (JS III, 582), přístojný (JS III, 624), přítvorný (JS III, 637) и т. д.). В этом случае фонетические подстановки снова смыкаются со словообразовательными: будители имели четкое представление о соотнесенности чешских и русских морфем před- и *перед-/пред-*, pře- и *пере-/пре-*, při- и *при-*.

Мягкий *р* в суффиксах передается не так последовательно: bukvař (JS I, 202), slovař (JS IV, 156), kozýř (JS II, 153), mizhýř (JS II, 459), но bohatýr (JS I, 155), suchar (JS III, 375).

Из других последовательных фонетических субституций отметим еще сочетание šť на месте *щ* в русских словах: běsovština (JS I, 103) — *бесовщина*, bezuštěrbný (JS I, 116) — *ущербный*, bezzáštitný (JS I, 117) — *беззащитный*, břehoviště (JS I, 179) — *береговище*, ještík (JS I, 117) — *ящик*, kladbiště (Šaf. Slov. starož. 415) — *кладбище*, učiliště (JS IV, 699) — *училище*, zřeliště (ČČM, 1839, 372) — *зрелище*, ženština (JS V, 841) — *женщина*, žiliště (Dennice, 1825, 103) — *жилище* и др.

При заимствовании слов с корнями, восходящими к общеславянским сочетаниям гласных с плавными между согласными (*tort, *tolt, *tert, *telt) и редуцированных с плавными между согласными (*tъrt, *tъlt, *tьrt, *tьlt), проводилось приспособление этих корней к форме, исторически закономерной для чешского языка. Например: bezbradý (JS I, 104) — *безбородый*, břehoviště (JS I, 179) — *береговище*, břesta (JS I, 180) — *береста*, mražené (Č. vč., 1835, 10) — *мороженое*; ср. также: bezkrví (JS I, 109) — *бескровие*, bezsmrtí (JS I, 130) — *бессмертие*, blahosrdí (JS I, 130) — *благосердие*, država (Purk. Kor., 2) — *держава*, hrdec (JS I, 751) — *гордец*, mrština (JS II, 505) — *морщина*, přivrženec (Šaf. Slov. starož., 477) — *приверженец*, svršenstvo (JS IV, 422) — *совершенство*, tlupa (JS IV, 602) — *толпа*, vztrh (JS V, 422) — *восторг* и др.

Следы лингвистического подхода при адаптации заимствований этого типа ясно видны на примере прилагательного plzný, которое не раз встречается в поддельных рукописях, а также среди поддельных глосс словаря Mater verborum. Автор заимствования, В. Ганка, ошибочно возводил основу русского слова *польза* к общеславянскому *pъlz — и в соответствии с таким пониманием нашел «закономерную» чешскую форму со слогообра-

зующим *l*.[86] Данный пример — один из первых бесспорных русизмов, обнаруженных в тексте Зеленогорской и Краледворской рукописей [184, *46*].

В этой связи интересна также история усвоения русского слова *морж*, которое по форме сходно с рефлексами общеславянских сочетаний типа *tьrt.[87] Колебания Й. Юнгмана в определении основы этого слова, а следовательно, и формы его передачи на чешском языке, отразились в Словаре. Строя соответствующую статью на основании цитат из сочинений Пресла и Матюшкина, в которых слово употреблено в неизмененной форме morž, Юнгман предлагает в заглавии статьи, правда, со знаком вопроса, и «закономерную» форму: «**Morž** (mrž?) (*rus*.) Trichechus, živočich teplokrvný ze ssavců» (JS II, 492). Впоследствии в чешском языке закрепилась форма mrož, впервые возникшая также в рассматриваемый нами период (mroži — trichechus — Svět, 34).

§ 3. Подстановки на словообразовательном уровне.

Рассмотренные выше подстановки на графическом и фонетическом уровнях слова свидетельствуют о том, что, как уже было сказано, при адаптации русизма решающим моментом было установление закономерных соответствий между родственными явлениями в графике и фонетике русского и чешского языков и обусловленный этим соответствием выбор чешской формы. Родоначальником такого подхода был, несомненно, Й. Юнгман. Он указал на него и в своем знаменитом труде «Словесность» (1820). Так, раскрывая понятие правильности речи, Юнгман выдвигает в качестве одного из требований, чтобы употреблялись «слова *чешские,* т. е. взятые из неиспорченной речи или из хороших сочинений; недостаток же их покрывают инославянские слова с небольшим изменением (parce detorta), например, nářečí из русск. narečie = dialectus» (JS I, s. X).

Этот же принцип четко проявляется и на словообразовательном уровне заимствуемых русизмов, где подстановки зачастую могут быть охарактеризованы и как фонетические. Так, в приведенном Юнгманом примере адаптации русского *наречие* мы наблюдаем замену конечного элемента слова *ие* на *i*, которая отражает историческое изменение общеславянского *ьje, в результате процессов стяжения гласных и последующего «сужения» дифтонга ie. Вместе с тем í для чешского языка нового времени выступает уже как суффиксальный формант существительных среднего рода типа stavení, znamení, mládí, stáří и т. п. Таким образом, устанавливается соответствие суффиксов: *-ие/-ье* — -í. Этим суффиксом оформляются заимствуемые русские существительные, образованные суффиксально-

---

[86] Как известно, в действительности русское *польза*, заимствованное из старославянского языка, восходит к ро- и *lьga [200, III, *321*].

[87] В действительности русское *морж* заимствовано из финского языка. [200, II, *655*].

префиксальным способом от именных основ: bezbolí (JS I, 104) — *безболие*, bezboží (JS I, 104) — *безбожие*, bezdělí (JS I, 110) — *безделие*, bezlidí (JS I, 10) — *безлюдие*, podnebesí (Čel., 103) — *поднебесье*, předvěří (ČČM, 1838, 179) — *преддверие*, přímoří (JS III, 588) — *приморье* и многие другие.

Этот же суффикс выступает в многочисленных сложных словах русского происхождения: blahoduší (JS I, 129) — *благодушие*, lukomoří (Šaf. Slov. starož., 367) — *лукоморье*, mnoholetí (JS I, 474) — *многолетие*, plnoluní (JS III, 122) — *полнолуние*, rovnoduší (JS III, 853) — *равнодушие*, snovidění (ČČM, 1839, 87) — *сновидение* и др. Из закономерных подстановок на словообразовательном уровне следует особо отметить субституцию приставок vy- на месте русской *из-* и roz- на месте *раз-*. Она опирается на известное положение Й. Добровского, который выделил десять признаков (фонетических, словообразовательных и лексических), позволяющих разделение славянских языков на две группы: северо-западную и юго-восточную. В числе этих признаков, по которым русский и чешский языки оказываются, противопоставленными, Й. Добровский приводит соотношение *изъ-*/*вы-* и *разъ-*/*розъ-* **[**131, *117*]. Оставляя в стороне вопрос о правомерности и точности выделения данных различительных признаков **[**20, *14*; 55; 130, *19*; 7**]**, отметим, что для чешских будителей это положение служило авторитетным руководством при лексическом заимствовании из русского языка. Последовательность передачи русских приставок *из-* и *раз-* чешскими соответствиями vy- и roz- лишний раз свидетельствует о научном подходе к обогащению чешского словарного состава.

Приведем несколько примеров указанных субституций. Заметное место занимают в области новой отвлеченной лексики слова с основой vyobraz-, возникшие в результате перевода соответствующих русских слов с основой *изобраз-*. Первый такой пример находим уже в юнгмановском переводе «Аталы»: «Vyobrazuje si luhy» (JA, 16) — «Я изображал себе леса» (H. P., 18). Ср. также: «Vnadné milé líce její zdály se býti živým vyobražením duše» (R. a V., 66) — «Прелестное милое лицо ее казалось живым изображением души» (P. и B., 46). Другие примеры: vyklíčiti (Krok, 1828, 555) — *исключить*, vyplnění (R. a. V., 78) — *исполнение.*

Примеры подстановки roz-: rozbojník (JS III, 858) — *разбойник* (исконно чешское — zbojník), rozbohatěti (JS III, 858) — *разбогатеть*, rozčet (JS III, 861) — *расчет*, rozkolník (JS III, 884) — *раскольник*, rozladiti (JS III, 889) — *разладить*, rozpoloženi (JS III, 908) — *расположение*, rozpotěšiti (JS III, 909) — *распотешить*, rozprostraniti (JS III, 9 1 1) — *распространить*, rozrušitedlný (JS III, 917) — *разрушительный* и др.

В целом подстановки на словообразовательном уровне, видимо, не характерны для процессов заимствования из родственных языков ввиду совпадения в них репертуара основных словообразовательных средств.

Гораздо большее значение имеют те процессы, которые приводят к изменениям в соотношении продуктивных и менее продуктивных словообра-

зовательных типов и к другим сдвигам и перегруппировкам внутри словарного состава принимающего языка под влиянием новых лексических поступлений из родственного языка.

Рассмотрим с этой точки зрения прилагательные и существительные с приставкой bez-.

Тип производных образований с bez- свойствен всем славянским языкам, но в XIX в. он оказался представленным в них неодинаково. К общим чертам можно отнести то, что образования с bez- преобладают в группе имен прилагательных, реже встречаются у существительных (если не считать существительных на -ost, образованных от основы прилагательного) и почти не представлены среди глаголов и наречий [71, *195*]. Прилагательные с bez- четко разделяются на две группы: 1) бессуффиксные, представляющие адъективацию сочетания из предлога bez и существительного с конкретным значением (ср. рус. *безрукий*, *беззубый*, *бесхвостый* и т. п.); С. П. Обнорский считает данную группу рассматриваемых прилагательных старшей по происхождению [71, *196*]; 2) прилагательные, образованные с помощью суффикса -n-. В их основе лежат существительные преимущественно абстрактного значения (ср. рус. *безудержный*, *бесстрашный*, *бесспорный* и т. п.). По своему происхождению этот тип восходит, вероятно, к старославянскому языку: он особенно широко представлен в переводных текстах, возникших на базе греческой письменности. Впоследствии данный тип получил в русском языке значительную продуктивность; в качестве основы стали использоваться и существительные конкретного значения, а префиксы *без-* и *не-* в соотносительных прилагательных разошлись по значению (‘лишенный признака’ — ‘не обладающий признаком’) [71, *199 и сл.*].

В древнечешском языке представлены оба указанных типа прилагательных с bez-, однако их число было весьма ограниченным [126, *127 и сл.*]. В период становления национального литературного чешского языка, как показал Б. Гавранек, произошел заметный рост образований с префиксом bez-, главным образом суффиксальных. Основой для этих неологизмов зачастую служили польские и русские образцы [126, *128*]. Так, в Словаре Юнгмана приведены следующие прилагательные с приставкой bez- русского происхождения (JS I, 104 и сл.):

1) бессуффиксные: bezboký, bezbřichý, bezbrvý, bezchvostý, bezpažitý, bezustý;

2) суффиксальные: bezbolný, bezcenný, bezčlověčný, bezdanný, bezdarný, bezdveřný, bezesporný, bezhlaholný, bezhlasný, bezhvězdný, bezchlebný, bezkořistný, bezlidný, bezlunný, bezměstný, bezmluvný, bezoblačný, bezobrazný, bezplemenný, bezporočný, bezpřestanný, bezpříčinný, bezpříkladný, bezrodný, bezrozsoudný, bezřemeslný, bezsilný, bezslavný, bezsledný, bezsmrtný, beztrudný, bezúspěšný, bezuštěrbný, bezutěšný, bezvážný, bezvěstný, bezvěstný, bezvlastný, bezvlažný, bezzástupný, bezzáštitný, bezzračný, bezzvonný.

Несмотря на то, что многие из указанных образований, которые отражены в Словаре Юнгмана, не стали употребительными или вышли впоследствии из употребления, тип в целом не утратил своей продуктивности до наших дней **[**126, *129***]**.

В Словаре Юнгмана можно обнаружить стремление оживить и тип отвлеченных существительных с префиксом bez- и суффиксом -í. К десятку древнечешских образований данного типа Й. Юнгман прибавляет ряд русизмов:[88] bezbolí, bezboží, bezbuří, bezčestí, bezčlověčí, bezdělí, bezdeští, bezduší, bezeslaví, bezestrastí, bezhnění, bezkrví, bezlidí, bezměří, bezmluví, bezobrazí, bezplodí, bezrodí, bezrozumí, bezsilí, bezsmrtí, bezumí, bezvětří, bezvlasti.

Однако, в отличие от прилагательных с bez-, этот тип не получил широкого развития. Об этом может свидетельствовать сопоставление данных образований в Словаре Юнгмана и словаре современного литературного чешского языка (SSJČ): в первом из них приведено около 40 существительных указанного типа, во втором — 24, причем только 5 слов не имеют помет, свидетельствующих об уходе их из живого употребления (книж., поэт., редк., арх.).

Заметно выросла продуктивность и бессуффиксальных существительных мужского рода. Речь идет о бесприставочных н приставочных отглагольных образованиях, восходящих к индоевропейскому корневому тематическому типу **[**60, *273 и сл.***]** и распространенных во всех славянских языках. Общее значение этих существительных — отвлеченное действие или его результат. Как и в других славянских языках, существительные данного типа развивались в тесных синонимических отношениях с глагольными существительными на *nьje, *tьje (чеш. -ní, -tí), отличающимися большей регулярностью образования и проявлением глагольного значения процессуальности (ср. kopnutí — kop, dovezení/dovážení — dovoz, pobytí/pobývání — pobyt **[**182, *571***]**. В различные периоды развития чешского литературного языка распространенность обоих типов была неодинаковой. Так, для XIII в. и следующих тип на -ní, -tí был наиболее заметным в области существительных с абстрактным значением [127, *20*]; в начале же XIX в. он стал вытесняться в художественной речи и научном стиле бессуффиксными образованиями, которые приобретали в этот период стилистическую окраску возвышенности [127, *117 сл.*]. Тогда же рассматриваемый тип пополнился целым рядом русизмов. В Словаре Юнгмана они обычно толковались однокоренным синонимом с суффиксом -ní или -tí. Например: polet — poletění (JS III, 264), posev — posetí (JS III, 325), rozkvět — rozkvětení (JS III, 888), rozliv — rozlití (JS III, 891), rozpis — rozepsání (JS

[88] В русском языке многие из слов данного типа относились к книжным образованиям, в частности, использовались для передачи в переводах греческого слова [19, *219*].

III, 905), rozplisk — rozplisknutí (JS III, 906), výstřel — vystřelení (JS V, 354), výzev — vyzvání (JS V, 394).

Среди рассматриваемых существительных выделяется яркой стилистической окраской группа односложных безаффиксных слов: bol, lad, rept, ryk, rysk, sten, žar, žel. Степень влияния русского языка на их появление различна: наряду с прямыми заимствованиями (bol, lad, žar, žel) здесь имеются и существительные, созданные от основ собственных глаголов, но с опорой на русский образец. К ним относится, например, слово rept. См. способ его подачи в Словаре Юнгмана: rept (*rus.* ropot...) — reptání (JS III, 817). В этой же словарной статье Юнгман демонстрирует и саму словообразовательную операцию, приводя ряд аналогичных образований: «rept — reptám, šept — šeptám, řeht — řehtám a t. d.» (там же).

Обращает на себя внимание форма ryd, отсутствующая в русском языке. Она отмечена в Mater veborum и, несомненно, связана с глаголом rýdati, который в значении ‘громко, горестно плакать’ был заимствован из русского А. Мареком (Mar., 140).

Сложные слова, которые в славянских языках вообще более характерны для книжной речи **[**60, *300***]**, составляли заметный слой новой чешской лексики в художественной и научной литературе первой половины XIX в. Источником для многих из них явился русский литературный язык, где существовала прочная традиция их употребления, усиленная переводами церковных текстов с греческого на славянский. Т. Б. Лукинова, изучавшая использование сложных слов в чешском языке, считает, что ориентация на русскую литературу во многом обусловила вспышку продуктивности сложных слов, прежде всего прилагательных-эпитетов, в чешской литературе эпохи национального возрождения, в частности в поддельных Краледворской и Зеленогорской рукописях, произведениях Й. Юнгмана, А. Марека, Й. Линды, Я. Коллара и др. **[**54, *221***]**.

Мы остановимся лишь на тех словах, которые непосредственно связаны с русским словоупотреблением.

Среди композита, имевших особенно широкое распространение в высоких жанрах русской литературы XVIII в., исследователи отмечают и сложные слова с первым компонентом *благо-* **[**74, *149 и сл.***]**. Около 400 таких слов (включая производные) зафиксировано уже в памятниках древнерусской письменности **[**198, *192—231***]**.

В чешском языке до периода национального возрождения была известна только форма blahoslaviti со своими производными. Словарь древнечешского языка Я. Гебауэра отмечает: blahoslavenie, blahoslavenstvie, blahoslavie, blahoslaviti, blahoslavník, blahoslavnost, blahoslavovati (GS I, 59). Глагол blahoslaviti относится к числу лексических старославянизмов в

чешском языке, причем исконная форма blagosloviti[89] (калька с греч. εὐλογεῖν) видоизменилась, контаминировавшись со словом sláva. **[**126, *292***]**.

На этом фоне представляется особенно внушительным материал Словаря Й. Юнгмана, где содержится 119 композит с первым компонентом blaho- (включая производные). О сознательном стремлении Юнгмана обогатить этими словами синонимический запас чешского языка говорит не только их количество в Словаре, но и пространный комментарий к словарной статье blaho-: «Сложением имен и глаголов со словом blaho славяне обозначают все, что разумно, достоверно, правдиво, что согласуется с разумом, достойно веры, а также то, что счастливо. Чехи сохранили в памяти сложное слово blahoslaviti. У других же славянских народов, особенно тех, которые пользуются кириллицей, таких слов, созданных по греческому образцу, имеется очень много. В этом за ними начинают следовать и чехи, которые до сих пор употребляли dobro- вместо blaho-, например, Dobroslav вместо Blahoslav» (JS I, 128). За счет русских заимствований Й. Юнгман создает ряд новых синонимических пар к собственно чешским сложным словам, с первым компонентом dobro-, которые в Словаре использованы как толкования русизмов: blahodětel — dobročinec, blahodušně — dobromyslně, blahomyslící — dobromyslný, blahonadějný — dobronadějný, blahosrdí — dobrosrdečnost, blahověst — dobrozvěst. Основа dobr- используется в толкованиях новых композит на blaho- и в других случаях: blahohlasí — dobrý hlas, blahohlasný — dobrý hlas mající, blahoštěstí — dobré štěstí, blahovoliti — dobře chtíti, blahovoní — dobrá vůně, blahovonný — dobře vonící, blahozvučný — dobrého zvuku (JS I, 129). С другой стороны, композиты с компонентом blaho- иногда используются для толкования слов на dobro-: dobropraví — blahozákoní, dobrořečiti — blahoslaviti, dobrorodný — blahorodný, dobroslaviti — blahoslaviti (JS I, 392—393). Синонимическое сопоставление основ blah- и dobr-, проведенное в Словаре Юнгмана, достигло своей цели: синонимические пары по этой модели создавались в течение всего XIX в., о чем можно судить по материалам академического словаря чешского языка: blahobyt — dobrobyt, blahočinnost — dobročinnost, blahopřejný — dobropřejný, blahořečiti — dobrořečiti (PSJČ I, 136—138, 445—447).

По функции сложные слова с компонентом blaho- преимущественно относятся к поэтизмам, хотя некоторые из них были использованы и в качестве терминов: blahodší в значении ‘благородность’ (как обязательный признак высокого стиля в литературе) (J. Slov. I, XVI), blahozvučnost (ČČM, 1827, 33), blahozvučí (Dobroslav, 1822, 31) в значении ‘эвфония, благозвучие’. А. Едличка отмечает, что в период национального возрождения

[89] О положительном отношении Й. Юнгмана к композитам см. у М. Гелцла [128, *57—64*].

терминологическое и поэтическое употребление слов с компонентом blaho- не было строго разграничено; в дальнейшем же они уходят из терминологической лексики [136, *60*].

Значительным числом русизмов пополнились и некоторые другие словообразовательные типы сложных слов, уже имевшие традицию употребления в чешском языке.

Так, более 20 сложных слов, существительных и прилагательных, пополнивших в Словаре Юнгмана разряд композит с первым компонентом boho-, восходят к русским источникам: bohodárný, bohojevení, bohohlasí, bohohněví, bohonosec, bohopodobnost, bohozvaný и др. Подобные образования известны и древнечешскому языку, см. отраженные в Словаре Я. Гебауэра формы: bohobojný, bohochvalnost, bohomilovník, bohomluvnost, bohomyslný — всего около 15 (GS I, 77—78). Однако древнерусская традиция в этом смысле гораздо богаче: «Словарь русского языка XI—XVII вв.» приводит свыше 100 сложных слов с постоянной частью *бого-* [198, *255—257*; *260—268*]. В русском языке эти образования создавались первоначально в переводах с греческого по образцу греческих слов на θεο- [84, *160—196*]. Они особенно характерны для стиля тех авторов, которые были под большим влиянием греческой письменности, например Максима Грека [35, *193 и сл.*]. Это обстоятельство вероятно, осознавалось Юнгманом (см. его комментарий к слову bohomodlec: «Это и другие такие слова распространены и любимы у славян греческой веры». — JS I, 156), поэтому вводимые им в свой Словарь новые сложные слова с компонентами blaho-, boho- призваны были не только обогатить литературную чешскую лексику, но и сблизить литературные традиции чешского и тех славянских языков, которые в прошлом были ориентированы не на латинские, а на греческие тексты.

К типам сложных слов, связанных с греческой и старославянской письменной традицией, относятся также заимствованные композиты с первым компонентом duše- и vše-.

Тип сложных слов с первой частью duše- в древнечешском языке отсутствовал (ни одного примера в Словаре Гебауэра). В Словаре же Юнгмана зарегистрировано 24 таких образования; все они без подтверждающих иллюстраций, а при 11 словах имеется помета *rus. eccl.*: dušehubitel, dušehubitelný, dušehubstvo, dušehubitelstvo, dušelibec, dušenenávistný, dušenenávistník, dušenenávidec, dušesloví, dušespasitel, dušespasitelný. Все эти слова, за исключением термина dušesloví ‘психология’, были предназначены для использования в качестве поэтизмов, но почти не употреблялись чешскими литераторами. В академическом словаре чешского языка отмечены — как редкие образования — только четыре лексемы данного типа: dušehubný, dušejemný, dušemorný, duševroucí (PSJČ I, 595—596). Зато известное развитие этот тип получил в терминологизированной лексике, связанной с психологией. См. приведенные в указанном словаре примеры:

dušeanalitický ‘психоаналитический’, dušemalba ‘описание внутреннего мира человека’, dušepis ‘описательная психология’, duševěda, dušesloví ‘психология‘, duševědný, dušeslovní ‘психологический’, duševědec, dušezkumec, dušeznalec, dušezpytec ‘психолог’ и др. В целом можно констатировать, что тип сложных слов с первой частью duše- вошел в словарный состав литературного чешского языка.

Композиты с первой частью vše- достаточно известны в древнечешских текстах и в литературном языке начала XIX в., так что неологизмы русского происхождения представляют собой, скорее, некоторое количественное пополнение данного словообразовательного типа.[90]

Особого внимания, однако, заслуживает существительное vesmír ‘вселенная, космос’, которое стало важным компонентом общелитературной лексики современного чешского языка.

Впервые это слово появилось в переводе «Потерянного рая» как соответствие русскому *всемирие* в переводе-посреднике, выполненном В. Петровым:[91]

В. П.	**JR**
магнитный луч, нежно согревающий всемирие (101)	magnetických paprsků… mile zahřívajících ves mír (90).

В других случаях В. Петров употребляет в этом значении субстантивированную форму *всемирная* (ср. современное *вселенная),* у Й. Юнгмана как соответствие этому находим всюду vesmír. При этом слово vesmír пишется то слитно, то раздельно, а в косвенных падежах каждая часть склоняется отдельно: všeho míra, všem mírem и т. д.[92] Таким образом, Юнгман как бы возрождает древнюю форму им. падежа местоимения (ves, ст.- слав. *вьсь*), которая (с меной s/š) сохранилась лишь для среднего рода (vše). Что касается второго компонента этого сложного слова — mír, то он к XIX в. в значении ‘свет, вселенная’ был уже прочно забыт. Это значение встречается лишь в древних чешских памятниках как отголосок старославянской языковой стихии (ср. употребление этого слова в духовной песне, восходящей к XI в.: «Hospodine, pomiluj ... Ty, Spase všeho míra, spasiž...» **[**165, *67***]**). Слово vesmír относится к тем юнгмановским неологизмам, которые были подхвачены литераторами-будителями и получили широкое распростране-

---

90 В современном чешском языке употребление слов этого типа очень ограниченно [68, *42*].

91 Правда, в Словаре Юнгмана как первое употребление этого слова указана чешская глосса из памятника XIII в. Mater verborum, однако данная глосса является поддельной.

92 Раздельное написание обоих компонентов этого сложного существительного (в косвенных падежах) сохранялось в литературном языке в течение долгого времени; оно отражено (с пометой «редкое») в современных толковых словарях чешского языка (PSJČ VI, 935).

ние как поэтизмы. Приведем некоторые примеры из произведений начала XIX в.: «...tu se vesmír znovu tvoří...» (Šaf. Básně, 85) (подстрочное пояснение Шафарика: «ves mír, universum, okršlek světa»); «do svatyně všeho míra...» (Pal. Básně, 40); «Takto pokojem potěšný || se raduje vesmír» (там же, 54); «Jejich vlast je jasná věčnost nad všemmírem rozložená» (Moh., 20).

Любопытно употребление существительного vesmír как соответствия русскому свободному сочетанию *весь мир* в переводе «Афинской жизни» Н. М. Карамзина: «Třetí vesmír a veškeré bytnosti jeho nicoucím nazývá výjevem» (Novor., 1824, 179) — «Третий [оратор] весь мир и все сущее в нем называет ничтожным привидением» (Аф. ж., 29). По образцу слова vesmír возникали и другие образования, правда, единичные: в стихотворении Свободы Наваровского, посвященном Й. Юнгману: «Ves tvor okřívá zas...» (Prvot., 166); у Винаржицкого: «není s ton i ves lid Dardanský» (ČČM, 1836, 255). Сочетания ves tvor, ves lid могли появиться лишь после того, как в литературе утвердились формы ves mír, vesmír.

Слово vesmír, как и его производное vesmírný, вошло и в терминологическую лексику (у Пресла: «tělesa nebeská... zlomky v prostoru vesmírnou rozhazují» — ČČM, 1833, 311) .

Наряду с прилагательным všemírný в текстах начала XIX в. встречается и форма vesmírný, созданная в очевидной зависимости от русского *всемирный.* Словарь Юнгмана, приводящий это слово с толкованием «všeho míra se týkající», иллюстрирует его одной цитатой из текста Ф. Л. Челаковского; кроме того, слово обнаружено в переводе с русского (jedna z nejznamenitějších událostí všemírného dějepisu — ČČM, 1859, 169). Форма všemírný зафиксирована и в академическом словаре современного чешского языка, правда с пометой «редк.» (PSJČ VI, 1226).

Из других сложных слов русского происхождения выделяются своей численностью типы с первой частью jedno-, jino-, malo-, mnoho-, samo- и некоторые другие.

§ 4. Особенности включения русских лексических заимствований начала XIX в. в чешскую словообразовательную систему.

Процесс оформления в чешском языке заимствуемых русских лексических элементов обнаруживает и на уровне словообразования немало следов и признаков сознательной регулирующей деятельности литераторов — проводников иноязычного влияния. Они проявляются прежде всего в том, что словообразовательные подстановки зачастую имеют характер, не мотивированный с точки зрения типичных русско-чешских соответствий; они свидетельствуют о словотворческих поисках «автора» заимствования и, как правило, не могут быть обнаружены без сопоставления контекстов первого употребления слова с соответствующими русскими источниками.

Приведем в качестве примера несколько неологизмов, созданных на основе русских слов Ф. Л. Челаковским.

Podarovánka — ‘подаренный предмет’ (в JS отсутствует): «růžová pentlice Jaroslavská, || podarovánka od mého milého» — русское соответствие: «лента алая ярославская, || *подареница* друга милова» (Sl. p. I, 123). Словарь Й. Юнгмана отмечает формы podarován (прич.), podarování (сущ.), которые могли стать базой для данного новообразования.

Oznoba — ‘милая, зазноба’: «Ty oznobo, ty oznobičko!» — «Ты *зазноба,* ты зазнобушка || Ты прилука молодецкая» (Sl. p. III, 123). В данном случае Ф. Л. Челаковский опирается на чешские формы oznobiti ‘обморозить’, oznobenina ‘обмороженное место тела’ (те же прямые значения отмечает В. И. Даль для русских слов *зазнобить* и *зазноба* **[**197, *I*, *579***]**).[93] Таким образом, проделана следующая, довольно сложная языковая операция: по образцу русского *зазноба* и на базе чешского oznobenina создана форма oznoba, которой сообщено значение ‘причина сердечных страданий; любимая’. Ход словотворческой мысли ясно раскрывается в Словаре Юнгмана в статье на слово oznoba (которая могла быть обсуждена и с самим Челаковским): «**oznoba**... (*rus.*) = oznobenina, Frostbeule eine erforne Stelle, Frostflecken. — *Fig.* Ty oznobo, oznobičko, ty přívabo mládenecká, krásná děvičko (*rus. orig.* = zaznoba, zaznobuška). Čel. pís. sl. III, 123». (JS II, 1028).

Vysílanec. В этом неологизме, подтвержденном в Словаре Юнгмана единственным примером из Челаковского, трудно распознать форму, созданную по образцу русского слова. Однако сопоставление текста перевода Челаковского «moji vysílanci, kalené střely» (Sl. p. I, 131) с приводимым им текстом оригинала (а рассыльщики мои, калены стрелы) показывает, что, таким образцом послужило существительное *рассыльщик*. Кроме подстановки более обычной приставки, Ф. Л. Челаковский в соответствии со смыслом образует слово от пассивной глагольной основы (см. оценку народного употребления существительного *рассыльщик* в Словаре Даля: «***Рассыльщик***, ***-щица***, кто рассылает что, кого; ошибочн. вм. ***рассыльный*** **[**197, *IV*, *51***]**).

Dometně — ‘метко’. Это слово, вероятно, единично употребленное, заслуживает внимания как одно из доказательств сознательного речетворческого подхода к заимствованию из родственного языка. Слово появилось в переводе повести О. Сенковского, выполненном Ф. Л. Челаковским: «[žena] trhala... kleštěmi nejohlazenější zloby; podtají uměle, dometně proražela ji zdaleka ostrotou pomsty» (Č. vč. 1835, 355) — «терзала клещами самой утонченной злобы; скрытно, искусно, метко поражала ее издали остротою мести» (Б. чт., 1834, 98). В подстрочном примечании Ф. Л. Челаковский

---

[93] Историю русского народного поэтизма *зазноба* (*зазноба* ‘обмороженное место’ < *зазноба сердца (сердечная)* < *зазноба* ‘любовь, любимая’) см. у Г. Ф. Одинцова [72, *117 и сл*].

объясняет свой неологизм: «Dometný — trefný». Вероятно, при образовании слова им руководило желание заменить славянской формой укоренившийся германизм.[94] Форма прилагательного trefný, может быть, повлияла на «производящую основу» неологизма наречия dometně (она должна была бы иметь форму dometný). Префикс имеет здесь предельное значение, а корень -met- отождествлялся Ф. Л. Челаковским с корнем чешского глагола metati ‘бросать, метать’. Это отождествление было, однако, ошибочным: русское *меткий* образовано от основы глагола *метить* ‘целиться’, неизвестного западнославянским языкам **[**200, *II*, *610*; 86**]**. Следовательно, новообразование Ф. Л. Челаковского не имело опоры в чешском языке, так как глагол metati не выражает значения достижения цели, а префиксальное образование dometati означает ‘заканчивать мести’; тем не менее слово отражает подход Челаковского к неологизированию.

Примером лексического русизма, очень затемненного в результате последовательного приспособления к чешской фонетической и словообразовательной системам, может служить слово šeřík ‘сирень’. Вероятно, никто не стал бы искать русский источник для этого широко распространенного слова, если бы не совершенно определенное указание, содержащееся в Словаре Юнгмана: «z *rusk.*, Syringa, pokolení rostlin olivovitých» (JS IV, 447). По данным картотеки чешского литературного языка Чешской академии наук, впервые это слово употреблено в трудах братьев Преслов по ботанике в 1819 и в 1820 гг. (Flora, 2; Rostl., 248); там также содержится указание на русское происхождение слова (индекс «R»). Чешской огласовке корня šer- соответствовала бы русская *сер-,* таким образом, нужно было искать русскую форму типа *серик.* Разыскания В. Махека показали, что такое народное русское название сирени содержалось в ботаническом труде акад. П. С. Палласа, послужившем одним из источников ботанической терминологии братьев Преслов **[**161, *180*; 169, *78***]**.

На первый взгляд не обнаруживает на себе никакого влияния русского языка и такой новообразованный поэтизм начала XIX в., как líbka ‘поцелуй’: «Až jehňátka počnou ráno hráti, … k dívání vzbudí tě s líbkou máti» (Novor., 1825, 141); «Ne žeby snad dbala ona se líbky» (Krok, 1827, 188). Слово образовано от основы глагола líbati ‘целовать’. Однако в Словаре Юнгмана при этом слове дана ссылка на рус. *улыбка:* «**líbka**... (cf., *rus*. ulybka = usmání) = políbení» (JS II, 316). Приведённый здесь точный перевод русского *улыбка* (usmání) свидетельствует о том, что налицо сознательная ориентация только на форму русского слова, которая послужила моделью для чешского новообразования. Интересно, что А. Марек заимствовал из русского языка и само существительное *улыбка,* причем, вопреки принципу передачи русского *ы* чешской буквой *y*, он воспринял слово в

---

[94] Trefiti ‘попасть в цель’ из средневерхненемецкого treffen [208, *650*]. В конце XVIII в. это слово ощущалось как германизм [106, *32*].

форме ulibka. См. статью на это слово у Й. Юнгмана, где приведены и примеры его употребления в тексте художественного перевода А. Марека: «ulíbka... (*rus.*) = usmání... už hodně plno na pozemí? Ptal se s ulibkou» (JS IV, 744). Нарушение принципа передачи буквы *ы — у* нельзя объяснить случайной погрешностью. Скорее, здесь тоже имеет место некоторая попытка сблизить русское слово с темной внутренней формой[95] — с чешской основой -lib (líbati ‘целовать’, líbiti se ‘нравиться’ и т. п.).

Своеобразно проявилось русское влияние при создании чешского термина для понятия «электричество» — mluno. Создателем термина был Я. С. Пресл, цитатами из работ которого он и документируется в Словаре Юнгмана: «Mluno čili elektrictví, Presl. Chym., 47; Kovy nejlepší jsou vzbuditelé mluna. Ib., 29» (JS II, 468).

Ранние употребления нового термина, как правило, сопровождались притекстовыми пояснениями. См. примеры из первого научного журнала «Krok», редактором которого был Я. С. Пресл: «Dále přijímá moc odstrkavou a přítažlivou, asi jako mluno (elektryčnost)» (Krok, 1829, 117); «k čemu mluno (electricitas) galvaničné všude... přispívá» (Krok, 1829, 90).

Словарь Юнгмана четко указывает на производящую основу неологизма («mluno ... *r.* mlň»), форма же mlň является, по существу, русизмом, так как относится к числу поддельных глосс в Mater verborum, созданных В. Ганкой по образцу русских слов. Mlň восходит к русскому слову *молния*, не представленному в западнославянских языках. См. подачу формы mlň в Словаре Юнгмана: **«mlň.**.. (cf. *rus*. molnija, Blitz) ... *Mat*. *verb.* (Inde tentavit Presl mluno...)» (JS II, 467).

Не исключено, что Й. Юнгман, тесно сотрудничавший с Преслами при выработке чешской научной терминологии, участвовал в создании и этого термина, в котором строго учтено закономерное для чешского языка фонетическое соответствие праславянскому сочетанию *mъln, давшему в русском *молн-* (ср. рус. *молвить*, чеш. *mluviti* из общесл. *mъlviti).

Наряду с данной формой спорадически встречалась и форма со слогообразующим *l*: «Spojení látek jinými ještě prostředky se stává, jekéž jsou: teplo, mlno, světlo … jistá přitažlívost» (ČČM, 1831, 81).

По свидетельству В. Шмилауера **[**208, *369***]**, термин mluno и его производные были в употреблении до середины XIX в.

Примеры, которые рассматривались нами ранее в другой связи (см. историю вхождения слов vid, průmysl, zádumčivost и др.), также подтверждают положение о том, что при адаптации русизмов в чешском языке, как и при самом акте их заимствования, большую роль играет целенаправленная деятельность будителей.

---

[95] М. Фасмер считает этимологию слов *улыбка, лыбиться* неясной [200, II, *539*], другие этимологи связывают их с *лоб (лъбъ)* [201, *464*].

Отчетливо проявляется стремление к созданию словообразовательных вариантов с одним и тем же лексическим значением.

Как уже отмечалось, вариантность в области отвлеченной лексики была весьма характерна для чешского литературного языка рассматриваемого периода, так же, как и для русского литературного языка XVIII в. Причины вариативных расхождений видят прежде всего в том, что в поисках подходящих наименований для новых понятий авторы идут разными путями, что само по себе обусловливает появление различных средств обозначения [17, *с. 30*]. Однако наблюдения над материалами Словаря Юнгмана заставляют говорить о сознательном, «программном» создании и расширении вариантных рядов, в первую очередь, словообразовательных. Это соответствовало представлениям будителей о богатстве лексических средств литературного языка.

Указанная тенденция в Словаре Юнгмана нашла свое отражение в том, что, во-первых, зачастую заимствовались сразу два или даже три словообразовательных варианта. Например, существительные: bezobrazí, bezobraznost (JS I, 111), bezpokojnost, bezpokojství (JS I, 113), bezrodí, bezrodstvo, bezrodnost (JS I, 114), blahoduší, blahodušnost (JS I, 129), blaholepí, blaholepost, blaholepota (JS I, 129), dušelibec, dušelibitel (JS I, 509), dušenenávistník, dušenenávidec (JS I, 509), и др.; прилагательные: bezustý, bezustný (JS I, 116), blaholepý, blaholepný (JS I, 129), bratronenávistný, bratronenávidný (Л5 I, 174).

Здесь нельзя говорить о синонимических отношениях между словообразовательными вариантами, так, как и семантически и стилистически они были тождественны.

Во-вторых, очень распространено заимствование словообразовательного варианта в дополнение к существующему чешскому слову, которое в таком случае используется в качестве словарного толкования. Словообразовательные варианты здесь легко развивают синонимические отношения: заимствованные слова, как правило, приобретают стилистическую окраску, выступая в качестве поэтизмов или вообще книжных, не обиходных слов. Из многочисленных примеров такого рода приведем следующие:

а) слова с приставкой bez-, образующие вариантные ряды с собственными лексемами, имеющими приставку ne-: bezbázlivý — nebázlivý (JS I, 104), bezpokojiti — nepokojiti (JS I, 113), bezpořádek — nepořádek (JS I, 113), bezrozumnost — nerozumnost (JS I, 114), bezvážný — nevážný (JS I, 118), bezvinnost — nevinnost (JS I, 117);

б) существительные, жен. рода с суффиксом -ota, означающие свойства и состояния (основа прилагательного) и образующие вариантные ряды с собственными лексемами на -ost: černota — černost (JS I, 279), hustota — hustost (JS I, 783), krásota — krásnost (JS, II, 169), temnota — temnost (JS IV, 569), těsnota — těsnost (JS IV, 580), vysota — vysost (JS V, 347—348);

в) существительные жен. рода с суффиксом -ina.

В Словаре Юнгмана имеются две категории русских заимствований с суффиксом -ina. Некоторые из них были призваны восполнить недостающие или почему-либо не удовлетворяющие названия предметов и явлений: břichovina — knihy, žaludek přežívajících (JS I, 184), chomoutina — poduška chomutová (JS I, 812), lososina — lososí maso (JS II, 352), mrština — nabírání šatu, řasa (JS II, 505).

Гораздо более важными по своей функции были заимствования другой категории, создававшие вариантные ряды или пары с существующими однокоренными чешскими образованиями: chrámina — chrám (JS I, 817), chyžina — chyše (JS I, 846), středina — prostředek (JS IV, 337), sudbina, sudba — osud (JS IV, 374), vršina — vrch (JS V, 190), vyšina — vysost (JS V, 361).

При смысловом тождестве приведенных пар имеется стилистическое различие между образующими их словами, существительные на -ina выступают как яркие поэтизмы.

Употребление суффикса -ina в существительных от субстантивных основ, как оно предстает в художественных текстах периода чешского национального возрождения,[96] является примером «поэтизации» определенного словообразовательного средства, которая очень четко осознавалась авторами. Так М. З. Полак в примечаниях к своей поэме «Величие природы» пишет: «Кроме того, ради лучшего поэтического выражения часто использовался суффикс -ina, например: dálenina, jezeřina, krůpějina, křepelina, mezeřina, mlžina, modřenina, opřenina, pavučina, plamenina, podhořina, propadlina, průhonina, rozlitina, spustěnina, stružina, šedivina, štavina, trnina, třtinovina, větrnina, vrcholina, vydutina, zelenina — вместо dálka, jezero, hlahol, krůpěje, křepelka, mezera, mlha, modrost (nebeská), propast, průhon...» (Pol., 89—90).[97]

При заимствовании русских словообразовательных вариантов, как и при других типах заимствований, в большой мере учитывается наличие близких форм в словацких и чешских диалектах, а также в других славянских языках, прежде всего в польском. Для Словаря Юнгмана при этом характерен следующий подход: если вводимая из русского или польского языка форма имеет соответствие в чешских и словацких диалектах, то факт заимствования не подчеркивается; обычная помета в таких случаях: «item v *rus*. (*po1*.)». Между тем во многих случаях очевидно, что фактором, определившим использование данного слова в языке литературы, является именно воздействие родственного литературного языка. Так, например, наречие úkradkou было употреблено Й. Юнгманом в переводе из Карамзина: «V pustině bývá nejkrásnější Anemon, kdy úkradkou vyjde on prostřed

---

[96] Образования с этим суффиксом особенно характерны для языка Я. Коллара и М. З. Полака [127, *101*].

[97] О художественной функции этих форм у М. З. Полака писал Я. Мукаржовский [164, *147, 150*].

písku» (J. Slov. I, 53) — когда украдкой войдет он. В Словаре же Юнгмана, где данная цитата является единственным примером литературного использования слова úkradkou (собственно чешский эквивалент — kradí), подчеркнуто, что подобные формы употребляются в моравских говорах (oukradkou) и в словацком (na úkradku), приводится также ссылка на польский язык по Словарю Линде (JS I, 36).

Укажем еще некоторые примеры русских заимствований, поддержанных чешским и словацким диалектным употреблением или, наоборот, вводимых в чешский литературный язык диалектных и словацких форм, поддержанных русским словоупотреблением.

Brv. В словацких говорах это слово было известно в значении ‘ресница’; Словарь Юнгмана приводит, однако, как «более правильное», его русское и польское значение: brvy — obočí ‘брови’ (JS I, 192). В ходе развития чешского литературного языка слово brv и его производное ср. рода obrví закрепило оба значения —‘ресницы’ и ‘брови’ (PSJČ III, 754).

Čudo, čudný. Слово čudo дано в Словаре Юнгмана без иллюстраций, с пометой: словацкое и русское. Прилагательное čudný встретилось в языке А. Марека (1823 г.) в значении ‘удивительный’ в переводе из Овидия, сделанного, может быть, через русское посредство: «Snadno Palaemona plýváním svým překonal bych || i s tím, jenž v čudné proměně byl bylinou» (Mar., 114). Я. Якубец замечает по поводу этого слова, что А. Марек «заимствовал его, вероятно, из русского или словацкого» **[**135 a, *149***]**. Учитывая характер текста, в котором употреблено слово, правильнее говорить о русском стимулирующем и словацком поддерживающем влияниях.

Rab, rabství, rabstvo. Все эти слова, а также другие производные от существительного rab Словарь Юнгмана дает с пометой *slc.* (словацкое) (JS III, 775). П. Шафарик широко использует их в «Славянских древностях»: «chlapstvo a rabstvo ... byly prý odvěčným jejich losem» (Šaf. Slov. starož., 432); «odvěčném rabství... žijících» (там же, 37). Таким образом, он сообщает этим словам терминологический характер и вводит их в научный оборот как варианты соответствующих чешских обозначений — otrok, otroctví**.**

Для П. Шафарика употребление данных слов в исторических сочинениях естественно, если учесть, что его родной язык — словацкий, а в числе источников его трудов была богато представлена русская литература.[98] Между тем слова rab, rabstvo встречались и в текстах, связанных не со словацкой языковой традицией, а только с русской. См., например, их употребление в письмах из России Гавличека-Боровского: «přitom však neopominula [Kateřina] z ukrajinských Kozáků, kteří až po tu dobu volní lidé byli, rabů nadělati» (H. B., 104); «Mezi Slovany rabstvo a chlapství nikdy nebylo»

[98] Об усиленных занятиях П. Шафарика русским языком в пору его пребывания в Новом Саде писал, в частности, Ш. Тобик: «Кроме сербского, Шафарик интенсивно изучал здесь русский язык по множеству русских книг, которые он для своей научной работы заказывал прямо из России» [178, *112*].

(H. B., 75). Таким образом, и здесь нельзя не видеть перекрещивающегося словацкого и русского воздействия на лексику чешского литературного языка, которое в данном случае привело к обогащению синонимического ряда otrok — nevolník — rab (ср. PSJČ IV, č. 2, 589—590).

Только со ссылкой на словацкие материалы и Словарь Линде даны у Юнгмана слова samobytnost, samobytný, однако имеются указания и на русские источники. Ср. в переводе с русского: «nemohli [Děržavin a Puškin] zachovati svécelé samobytnosti» (ČČM, 1837, 469); «přemyšlení o vlastní samobytnosti» (там же).

Несколько примеров русского поддерживающего влияния можно найти в текстах первой половины XIX в. для слова značiti, которое традиционно считается словацким заимствованием в чешском литературном языке рассматриваемого периода [127, 91]. В Словаре Юнгмана статья на глагол značiti оформлена так: «Značiti... slc. = znamenati, bezeichnen. Kterými hroby vítězů a vojvod svých na památku značili a ozdobovali. Koll.výkl. 39» (JS V, 722). В приведенном тексте из Я. Коллара глагол značiti выступает в конкретном значении: ‘помечать каким-н. знаком, обозначать’. Становлению же в смысловой структуре слова абстрактной семемы ‘иметь какой-н. смысл, значение’, вероятно, способствовало словоупотребление, инспирированное русским языком. Ср. использование производного существительного značení в языке Гавличека (1848 г.): «Přišel čas, že i my stojíme v řadě národů, kdežto jsme po dlouhý věk beze všeho politického značení ... svou vlastní otčinu obývali» (PSJČ VIII, 636), а также производного прилагательного značitelný в переводе с русского: «Celý národ čili značitelná část jeho... nazývá se chanstvem» (ČČM, 1842, 147).

Как уже неоднократно подчеркивалось, у будителей преобладала ориентация на русский и польский языки; в Словаре Юнгмана это проявляется в том, что при заимствовании инославянского слова обычно принимаются во внимание как русская, так и польская формы и их значения.

Ниже приводятся примеры усвоения Й. Юнгманом разных словообразовательных вариантов заимствования, соответствующих: русскому и польскому образцам:[99]

Вариант, отразивший русскую форму	**JS**	**Вариант, отразивший польскую форму**
bratrolibí	I, 174	bratrolibství
brviště	I, 192	brvisko
kliniště	II, 72	klinisko
mostiště	II, 493	mostisko
bystrák	I, 201	bystřec
hvězdozřítel	I, 787	hvězdozorce

[99] Определение вариантов произведено на основании помет в Словаре Юнгмана: *rus.* и *pol.* Источником всех этих заимствований был Словарь Линде, где Юнгман нашел и русские соответствия.

jednorodec	I, 589	jednorodce
japonec	I, 568	japončik
hololedina	I, 719	holoďeď
vodomet	V, 150, 151	vodostok
dalnovidný	I, 326	dalekovidný
jednokolý	I, 588	jednokolný
konopatiti	II, 119	konopačiti
rybolovitelstvo	III, 967	rybolovstvo

Иногда Й. Юнгман использовал и другую возможность создания «общеславянских» неологизмов, своеобразно контаминируя в них особенности польской и русской форм. Так возникло, например, слово kočoviště — *po1*. koczowisko, *rus*. kočeviště (JS II 94).

Если заимствуемые русские и польские формы отличались друг от друга лишь разными рефлексами общего древнего звука или сочетания звуков в основе слова, Й. Юнгман создавал неологизмы с учетом чешских исторических фонетических соответствий: plasa (*po1*. płosa, *rus*. po1osa) (JS III, 102), horečka, horoučka (*rus*. gorjačka, *po1*. gorączka) (JS I, 728), ruměněc (*rus*. rumjanec, *po1*. rumianiec) (JS III, 958), štěditi (*pol*. szczędzić, *rus*. ščadiť) (JS IV, 505), vyhrouziti (*rus*. vygruziť, *po1*. wygrążyć) (JS V, 260), vyzev ***(p**ol*. wyziew, *rus*. vyzov) (JS V, 394) и т.п.

При совпадении заимствуемых русских и польских слов Й. Юнгман указывает на это пометами, например: bardyš (*po1.et rus*.) — kyj se sekyrou (JS I, 70), bezuštěrbný ... nevyčerpaný, neubývající (*po1*. *et rus.*) (JS I, 116), čerň (*po1*. *et rus.*) — chlapstvo, pospolstvo, luza, černý lid (JS 1, 277), hrabež ... (*pol*. *et rus*.) — loupež (JS I, 742) и др.

Разграничить факты перекрещивающегося русского и польского влияния на лексику чешского литературного языка исследуемого периода очень трудно. В некоторых случаях пролить свет на этот вопрос помогает изучение первых употреблений заимствованных слов в чешском языке и выявление их непосредственных литературных источников.

Рассмотрим с этой точки зрения процесс усвоения в чешском языке существительного předmět.

По мнению В. Махека, оно «заимствовано в эпоху национального возрождения из польского przedmiot, так же, как и русское *предмет»* **[**208, *491***]**. Вероятно, с этим нельзя согласиться, так как впервые слово předmět употреблено в юнгмановском переводе «Аталы» Шатобриана и в русских посредниках этого перевода ему соответствует русское *предмет:* «беспрестанное присутствие возлюбленного предмета» (Н. Р., 81) — «přítomnost neustavná předmětu milého» (JA, 29); «И ты, любезный и горестный предмет страсти» (И. М., 165) — «A ty, milý a smutný předměte náruživosti» (JA, 4 1) .

Что касается укоренившегося мнения о польском происхождении слова *предмет* в русском языке, то оно было в последнее время пересмотрено В. В. Веселитским, который пришел к выводу, что слово следует считать

«(славяно)русизмом, усвоенным в разное время польским и другими славянскими языками» **[**17, 65**]**. В. В. Веселитский подкрепляет свой вывод, в частности, и свидетельством польского деятеля первой трети XIX в. А. Чарторыйского, которое приведено в словаре С. Линде: «Язык наш [польский] выиграл, усвоив русское слово przedmiot, которое так выразительно, необходимо и так хорошо приспособлено к нашему произношению» **[**17, *64***]**. Ср. также свидетельство из польского журнала XVIII в. «Polak Patryjota»: «Слово przedmiot, также истинно польское, происходит из русского и обозначает собственно objectum» **[**56, *124***]**. Подобное высказывание содержится и в речи польского просветителя Я. Коссаковского, произнесенной им в 1803 г. Й. Юнгмаи опубликовал в 1814 г. отрывки из этой речи в чешском переводе. Призывая к обогащению польского языка средствами других славянских языков, Я. Коссаковский говорит: «Взятые недавно из соседнего языка [русского] слова przedmiot, przedstawienie вместо слов objekt, prezentacja указывают нам на славянский источник, где нужно искать средства выражения» **[**142, *330***]**.

Таким образом, при усвоении чешским языком существительного předmět несомненно имели значение два фактора: импульс русского текста-источника и учет бытования заимствуемого слова не только в русском, но и в польском языке.

Еще более сложной оказывается история усвоения существительного příroda. Введение его в чешский литературный язык также связано с именем Й. Юнгмана, который употребил его в переводах «Аталы» и «Потерянного рая». Характерно, что в обоих текстах слово příroda снабжено авторским пояснением (наряду с другими юнгмановскими неологизмами). Так, в словарике-приложении к переводу «Потерянного рая» оно объясняется следующим образом: «Příroda (*rus*. priroda) — přirození, natura». Знаменательно здесь указание Й. Юнгмана на русское происхождение слова příroda.

Очевидно, что и современники воспринимали его как русизм (но и как полонизм!), о чем свидетельствуют слова Й. Юнгмана из письма к А. Мареку (1818 г.): «...г. Неедлы в свое время публично высмеял меня перед учащимися за это словечко příroda: я, дескать, поляк и русский, а чешского языка не знаю» (ČČM, 1882, 451).

В течение очень короткого времени юнгмановское нововведение прочно вошло в словарный состав чешского языка, впоследствии вытеснив из активного употребления синонимы přírození и natura. В словаре Й. Юнгмана приведено уже 34 производных от этого существительного (JS III); все примеры их употребления относятся к началу XIX в.[100] К середине XIX в.

[100] Следующий по времени большой толковый словарь чешского языка отмечает уже 49 производных от слова příroda [206, *1074—1076*]. Характерно здесь указание: «Слово новое; ранее — přírození».

это слово, вероятно, ощущалось уже как вполне обычное, стоящее в ряду других однотипных образований от глагольной основы (příčina, příhoda, příhrada, příprava). Показательно, например, что в словаре иностранных слов, изданном в 1849 г. М. Ф. Клацелом, в статье на слово natura, которое здесь представлено уже с весьма суженным кругом значений по сравнению с предыдущим периодом, содержится такое замечание: «В других языках natura имеет то же значение, что и наше прекрасное (разрядка наша. — Г. слово příroda» [205, *121—122*].

Большая активность слова příroda в период чешского национального возрождения привлекает к нему внимание исследователей. В работах В. Вондрака [190, *48*] и Б. Гавранека [127, *91*] оно трактуется как юнгмановское заимствование из русского языка. М. Шийковский утверждает, что «польское происхождение этого слова является общепризнанным» [172, *188*].

Между тем выяснилось, что оно уже было отражено в немецко-чешском словаре К. Тама (1788 г.) [194, *105*] как соответствие немецкому die Natur и даже еще раньше — в памятниках XIV—XV вв. [4]. В этимологическом словаре В. Махека образование рассматриваемого слова приписывается автору известного средневекового словаря Кларету (XIV в.) и слово признается исконно чешским (первичное его значение, по Махеку, близко значению сходного образования úroda — ‘то, что родилось’, собственно, ‘прибавление к тому что родилось, приплод’) [208, *494*].

Перед нами случай, достаточно характерный для взаимодействия близкородственных языков: при общности их словообразовательных средств заимствование слова в новую эпоху является в то же время возрождением собственной лексемы, давно вышедшей из употребления и забытой. «Второе рождение» слова в результате заимствования из русского языка устанавливается не только на основании приведенного выше юнгмановского указания («příroda — *rus*. priroda...»), но и путем сопоставления текстов, содержащих первые в XIX в. употребления слова příroda с русскими текстами, послужившими опорой для чешского переводчика. В этих опорных текстах мы обнаруживаем как соответствие юнгмановскому příroda существительное *природа*. Ср. в русских и чешских переводах «Аталы»: «Погибни бог, противящийся природе!» (Н. Р., 133) — «Zlořečený ten bůh, který se protivuje přírodě» (JA, 42); «ужасная и величественная природа» (И. М., 110) — «hrozná a výtečná přírodo» (JA, 32); в русском и чешском переводах «Потерянного рая»: «в сию безобразную бездну, чрево природы, и, может быть, гроб ее» (В. П., 71*)* — U té divé propasti, té dělohy přírody a snad i hrobu jejího*. . . »* (JR, 69).

Однако если непосредственным импульсом для введения в чешский язык слова příroda Юнгману послужил русский текст (уже потому, что более ранний из двух переводов — «Атала» — не имел польского посредника), то несомненно и поддерживающее влияние польского языка. Мы уже

указывали на то, что, например, черпая выразительные средства для перевода «Потерянного рая» из польского и русского переводов-посредников, Й. Юнгман явно предпочитал те слова, которые полностью или частично совпадали в обоих опорных текстах. Это относится и к слову příroda. Правда, в польском тексте-посреднике мы находим лишь единичные примеры употребления существительного przyroda (при абсолютном преобладании его синонима natura), но они не оставлены Юнгманом без внимания. Ср.: «Inaczej musiałbym ich zmienić w ich przyrodzie» (Przyb., 77) — «musil bych je sic v jich změnit přírodě» (JR, 78).

§ 5. Особенности семантической адаптации русских заимствований в чешском языке.

Сопоставление семантики слов, заимствованных из русского языка в чешский в эпоху национального возрождения страны, с их семантикой на их родной, русской почве показывает во многих случаях более или менее существенные расхождения. Эти отличия являются результатом процесса адаптации иноязычного слова в языке-усвоителе. Несомненно, что семантическое освоение заимствований находится в зависимости от общего характера условий заимствования: особенностей двуязычия, состояния принимающей языковой системы, степени близости взаимодействующих языков.[101]

Отметим некоторые особенности смысловой адаптации русизмов в чешском языке, связанные с конкретными историческими условиями этого процесса в рассматриваемый период развития чешского литературного языка.

Представляется целесообразным выделить две категории явлений, между которыми, правда, нет резкой грани и наблюдаются черты переходного характера: во-первых, изменения в смысловой структуре слова под влиянием системы принимающего языка (включения в собственные синонимические ряды, ассоциативные связи и т. п.), а во-вторых, сознательный, наперед заданный поворот в семантике заимствуемого слова в соответствии с потребностями принимающего языка. Если первая категория явлений имеет общий характер и наблюдается при всяком процессе заимствования (что, конечно, не исключает специфичности их проявления), то вторая категория целиком обусловлена тем, что усвоение русских лексических элементов в чешском языке начала XIX в. было преимущественно плодом сознательных усилий филологов-будителей.

---

[101] Как справедливо отмечают авторы монографии о языковых контактах и заимствованиях в русском языке XVIII в. Е. Э. Биржакова, Л. А. Войнова и Л. Л. Кутина, проблема семантического освоения иноязычного слова, несмотря на ее большую теоретическую важность, до сих пор наименее разработана в трудах советских и зарубежных исследователей [10, *13*].

Одним из признаков сознательного филологического подхода к заимствованию инославянской, в частности русской, лексики является то, что при усвоении слова ему может быть сообщено другое значение, по тем или иным причинам более приемлемое для условий чешского языка. Воспринимается, таким образом, лишь формальная оболочка слова, содержание же определяется потребностями номинации или лексическими связями чешского языка. Приведем пример такого рода:

Bezvlastí, n., Vaterlandslosigkeit (*rus.* Anarchie).

Bezvlastný, adj., bez vlasti, ohne Vaterland (*rus*. ohne Oberherrn, unbeherrscht) (JS I, 117).

Ссылки на русское значение слов показывают, что при заимствовании оно учитывалось, и здесь не имела места спонтанная контаминация с чешским словом vlast ‘родина’. Вероятно, работая над Словарями Гейма и Линде, Юнгман обратил внимание на то, что русское *безвластие* может быть легко использовано и в чешском для обозначения понятия «отсутствие родины», не имевшего выражения, и включил это существительное с его производным в Словарь.

Указанная особенность семантической адаптации русизмов в чешском языке особенно ярко проявляется в терминотворчестве той эпохи. Анализируя литературоведческую и лингвистическую терминологию, созданную Й. Юнгманом, А. Едличка отмечает, что «адаптация славянских выразительных средств в плане точного терминологического значения наблюдается чаще, чем смысловая координация исконного слова со славянским эквивалентом (семантические славизмы)» **[**136, *53***]**.

Из тридцати двух лексических русизмов, обнаруженных А. Едличкой в составе литературоведческой и эстетической терминологии, которую создал Й. Юнгман в ходе работы над первым изданием «Словесности» **[**136, *52***]**, более одной трети составляют слова, не имеющие в русском языке терминологического значения. Ср., например, в J. Slov. I: bezobrazný — гротескный (s. XXI); blahoduší — благородство как один из признаков прекрасного в искусстве; velikoduší — первая степень благородства (противопоставляется второй степени — нравственной возвышенности — mravní vznešenost) (s. XVI); prostonárodný, prostonárodní (sloh) — научно-популярный (s. LXXXIX); slyšný — акустический (s. VIII); smichotvorný — пародийный (s. LXXI); svémravný (list) — непринужденный (о разновидности стиля) (s. CLIV); šutečný — бурлескный (s. XXI); veličí — возвышенная разнообразность (как признак прекрасного в искусстве) (s. XXIV); vidný — пластический (s. VIII). К таким же русизмам относятся отмеченные нами в другой связи vid, vkus, zádumčivost и др. Требуемое терминологическое значение сообщалось, конечно, не произвольно выбранному слову: опорой для него служила, как правило, внутренняя форма слова. Исключения объясняются конкретными причинами; в частности, терминологическое использование Й. Юнгманом слова с затемненной внутренней формой

šutečný мотивировалось, вероятно, ошибочным представлением Юнгмана о русизме šutka как прочно укоренившемся в чешском литературном языке (материалы корреспонденции Ф. Л. Челаковского и Й. Юнгмана-младшего показывают, что слово šutka было в ходу у будителей этого круга).

Изменения в смысловой структуре слова под влиянием системы принимающего языка также могут быть связаны с актуализацией внутренней формы заимствования. Однако здесь эта связь имеет другой характер: внутренняя форма не выступает как сознательно выбранный «фундамент» для построения на нем нужного значения; она лишь способствует включению заимствования в разряд исконных слов с теми же корневыми элементами, а также в соответствующий синонимический ряд, лексико-семантическое поле и т. п. Приведем в качестве примера семантическое освоение в чешском языке прилагательного blahočinný. В Словаре Юнгмана оно дано без иллюстраций, с толкованием dobročinný, которое имеет чисто формальный характер, указывая лишь на семантическое тождество основ blah-/dobr-, как его представлял себе Юнгман. Употребление же рассматриваемого слова в литературе XIX в. неоднозначно. В текстах, отмеченных сильным русским влиянием, оно выступает в значении, свойственном русскому *благочинный* (см. толкования В. И. Даля: «***Благочиние***, ср. послушание, порядок, спокойствие; приличие, благопристойность... ***Благочинный***, благопристойный, благоприличный, согласный с порядком и общим спокойствием» **[**197, *I*, *95***]**). Например: «Bývalí **[**Slované**]** blahočinní, hostinští, až skoro k marnotratnosti» (Han. Hist., s. VI); «A však nejsou [kalmukové] také bez ctností: otevřenost, dobromyslnost, blahočinnost, hostinnost (Č. vč. 1834, 316). В текстах же, не зависящих от русских источников, четко выступает другое значение этого слова — ‘благодетельный, благотворный’: «v blahočinném teplu se hřáti || věrných Čechův zástup ubohý» (Mar., 25); «Svých ty opuštěnců blahočinnou odlevu líváš» (Pal. Bašně, 52).

Характерно, что слово blahočinný Палацкий использовал в переводе с русского как соответствие прилагательному *благодетельный:* «blahočinný soud přísežných» (Pa1. Greč) — благодетельный суд присяжных. Развитие указанного значения, несомненно, вызвано актуализацией внутренней формы слова; корень второго компонента -čin- в чешском выступает в своем прямом значении в ряде распространенных слов, например činiti ‘делать, действовать’, čin ‘действие, поступок’, činitel ‘деятель, исполнитель’ и т. п., поэтому неологизм blahočinný осознавался как синоним другого неологизма, созданного также под русским влиянием с подстановкой суффикса, — blahodějný. В этом значении слово отражено и в словарях современного чешского языка (PSJČ I, 137).

В другом заимствованном слове с тем же корнем — činovník — ассоциативные связи с однокоренными чешскими словами привели к расширению его смысловой структуры, а затем к расщеплению на омонимы **[**105**]**. Так, в первой половине XIX в. это слово использовалось лишь в текстах,

относящихся к русской действительности, и функционировало в качестве экзотизма. В словаре Юнгмана оно выступает со следующим определением: «**činovník** ... *rus*. = důstojník, ouřadník» (JS I, 298). Слово документировано одной цитатой (из перевода русской статьи), относящейся к 1828 г. Словарная картотека Института чешского языка АН ЧССР содержит значительное количество примеров употребления этого слова в произведениях с русской тематикой, причем значение его неизменно — ‘служащий официального учреждения в России’ **[**105, *244***]**.

Употребление слова вне связи с русскими реалиями начинается значительно позже, к началу XX в. Происшедший при этом семантический сдвиг (činovník ‘деятель, активист какой-н. общественной организации’) свидетельствует о воздействии однокоренных чешских слов: činný ‘деятельный, активный’, činnost ‘деятельность’ и т. д. Толковые словари чешского языка четко отражают изменения в смысловой структуре этого лексического заимствования. Ср. данные двух академических словарей:

PSJČ I, 323 (1935 г.)	**SSJČ I, (1962 г.)**
činovník… 1. Русский служащий. 2. Функционер общества	**činovník I**… Работник какой-н. организации, общества; фунционер. **činovník II**… (из русск.) Служащий в царской России, имеющий определенный чин.

Семантическое развитие можно представить так:

Начало XIX в.	**Начало XX в.**	**Середина XX в.**
činovník – русизм-экзотизм.	**činovník –** 1) русизм-экзотизм, 2) обозначение деятеля какого-н. общества.	**činovník I –** обозначение деятеля какого-н. общества. **činovník II –** русизм-экзотизм.

Актуализация внутренней формы заимствованного слова в процессе его адаптации в системе близкородственного языка может привести в некоторых случаях к ошибочным ассоциациям, которые, в свою очередь, вызывают сдвиги в семантике слова. Примером такого рода явлений может служить употребление в чешском языке русского прилагательного *искренний,* впервые эту форму употребил в чешском языке В. Ганка в Краледворской рукописи («mužie bratrských srdec, jiskrených zrakóv» RK, 16), впоследствии она была обозначена как русизм.[102] Уже в этом употреблении угадывается ошибочное соотнесение русского *искренний* со словом *искра* (чеш. jiskra).[103] Исходя из этого, слову jiskrený было придано значение

---

[102] К русизмам ее отнес уже в 1879 г. А. Вашек; Я. Гебауер отметил фонетическую незакономерность формы цзкгепу вм. jiskrný [148, *244*].

[103] В действительности эти два слова этимологически не связаны. В прилагательном *искренний* этимологи видят основу, родственную слову *корень* (другая точка зрения — *край*) [200, II, *140—141*].

‘сверкающий, горящий’. В литературе периода национального возрождения слово (в слегка измененной фонетически форме — jiskřený) стало распространенным поэтическим эпитетом взгляда, глаз. Например: «Bivoj jiskřené má zraky, černou bradu, černé vlasy» (ČČM, 1827, 108); «An hledíc naň okem jiskřeným jeho poslúchjí utěšeně» (ČČM, 1829, 8). Эти употребления корреспондировали с использованием глагола jiskřiti se в переносном значении. См. в переводе «Потерянного рая»: «jiskří se jim oči radostí» (JR, 67) — в русском посреднике: «и радость искрами блистала на очах их» (В. П., 51); «a očima plaje jiskřícíma» (JR, 26) — «и очеса, сверкающи искрами» (В. П., 23).

Семантическая подстановка в заимствуемом слове иногда определяется и влиянием третьего языка, с которым также взаимодействует язык принимающий. Выше (с. 93 и сл.) уже отмечался семантический сдвиг в русизме bodrý, произошедший под влиянием немецкого bieder. Заметнее было воздействие польского словоупотребления, которое проявилось и в области семантики. Проиллюстрируем его на примере слов bohatýr, bohatýrský, введенных в чешский язык Ф. Л. Челаковским **[**53, *34 сл.***]**.

Русское существительное *богатырь* имеет следующие основные значения: 1. Древний русский витязь, герой русских былин и сказок; 2. Человек крупного сложения и необыкновенной силы. Ф. Л. Челаковский употребляет слово bohatýr также в двух значениях, одно из которых в точности соответствует русскому: «Bohatýr Surovec Surožanin» (перевод русского: Суровец богатырь Сурожанин) (Sl. p. II, 81). Что касается второго значения этого слова в употреблении Челаковского, то оно отличается от русского. Так, в переводах с русского Ф. Л. Челаковский использует слово bohatýr в качестве соответствия другим существительным: «mladé srdce bohatýrovo» — юное сердце героя (R. a V., 74); «přijížděli ovadové, srdnatí bohatýrové» — съехались сильные драгуны (Sl. p. I, 139). Ср. также употребление относительного прилагательного bohatýrský: «hry bohatýrské» — в играх рыцарских (R. a V., 66). Из этих примеров видно, что Челаковский сообщает слову bohatýr и значение ‘герой, витязь, рыцарь’, развившееся у слова bohater в польском языке, где оно также является русским заимствованием **[**202, *34***]**.

Существительное bohatýr прочно вошло в словарный состав чешского литературного языка в значении ‘герой’ и обросло производными словами: bohatýrka, bohatýrský, bohatýrství (PSJČ I, 161).

§ 6. Перенесения на семантическом уровне.

Влияние русского словоупотребления на семантическую структуру чешских слов осуществлялось в разных направлениях, среди которых можно выделить следующие основные типы.

А. Расширение смысловой структуры чешского слова за счет новых значений или оттенков значения, возникших под воздействием русского языка.

Этот тип можно проиллюстрировать такими примерами.

Druh. Общеславянское *drug ‘сообщник, товарищ’ развило в чешском языке систему значений сходную, но не совпадающую с системами других славянских языков.[104] Анализируя словарную статью druh в Словаре Юнгмана (JS I, 485), можно отметить, что из ряда значений, приведенных в толковании (druhý toho, týdruh, toho druh, takový společník, soused, přítel, tovaryš), не все одинаково представлены в иллюстрациях. Так, значение přítel, amikus почти не прослеживается в подтверждающих цитатах. С другой стороны, тексты средневековых памятников четко подтверждают специфически чешские производные значения — ‘безземельный шляхтич’ (druh — zeman nižší, bez statku»); устойчивое сочетание dobrý druh означало храброго рыцаря или человека благородного происхождения. К XIX в. эти значения стали уже архаичными, зато активно развивается значение ‘класс, род, сорт’. В. Махек объясняет появление этого значения как результат употребления слова druh в устойчивых оборотах типа toho druh, jiného druh, těch druh, например: ten nůž je mého druh, т. е. такой, как мой **[**208, *130***]**.

На этом фоне выделяются сочетания milý druh, přemilý druh, которые появляются в рассматриваемый период. Как правило, они имеют опору в параллельных русских текстах. Ср. у Челаковского в переводах с русского: «není ještě milého mi druha» — еще нету со мной друга милова (Sl. p. I, 111); «daleké mlhy skryly očím rozmilého druha» (R. a V., 73) — «туманная отдаленность сокрыла от взоров ее милого друга» (Р. и В., 57); в «Отголосках русских песен»: «Ty sbohem bud‘, sbohem, druhu milý» (OPR, 65); «A milého druha vojna odjala» (там же); в юнгмановском переводе из Карамзина несколько раз повторяется сочетание druhu můj — в соответствии с рус. *мой друг, друг мой* (J. Slov. I, 50—54). Благодаря этим употреблениям, в существительном druh ‘сообщник, приятель’ активизировался смысловой оттенок ‘близкий человек, друг’, который на чешской основе в свое время не получил сколько-нибудь заметного развития. В этом значении слово druh использовалось и в текстах, не связанных с русскими образцами, например: «vás druhu milý, rovně tak jako mne samého potěšilo» (ČČM, 1837,

---

[104] Здесь не рассматривается оформившееся уже в общеславянскую эпоху производное значение ‘другой, иной’ [210, *447*].

53); «Druhy mám! o jak jejich mně láska lahodíl!» (Čel., 212); «Přemilý druhu!» (Vinař. Kor., 21). Этот оттенок, усиливший исходное значение слова, способствовал глубокой перестройке его смысловой структуры, которая привела в конце концов к образованию двух омонимов. Для одного центральным значением стало ‘приятель, товарищ, друг’ (в этом значении слово druh имеет стилистическую окраску некоторой архаичности, книжности); для второго — ‘род, класс, сорт’ (см. SSJČ I, 410).

Обогащение слова druh новым смысловым оттенком в свою очередь способствовало восприятию русского заимствования družba. К XIX в. это общеславянское существительное сохранилось в чешском языке лишь в одном специализированном значении — ‘дружка на свадьбе’ — и имело форму муж. рода (JS I, 481). В текстах же начала XIX в. появилась и форма жен. рода со значением ‘дружеское общение; дружеские отношения’. Она не отмечена в Словаре Юнгмана, но встречается в произведениях его единомышленников и его самого. Например, у А. Марека: «V družbe ať mi drahně let || sladce život plyne» (Mar., 23); у Ф. Л. Челаковского: «bez tvě blahotvorné družby» (Čel., 46); в юнгмановском переводе из Карамзина: «Kdo jest na příjemnou družbu čil» (J. Slov. I, 54) (в русском оригинале: Кто может быть приятным другом). В современном чешском языке существительное družba в значении, соответствующем русскому *дружба,* является прочной составной частью словарного состава, однако, по существу, это уже вторичное заимствование из русского языка, датированное 1945 годом **[**51, *39—41***]**.

Rodný. В значении ‘состоящий в кровном родстве’ это прилагательное впервые употреблено в поддельных текстах — Зеленогорской рукописи и Mater verborum. В Словаре Юнгмана это значение включено в смысловую структуру слова rodný наряду с другими, четко документированными примерами из памятников письменности и речевого узуса: 1. Плодовитый (rodné včely). 2. Относящийся к роду, родовой (rodné právo, rodné knihy) (JS III, 838—839). Й. Юнгман считал это значение собственно чешским, но утраченным. См. его комментарий к отрывку из Зеленогорской рукописи: «Vadita sie rodná bratri — двойственное число. Хорошее словечко rodný, т.е. из того же рода: оно заслуживает обновления» (Krok, 1821, 59). Внедрению значения в речевой оборот в большой мере способствовал Ф. Л. Челаковский, который, во-первых, оставлял без перевода русские сочетания *родная матушка, родной брат* и т. п.: «Přikážu rodnému svému otci — Накажу своему батюшке родному» (Sl. p. I, 107); «Na kolébce tys matky rodné — В колыбеле родной матери» (Sl. p. III, 123); «Vine se k synu rodná matička» (Sl. p. III, 1 1 7) . Словом rodný Челаковский переводит и русское *родимый:* «Naprav sám bůh rodného mi otce — Бог суди родимова батюшку» (Sl. p. I, 107). В переводах славянских песен Челаковского лишь однажды сделана попытка передачи слова *родной* в рассматриваемом значении чешским соответствием příbuzný: «ni tatínka, ni maminky příbuzné — ни ба-

тюшка, ни матушка родные» (Sl. p. I, 101). Во-вторых, Челаковский широко использовал данное прилагательное в «Отголосках русских песен», так как правильно оценивал его как постоянный эпитет в русской народной поэзии. Например: «a potkává jen dva rodné bratry» (OPR, 86); «Ty labutičko, starší sestřičko, || ty rodná moje a přívětivá!» (OPR, 68). Характерно, что Челаковский прибегает к слову rodný (в сочетании с bratr) и там, где оно отсутствует в тексте оригинала: «an poznala Ratmíra nebýti rodným bratrem» (R. a V., 69) — «когда узнала она, что Ратмир уже более не брат ей» (Р. и В., 51).

Особенно важно употребление Челаковским слова rodný в переносном значении, которое проявляется в сочетаниях типа rodný kraj: «Ty pověz, pověz, rodná matičko, krajino, dálná strano!» (OPR, 59) (здесь намечается переход от прямого значения к переносному); «s milou dalekou stranou, rodným krajem» (OPR, 59); «odpovídá krajina rodná ... ruským jazykem» (OPR, 59) и т. п.[105] Это переносное значение встречается и в других текстах первой половины XIX в., отмеченных русским влиянием: rodné slovo (ČČM, 1839, 373), rodná národnost, rodná stařina (ČČM, 1840, 405, 196).

Русское воздействие на смысловую структуру прилагательного rodný оказалось очень глубоким; оно, по существу, привело к ее перестройке. Убедиться в этом можно, сравнив словарные статьи на слово rodný в JS и SSJČ (III, 67). Заимствованное значение ‘связанный кровным родством’ представлено в SSJČ как основное; значение ‘относящийся к роду, родовой’ имеет помету «несколько устаревшее» (по сравнению со словообразовательным синонимом rodový); на базе устойчивых сочетаний типа rodný kraj, rodný domov, rodná zem выделилось производное значение ‘относящийся к среде, где кто-н. родился’; значение ‘плодовитый’ охарактеризовано как устаревшее, книжное и поэтическое. Вместе с тем прочным компонентом смысловой структуры стало новое значение ‘органически связанный с каким-н. обществом; дорогой для него’. Это значение — также результат влияния русского языка, но уже недавнего. SSJČ так представляет его: «4. (*podle rus*.) *expr*. Patřící pevně nějakému společenství; milý, milovaný, drahý: rodná dělnická třída, rodná strana (o komunistické straně)».

Несомненно, что это новейшее заимствование было бы невозможно без обогащения семантики слова rodný под влиянием русского языка в эпоху чешского национального возрождения.

Závod. Общеславянское существительное závod в чешском языке развило к XIX в. следующую систему значений:

1. Начало какого-н. действия (преимущественно пения или речи); 2. Совращение с правильного пути, введение в грех, заблуждение; 3. Бег наперегонки (с последующей филиацией этого значения: ‘место, где проис-

[105] В Словаре Юнгмана новое сочетание rodný kraj представлено как фразеологизм: «rodný kraj = otčina, Heimat (JS III, 839).

ходят состязания в беге, ‘играх’, ‘награда в состязании’, ‘борьба с соперниками за достижение какой-н. цели’).

На базе третьего, наиболее широко представленного в Словаре Юнгмана значения развились устойчивые сочетания типа dělati něco o závod (v závod) — ‘делать что-н. с большой энергией, как бы стараясь обогнать другого’.

Наряду с традиционными значениями в первой половине XIX в. появились два новых: ‘постоянное занятие’ (в этом значении слово závod сопровождается конкретизирующим определением, например, vojenský závod ‘военная карьера’, naučný závod ‘занятия наукой’) и ‘промышленное предприятие, фабрика’. Это последнее значение — результат влияния русского языка. Примечателен способ его подачи в Словаре Юнгмана: «*Rus*. závod, ein angelegtes Werk, Fabrik, Bergwerk, Hammerwerk, Gestütte, usw.» (JS V, 397). Отсутствие чешского соответствия в Словаре говорит о том, что собственное название в чешском языке не успело сложиться, так как развитие современного промышленного производства происходило в тот период, когда господствующее положение занимал немецкий язык. Наш материал позволяет проследить, как зарождалось употребление слова závod в указанном значении — первоначально в текстах переводов с русского или возникших в России. См. в рукописном переводе Ф. Палацкого из Н. Греча: «založeny dílny na sukno, sklo, zavody gornyje, litejnyje» (Pa1. Greč) — основались, фабрики суконные, стеклянные, заводы горные, литейные (Греч, 45); «fabrik, „zavodov“ i manufaktur všakého rodu (druhu)» (Pa1. Greč) — фабрик, заводов и мануфактур всякого рода (Греч, 91). Из приведенных контекстов видно, что для слова *фабрика* Палацкий находит два соответствия в чешском языке: тот же, что и в русском, германизм fabrika и чешское слово dílna, означавшее прежде цех, мастерскую. Существительное же *завод* он оставляет без перевода, не найдя чешского соответствия, но и не сочтя еще возможным ввести его в чешский контекст. Этот шаг был сделан после отражения слова závod в значении ‘промышленное предприятие’ в Словаре Юнгмана. Однако для первых употреблений слова в новом значении были типичны притекстовые объяснения. Например: «Ještě jiný důkaz, jak vysoce stojí ruská řemeslnost, máme na oné v roce 1823 v cárském zrcadelném závodě (fabrice) zhotovené sklenné posteli» (Zp. Petr., 305); «an moje výprava k Moskvě byla však těch slávných závodů (dílny) Zlatoustských přednější» (Kotl, 271).

Первые употребления слова závod в указанном значении относились к русской действительности, но потребность в нем была так велика, что обусловила его интенсивное использование в качестве основного обозначения промышленного предприятия. Однако данное конкретное значение не могло уложиться в смысловую структуру чешского существительного závod, и вследствие этого возникли омонимы. Именно так представлены эти слова в SSJČ (IV, 667): «Závod I... предприятие, осуществляющее определенную

деятельность; závod II... состязание, борьба за первенство (главным образом, в спорте)». На чешской почве слово závod I получило дальнейшее развитие, уже не зависимое от русского словоупотребления: оно может означать теперь не только промышленное предприятие, но и другие, например торговые.

Б. Употребление слова в переносном значении под влиянием соответствующего русского слова.

Чешские и русские слова, соответствующие друг другу по своей форме и прямому номинативному значению, часто различаются системой переносных употреблений. Для чешского литературного языка начального периода национального возрождения характерны живые, как бы ускоренные процессы в области становления лексической метафоричности, что обусловлено интенсивным развитием литературы в духе преромантизма, обилием новой переводной литературы на фоне ослабленной отечественной литературной традиции в недалеком прошлом. Многие переносные употребления, ставшие впоследствии постоянным компонентом смысловой структуры слов, впервые появились в переводах с русского или в других текстах, отмеченных влиянием русского языка. Поскольку русское словоупотребление, как правило, служило лишь своеобразным катализатором, ускорителем развития переносного значения в чешском слове, факт русского влияния на его семантику очень рано переставал осознаваться. Доказать этот факт можно лишь с помощью анализа первых употреблений слова в переносном значении и установления их зависимости от русского источника.

Приведем некоторые примеры такого рода семантических перенесений.

Alabastrový. Первое переносное употребление этого относительного прилагательного отмечено в юнгмановском переводе «Аталы»: «ruce alabastrové drželi u srdce ebenový křížek» (JA, 51). Ср. в русском переводе-посреднике: «и алебастровые руки на сердце ее держали гебеновое распятие» (И. М., 207). Во втором русском посреднике соответствием было прилагательное *белоснежный* («а белоснежные руки прижимали к сердцу евеновый крест» — Н. Р., 174); с этим соответствием перекликается толкование данного переносного значения в Словаре Юнгмана: **«Alabastrový...** *Fig*. — bílý, sněžný» **(**JS I**,** 10). Правда, в Словаре Юнгман приводит пример не из своего перевода, а из Словаря Линде (Hladká šíje alabastrová), подчеркивая тем самым устойчивость данного переносного значения в родственном славянском языке.[106]

Словарь современного чешского литературного языка также фиксирует это значение как устойчивое (SSJČ I, 2 1) .

---

[106] Уместно в этой связи привести наблюдение Б. Гавранека о подаче в Словаре Юнгмана собственных неологизмов: «Если его слово привилось и его используют другие авторы эпохи возрождения, то он, как правило, цитирует не себя, а других, чтобы показать, что это слово живет в литературе» [125, *202*].

Plamenný. Под очевидным воздействием русского языка прилагательное plamenný стало одним из наиболее распространенных поэтизмов в литературе первой половины XIX в. Значение ‘страстный, пылкий’ впервые проявилось в текстах переводов с русского у Челаковского и Камарита: «láska jejich byla milomluvná a plamenná» (R. a V., 76) — «любовь их была красноречива, пламенна» (Р. и В., 60): «plamennou lásku u tobé» (R. a V., 70) — «пламенная любовь моя к тебе» (Р. и В., 53); «plamennou lásku k bližní-mu» (Novor. 1824, 183) — «пламенную любовь к ближним» (Аф. ж., 47).

В значении ‘страстный, пылкий’ слово plamenný употреблялось в основном в сочетании с существительным láska. См. примеры из текстов 30-х годов: «plamenná tato láska k jazyku mateřskému» (ČČM, 1836, 63); «lásky plamenné... cit» (ČČM, 1835, 131). Но есть и другая сочетаемость. См. несколько примеров, которые, как и предыдущие, извлечены из текстов, уже. не связанных с русским влиянием: «Tu se touhou plamennou || Pěvci prsa mužská dmou» (ČČM, 1829, 4); «citem plamenným» (ČČM, 1829, 8); «plamenná zvědavost má» (CCM, 1837,54). Оттенок указанного значения исполненный страсти, пылкого чувства’ отмечен во многих употреблениях слова plamenný. В наших материалах все такие контексты не связаны с русскими образцами. Поскольку данный оттенок — результат обычного метонимического смыслового сдвига, нет оснований считать его заимствованным. Некоторые примеры: «Jak vzdá dík srdce plamenné» (Dennice, 137); «Jak by Bivojův svůj plápol || Duch plamenný zatajil?» (ČČM, 1827, 123); «v plamenné duši básník» (ČČM, 1837,465).

В результате самостоятельного развития мог появиться и другой метонимический оттенок значения — ‘выражающий сильное чувство, страсть’, хотя примеры такого употребления слова plamenný встречаются и в переводах с русского (ср. у Челаковского: «plamenné zraky vyjevovaly nesmířítelný hněv» (R. a V., 77) — «пламенные взоры изображали непримиримый гнев» — Р. и В., 62). Сочетания plamenné oči, plamenné čelo, plamenná tvář обычны в поэзии конца 20-х — начала 30-х годов.

В современном чешском языке указанное переносное значение прилагательного plamenný является прочным компонентом его смысловой структуры (SSJČ III, 596).

Představiti (se), představovati (se). В разветвленной и богато документированной статье на эти слова в JS (III, 475—476) имеется и переносное, которое, пользуясь толкованием В. И. Даля, можно определить так: «изобразить, изъяснить словами, описанием, в картине, кистью, резцом» [197, *III*, *389*]. Первые употребления рассматриваемых слов в этом значении появились в переводе «Аталы»: «Představil mi nebezpečenství, v které jsem se vydával» (JA, 16) — «Он представил все опасности, мне предстоящие» (Н. Р., 19), «Ten malý zástup ... představoval obměkčenému srdci mému ... stará tažení prvotných čeledí lidských» (JA, 38) — «представляло умиленному сердцу моему» (И. М., 145).

Точно так же связано с русским словоупотреблением возникновение другого переносного значения слова představiti/představovati (в сочетании с возвратным местоимением sobě, si) живописать воображением, живо изобразить в мыслях’. См. в переводе «Аталы» и других текстах, вышедших из-под пера Й. Юнгмана: «představováním sobě blaženosti» (JA, 38) — «представлением себе блаженства» (И. М., 144) «Duše lidská sobě představuje» (J. Slov. I, s. V.) (последний пример приведен в Словаре Юнгмана с толкованием: «познает, воспринимает образы»), в этих примерах достаточно четко проявляются особенности русского семантического влияния на чешскую лексику.

Как уже указывалось, глагол představiti относился в чешском языке XIX в. к активному словарному фонду. Живыми оставались как прямые значения (‘поставить что-н. перед кем-н.’, ‘возвести постройку впереди другой’), так и переносные (‘предложить что-н. для рассмотрения, ‘предпочесть что-н. другому’, ‘поставить кого-н. в качестве начальника, старшего и др.). Нетрудно увидеть, что переносные значения развивались по линии безобразного употребления, хотя в некоторых иллюстрациях Словаря Юнгмана можно отметить и зарождение переносного значения, близкого тем, которые встречаются в текстах, отражающих русское словоупотребление: «Netřeba mi tuto Abrahama víc před oči představěti», «Všecky věci božské... v krátkých a sprostných slovích vypisují a představují» (JS III, 475). Потребность в обозначении понятий «изображать в словах, красках и т. и.», «вызывать в мыслях, воображении» возникла, несомненно, в связи с бурным, ускоренным развитием художественной литературы в 1-й половине XIX в., и русские тексты подсказали чешским литераторам употребление, не противоречащее смысловой структуре собственного слова.

Перед нами случай, который, по терминологии Ю. С. Сорокина, может быть отнесен к «семантической индукции», т. е. речь идет «о семантическом видоизменении под воздействием иноязычного источника уже существующих в языке слов. Совпадение во «внутренней форме», в структуре слов обоих языков так же, как и синонимичность их в исходном, основном «собственном» значении, является моментом, облегчающим эту «семантическую индукцию» **[**82, *165 и сл.***]**.

С новым значением глагола představiti связан и лексический неологизм Й. Юнгмана и А. Марека představa ‘представление, противопоставляемое понятию’. У Юнгмана «Jestli že rozum náš rozmanitost podanou sobě od smyslností v jednotu pojí, bude z názoru představa; staneli se to s vědomím, bude ponětí» (J. Slov. I, V). Из толкования в Словаре Юнгмана можно сделать вывод о том, что představa — калька с нем. Vorstellung: «Představa... představení sobě něcěho, Vorstellung» (JS III, 475). Но не исключено, что и в русском слове *представление* значение ‘мысль, понятие о чем-н.’, известное только с XVIII в. **[**17, *119***]**, также возникло под влиянием нем. Vorstel-

lung. Тогда русское посредство упростило операцию калькирования с немецкого, «подсказав» подходящую основу.

Šum, šumný. Оба слова, исконные для чешского языка, обозначали лишь природные звуки, издаваемые листвой деревьев, течением воды и т. п. Соответствующее значение имел и глагол šuměti и другие производные (JS IV, 524). В литературе периода национального возрождения наблюдается, во-первых, возрастание частотности употребления указанных слов в этом прямом значении, что связано, очевидно, с усложненностью пейзажных описаний в произведениях преромантизма. Уже в этом плане можно отметить известное влияние русского языка, так как начало использованию данных слов в качестве поэтизмов положили знаменитые переводы Й. Юнгмана, где мы всюду находим русские соответствия этих слов. Например, в переводе «Потерянного рая»: «v moři ... od Trinakrí šumných břehů Kabry dělícím» (JR, 62) — «в море, разделяющем Калабрию от шумливого Тринакрии брега» (В. П., 47); «Vyrojí se po zemi i v povětří s hustěchvějných křídel jekem šumícím» (JR, 41) — «тьмами тем были сгущенны, долу и воздуху потрясающуюся от шумления звиздущих крыл» (В. П., 30); в переводе «Аталы»: «nic nepřekazilo nářeku jejímu mimo povlovné šumání člunu našeho po vodě» (JA, 29) — «кроме тихого шума лодки нашей, по водам плывущей» (И. М., 25). См. также в более поздних переводах с русского: «orlové ... se zdvihli a letěli s šumem rozstýlajíce svá křídla» (R a V., 88) — «. . . с шумом расстилая вдаль крыла свои» (Р. и В., 207).

В текстах, отмеченных русским влиянием, происходит также заметное расширение семантического объема рассматриваемых слов: они стали употребляться и по отношению к громким звукам человеческих голосов, говору, смеху. У А. Марека: «Tu v zástupu se strhne šum» (Mar., 85); в переводах с русского других авторов: «Daleko rozléhal se po horách šum a hovor mnoholidného sebráni» (ČČM, 1833, 406); «Tiché veselí ustupuje místa šumnému» (Novor., 203).

Наконец, в тех же текстах находим и переносные употребления слов šum, šumný. См. применение существительного šum для обозначения громкого взволнованного обсуждения чего-н.: «z toho povstal křik, šum, svévolnost a hlupství» (Kotl., 424); в юнгмановском переводе из Карамзина: «Mnoho v té věci šumu, sporu» (J. Slov. I, 50) — Бывает много шуму, спору. Прилагательное šumný употреблялось в значениях: 1) вызывающий живой интерес, обсуждение: «opisujeme jeho šumné putování v Indii» (Novor., 191) — «описываем его шумное путешествие в Индию (Аф. ж., 43); 2) беспокойный, полный волнений:

«Druhu můj! chtě vstoupit v šumný svět...» (J. Slov. I, 49) — «Мой друг! вступая в шумный свет...» (Н. Карамзин, Послание к Плещееву); «touha po lidské pospolitosti a šumném světě» (Dennice, 26). Любопытно употребление слова šum в статье Й. Юнгмана «Общества трезвости»: «mnohý maličko se napiv již pomaten v hlavě, jiný leda množstvím nápoje šumu se dopije» (ČČM,

1845, 644). Выражение šumu se dopije— «допьется до шума» становится понятным из комментария Ю. Юнгмана к фразеологизму má rauš (‘о легкой степени опьянения’): «má rauš (lépe s Poláky a Rusy: má rauš)» (там же, 648). Здесь видна попытка Юнгмана избавиться от германизма в распространенном фразеологическом сочетании.

Переносные значения ‘волнение; возбужденное обсуждение чего-н. для слова šum, проявлять себя оживленной деятельностью, движением’ для šuměti (например, městečko šumělo pod oknem),[107] ‘оживленный, громкий’ для šumný употребительны и в современном чешском литературном языке (см. SSJČ III, 742—743), хотя сфера их распространения ограничена (помета в словаре: книжное). Для прямого значения характерны употребления, относящиеся к природным звукам, однако существительное šum применяется и для обозначения механических и других звуков (SSJČ III, 742).

Таким образом, «семантическая индукция» проявилась в данном случае в усилении смысловой эволюции слова šum и его производных в том же направлении, что и в русском языке. Вместе с тем издавна сложившиеся связи этих слов сказываются в преобладании их употребления и в настоящее время в традиционных для чешского языка сочетаниях.

В. Оживление архаического значения под влиянием соответствующего русского слова.

Для Й. Юнгмана и его единомышленников памятники древнечешской письменности представляли благодарный источник пополнения словаря новой чешской литературы. Вслед за Й. Добровским, этот источник они считали главным и целесообразность его использования — бесспорной. При заимствовании из родственных славянских языков предпочитались формы, имеющие соответствие, хоть и забытое, в древнечешском. Характерно высказывание, содержащееся в одном из писем Й. Юнгмана А. Мареку, в котором автор выражает свою радость по поводу того, что в древнечешской рукописи обнаружилось слово snaha, введенное Мареком в чешский язык из сербского: «Мой брат сейчас усердно выписывает слова из медицинских рукописей в императорской библиотеке и всюду, где их может выловить, он находит там подлинные сокровища языка. Вчера нашел и это прекрасное слово snaha, которое Вы первый употребили (кажется, из сербского?)» **[**136, *177***]**.

Среди слов, семантическая структура которых обогатилась под влиянием русского словоупотребления, мы находим и ряд таких, где, собственно, возрождается старое, утраченное значение. Русское влияние здесь имеет характер опорного, поддерживающего. Нельзя не подчеркнуть, что в большинстве случаев оживление семантических архаизмов было времен-

[107] О других, собственно чешских, линиях семантической эволюции глагола šuměti см. у Й. Зубатого [195, *97 и сл*].

ным, как правило, оно оказалось ограниченным рамками текстов начала XIX в.

Приведем несколько характерных примеров.

Deska. В древнечешском, как и в других славянских языках, это существительное означало ‘плоский кусок дерева, полученный от продольной распилки бревна’. В том же значении употреблялось и слово prkno, специфически чешская форма неясного происхождения [208, *483*]. К XIX в. слово deska утратило свое прямое значение, оставшееся теперь лишь за формой prkno. Существительное же deska употреблялось в ряде производных значений, главные из которых: 1. Пластина, плита, сделанная для разных ремесленных потребностей; Таблица для письма на ней; 3. (множ.) Переплет книги; 4. (множ., с определением) Книги для административных и юридических записей. В переводах русских народных песен Ф. Л. Челаковского слово *доска* передается как deska; тем самым восстанавливается былое прямое значение чешского слова: «zakryjí se bílá ňadra deskami — закроются белые груди досками» (Sl. p. I, 101); *«Již* jeho blaho se ukrývá || Ve čtyrech deskách v syré zemi — В четырех досках в сырой земле» (Sl. p. I, 125). В данных примерах рассматриваемое слово употреблено метонимически — для обозначения гроба; это существенно, так как оживление архаизма нужно было не само по себе, а для пополнения поэтических средств.

Указанный поэтизм не привился в чешском литературном языке, где смысловая структура слова deska активно развивается в настоящее время в направлении терминологического и близкого ему использования слова — для обозначения всякого рода пластинок и щитов (см. SSJČ I, 306).

Dřevný (dřevní, dřívní) dřevnost. Прилагательное dřevní (с обоими указанными фонетическими вариантами) ‘давний, прежний’ дано в Словаре Юнгмана как омоним формы dřevný (dřevní) ‘относящийся к дереву, деревьям’, причем отмечена неупотребительность этого слова в современном чешском языке. Тот факт, что Й. Юнгман ощущал слово dřevný как глубокий архаизм, подтверждается заменами русского *древний* в переводах «Потерянного рая», послуживших Й. Юнгману посредниками: «некоторые со древним Сатурном бежали чрез Адрию» (В. П., 21) — «šli též onino, jenž s *starým* prchše Saturnem přes Adrii» (JR, 35); «царство Хаоса и древния Нощи» (В. П., 22) — «Směsice a *dávná* Noc» (JR, 35).

Анализ употребления слова dřevný (dřevní) в древнечешском языке на материале Словаря Гебауэра показывает, что в основном в нем выступает значение ‘бывший ранее, прежний’ [203, *330 сл.*]. Характерно, что Й. Юнгман для иллюстрации значения antiquus привел цитату из старославянского текста: «Slyšaste, jako rečeno byst drevním». Правда, во многих

употреблениях данные два значения смыкаются, что было свойственно и старославянскому языку.[108]

Для эпохи чешского национального возрождения было более актуальным выражение понятия «древний» — antiquus, — так как прошлое славянских народов было излюбленным сюжетом художественной литературы и стояло в центре внимания историков. Здесь явно ощущалась потребность в синониме к словам starý, dávný, starodávný, поэтому в текстах, отмеченных русским влиянием, появляются употребления dřevní, dřevnost в которых выступает именно это значение. Такие примеры находим и у самого Й. Юнгмана в переводах с русского: «ve spisovnách šedé dřevnosti» (J. Slov. I, 50) — «В архивах древности седой» (Н. Карамзин. Послание к Плещееву). Слово dřevný не раз встречается в писаниях В. Ганки, в том числе и в поддельных рукописях: «Dlúhým tahem němci tahú ... ot zhořelských dřevných hor v naše krajiny» (RK, 58); «obličeje... zachovávaly dřevní typ» (ČČM, 1846, 505).

В распространении слова dřevní в XIX в., несомненно, большую роль сыграл П. Й. Шафарик, который широко применял его в своих исторических сочинениях, например: «obyčeje... dřevních předkův našich» (ČČM, 1833, 446); «národy dřevní Evropy» (Šaf. Slov. starož., 8). Оживление старого значения слова dřevný наблюдается и в произведениях А. Марека (1812, 1816 гг.), причем здесь видна большая зависимость от древнечешского употребления, чем от русского: употребления показывают характерное для древнечешского совмещение значений ‘относящийся к далекому прошлому’ и ‘прежний, былой’: Zbytky dřevné statečnosti leží s prstí smíšené» (Mar., 11); «Velký nyní zástup veda synů, dřívní dny své slavís obrazem» (Mar., 25).

Словари современного чешского языка отмечают слово dřevný (более редкая форма — dřevní) в значении dřívější, dávný, starý, starobylý с пометой «книжн., несколько устарелое» (SSJČ I, 415). В толковании совмещены два значения, однако иллюстративный материал в основном документирует значение ‘древний, давний’ (PSJČ I, 574). Влияние русского языка проявилось на истории слова, таким образом, двояко: в возвращении слова к активной жизни в течение XIX в. и в усилении того аспекта значения, который ярче выступает в русском языке.

Chlap, chlapství. В народном чешском словоупотреблении существительное chlap означало, по данным Словаря Юнгмана, сильного, рослого человека; взрослого мужчину; человека вообще (в экспрессивном употреблении). Эти же значения в целом сохранились и в современном чешском языке (PSJČ I, 1043—1044; SSJČ I, 688). В Словаре Юнгмана приведены также многочисленные примеры из древнечешских памятников, где это

---

[108] Вопрос о том, какое из обоих значений первично, решается по-разному: Й. Зубатый считает более ранним значение ‘старый, древний’ [196, *6 и сл.*], В. Махек — компаративное значение [208, *132*].

слово выступает в значениях ‘раб, невольник ‘крепостной крестьянин’, ‘слуга’ — уже архаичных для начала XIX в. Значение ‘крепостной крестьянин’ для слова chlap, и, соответственно, ‘крепостная зависимость’ для слова chlapství несколько активизировались в текстах первой половины XIX в. в связи с отражением в них русской действительности. Первые употребления этих слов в архаичных значениях сопровождались притекстовыми объяснениями, что свидетельствует о забвении этих значений. См. в переводе с русского у Палацкого: «obyčej držeti mnohočíslné chlapy (slouhy, cholopy)» (Pal. Greč) — «обычай держать многочисленных холопов» (Греч, 34); в очерке о России времен Петра I: «zmírniti chlapství (otrocké poddanství)» (Svět., 183); в очерках о России К. Гавличека-Боровского: «od té doby usídlilo se úplné chlapství a poroba v ruské říši» (H. B., 94); «Mezi Slovany rabstvo a chlapství nikdy nebylo» (H. B., 75).

В современных чешских словарях значения nevolník для слова chlap и nevolnictví, для слова chlapství отмечены как архаичные. Иллюстративные примеры — из текстов XIX в.

Г. Семантический сдвиг под влиянием русского языка в диалектном слове, становящийся причиной его перехода в состав литературной лексики.

Одним из ранних проявлений такого рода влияния является употребление прилагательного svíží.

Впервые оно появилось в литературном языке в юнгманов-ском переводе «Потерянного рая» в соответствии с русским: *свежий*. Ср.:

В.П.	**JR**
Яко же пчелы в весеннее время многочисленное свое юнешество окрест улия иссылают гроздьями; они среди *свежих* рос летают взад и вперед (32).	Jak kdy včely v podletí… lidnou mládež svou z oulů vysypijí v hroznech, létalí po kvítí a *svíží* rose sem a tam (41).

В притекстовом словарике Й. Юнгман комментирует это прилагательное как моравское слово, соответствующее литературному čerstvý, и приводит типичное употребление слова: čerstvé ovoce. Уже в этом первом употреблении слова svíží в качестве поэтизма налицо семантический сдвиг: ‘недавно сорванный (добытый, приготовленный)’ → ‘прохладный; чистый’. Слово исключительно быстро распространилось в литературном чешском языке, в чем сказалось огромное воздействие юнгманов-ского перевода на литераторов той эпохи. Вначале наиболее употребительными были сочетания, подобные юнгмановскому. См. у Ф. Палацкого: «Í svížími rosívá barvami» (Pal. Básně, 60); у Ф. Л. Челаковского: «svíží rosy krůpěje se za jitra svítí» (Čel, 213). Затем сочетаемость слова расширяется: «svížích potoků hrkot» (Čel, 174); «hlkotal svíží se kroutě potůček» (Dennice, 62). Возникают переносные значения: ‘юный, цветущий’ — krásota svíží (Kor. Šaf. — Pal, 35); jinoch svíží (ČČM, 1835, 138), а также — в текстах, отмеченных русским влиянием, — ‘яркий, живой’ — «bohatstvi aneb raději bujnost

nejsvížejších obrazů přírody» (Pal. Greč) — «богатство или лучше сказать роскошь самых свежих картин природы» (Греч. 62); ‘недавний, незабытый’— «utuchlých anebo ještě svížích obyčejův a zvyků» (ČČM, 1833, 259). Постепенно происходит и отход от моравской фонетической формы слова в сторону русского звучания: «Tomu nemůže || svěží vůně z háje» (Moh., 44).

В современном чешском языке прилагательные svěží и čerstvý употребляются как синонимы (форма svěží характеризуется в словарях как устаревшая — PSJČ V, 955). Функционирование слова svěží в XIX в. в качестве поэтизма оставило след на характере его сочетаемости и в оттенках значений, отличных от тех, которые свойственны форме čerstvý. В частности, слово svěží уже не употребляется сейчас в своем исходном диалектном значении (см. типичные сочетания обоих слов: čerstvý chléb, čerstvé máslo, čerstvé vejce — svěží zeleň, svěží barvy, svěží vánek, svěží chlad).

Sosna. В древнечешском это слово означало вид низкой сосны, растущей на определенных местах, и не имело широкого распространения в общелитературном языке. Это значение с его разновидностями сохранилось в народных говорах **[**176, *64***]**. Соответствующее родовое понятие выражалось существительным borovice. В языке эпохи чешского национального возрождения слово sosna стало употребляться как поэтически окрашенный синоним borovice, т. е. из видового обозначения превратилось в родовое. Толчком для такого переосмысления слова явились русские и польские тексты, послужившие для Юнгмана-переводчика языковой опорой. Ср. первые употребления слова sosna как синонима borovice, содержащиеся в юнгмановских переводах и соответствующие русскому *сосна* и польскому sosna. В чешском переводе «Потерянного рая»: «s nebe bleskem potření dubové a sosny hrdé na horách» (JR, 37) — в русском переводе-посреднике: «молния с небес ударит в лесные дубы или нагорные сосны» (В. П., 91); в переводе Й. Юнгмана: «proti němuž nejhrubší sosan» (JR, 16) — в польском переводе-посреднике: «rownąć ją najgrubszej sośnie» (Przyb., 16).

Современному чешскому языку известны оба значения существительного sosna, но сферы их употребления различны: в качестве названия родового понятия рассматриваемое слово входит в словарный состав литературного языка как стилистически окрашенный элемент; в качестве видового наименования оно имеет распространение в основном в области специальной терминологии, а также в народных говорах (PSJČ V, 496).

§ 7. Особенности семантического и экспрессивно-стилистического развития русских заимствований в чешском языке первой половины XIX в.

Характерным признаком семантического воздействия со стороны близкородственного языка необходимо считать непостепенность, необычную ускоренность смыслового сдвига в слове, своеобразный скачок от ис-

ходного значения, совпадающего в обоих языках, к производному, которое в дающем языке уже сложилось к данному периоду времени.

Приведем некоторые примеры, подтверждающие, с нашей точки зрения, такой «смысловой скачок», оказавшийся возможным благодаря близости исходного значения слова во взаимодействующих родственных языках.

Ohromný. До начала XIX в. это прилагательное выступало в чешском языке в значении, близком этимологическому (см. толкование родственного глагола ohromiti в Словаре Юнгмана «громом или грохотом, или чем-н. иным испугать; как громом оглушить» — JS II, 960). С этим значением мы встречаем прилагательное ohromný и в произведениях чешских писателей юнгмановской поры, например, у А. Марека (1817 г.): «Hlasem chtěl bych volati hromu ohromného» (Mar., 6). Вместе с тем в языке Й. Юнгмана и его последователей слово ohromný приобретает и новый смысловой признак: ‘очень большой, громадный’. Таков был ход семантического развития этого слова и в русском, и в польском языках [13, *178*; 201, *303—304*],[109] но в чешском появление нового значения не было постепенным. В начале XIX в. остро ощущалась его необычность: не случайно Й. Юнгман вынужден был объяснить его в подстрочных словариках («Veliký, grandis» **[**142, *338***]**; «Náramný, grandis» **[**143, *642***]**). Первые употребления слова ohromný в новом значении обнаруживаются в переводах с русского и польского (или через посредство этих языков), что делает несомненным факт воздействия родственных языков на семантическую структуру данного слова. Ср. в русском переводе «Аталы»: «зрится огромный крокодил» (Н. Р., 183) — в юнгмановском переводе: «uzříš krokodýla ohromného» (JA, 53); в русском переводе «Потерянного рая»: «подъемлет выспрь преогромную решет»

(В. П., 70) — в польском переводе: «ogromne spusty krat umyka» (Przyb., 64) — в юнгмановском переводе: «zdvihši spusty ohromné» (JR, 68).

Под воздействием таких употреблений произошло как бы ускоренное повторение развития значений (‘оглушающий, поражающий, как громом’ → ‘поражающий своими размерами’ → ‘очень большой, громадный’), имевшего место для слова *огромный* в других славянских языках. Специфика семантического процесса, отмеченного иноязычным влиянием, заключалась в данном случае в том, что некоторое время в слове сосуществовали и прежнее, и новое производное значения. См. примеры употребления слова ohromný в чешском журнале 1833 г.: ohromný třesk mečů — оглушительный звон мечей; ohromné zdi — огромные стены (Jindy a n., 57, 8 1). В течение XIX в. новое значение не только устойчиво закрепилось, но и полностью вытеснило прежнее, которое уже не отражено современными словарями.

[109] Менее убедительно сопоставление слова *огромный* и *громада* [200, *111, 119*].

Подобные процессы наблюдаем и в семантическом развитие существительных jih и sever в чешском литературном языке.

Оба слова известны как древнечешским памятникам, так и народному употреблению. Слово jih выступало до начала XIX в. в следующих значениях: 1) южный ветер, приносящий оттепель; 2) оттепель, таяние снега (JS I, 613). Слово sever было известно лишь в диалектном употреблении, где оно означало ‘снежная метель с северным ветром’, ‘дождь со снегом’. По сведениям Й. Юнгмана, такое употребление бытовало в говорах Подкрконошья, где имелось и производное существительное severka ‘лесной луг на северной стороне’ (J. Slov. I, 9).

Понятия сторон света юга и севера обозначались в литературном чешском словами poledne и půlnoc.

В текстах начала XIX в. слово sever встречается в качестве поэтизма в значении ‘северный ветер’. Первое такое употребление зафиксировано в стихотворении 1814 г, А. Марека: «Ostrý sever sněhem fučel» (Mar., 5). В нем еще нет заметного, отхода от народного значения слова, но он появляется в контекстах, где северный ветер противопоставляется южным, «зефирам». См. у Хмеленского: «Hrát tam šumní zefírové || kadeří tvou nebudou, || Tam jen hluční severové || Rozdírají tlamu svou» (Chmel. Básně, 15). На основании подобных употреблений Й. Юнгман выделяет для слова sever второе значение: ‘vítr půlnoční, Nordwind’, отмечая русское и польское происхождение этого значения для чешского языка (JS IV, 67).

В среде будителей, владевших русским языком, несомненно, было хорошо известно и слово *север* как обозначение стороны света. Свидетельством этого является, в частности, и следующий отрывок из письма Й. Юнгмана А. Мареку от 1814 г.: «теперь ясно, что музы свивают себе гнездо на севере (u severa). Надо стараться достать какие-нибудь русские книги...» (ČČM, 1882, 42). Под «севером» здесь подразумевается Россия.

С этим употреблением перекликается контекст из стихотворения В. Ганки «К именинам Добровского», опубликованного в 1815 г.: «Jméno tvé se vplete v věnec sladký || od Šumavy, až tam do Kamčatky! || Sláva tvá jde od polední strany, || od hor vlaských, do severních vod» (Han. Písně, 98)[110] (do severních vod в данном контексте — «до России»).

Для обозначения сторон света слова jih и sever стали употребляться наряду с исконно чешскими наименованиями poledne и půlnoc начиная с 20-х годов XIX в. См. у Юнгмана: «Kde vstává, kam léhá slunce, || na severu, a tam kde jih, || Na vše strany pozírejte» (Krok, 1821, 4).

---

[110] Вероятно, это первое употребление интересующих нас слов и их производных в опубликованном тексте. Правда, еще в 1811 г. в стихотворении А. Марека, мы встречаем прилагательное Severský в переводе русского географического названия Северное море: «Tam k Slovanům jest otvor líbezného zření ... jichž lodi zjíždí Černé, Severské i moře» (Mar., 4).

Ранние употребления слов sever, jih и их производных в новом значении часто сопровождаются притекстовыми объяснениями, что говорит об их непривычности. Например: «Magelán… s pěti koráby vyploul, pořáde k západu, k jižně (polední) Americe» (ČČM, 1827, 113); «veliký poloostrov, k západu Hudsonovým zálivem, k severu (půlnoci) Hudsonovým průlivem..., k jihu (poledni) pak s Kanadou spojený» (Svět., 53).

Вплоть до середины XIX в. слова sever, jih употребляются синонимично старым наименованиям. Например, в «Географии» Бальби: «máme, postavíme-li se tváří k točné severné, před sebou půlnoc anebo sever, za sebou poledne anebo jih» (Balbi, 5). Не сразу устоялась форма рассматриваемых слов. Так, Шафарик в своих поэтических опытах употреблял форму sevor (Šaf. Básně, 62, 63). Я. Коллар принципиально использовал форму juh, общую для русского и словацкого языков; эта неперегласованная форма встречалась и у других авторов эпохи национального возрождения: «Dlé obyvatelův v zájužných ostrovech jest pojem umnictva možný» (Mar. Log., 54).

Производные прилагательные показывали колебания в окончании основы severní / severný, jižní / jižný.

Проследим развитие семантики рассматриваемых слов в русском и чешском языках.

Оставляя в стороне нерешенный вопрос об исходном значении слов *север* и *юг* **[**210, *785***]**, отметим, что наименование ими северного и южного ветров известно и русскому языку. См. пословицу: «Юг веет — старого греет» **[**197, *IV*, *667***]**. Существительное *север* в значении ‘северный ветер’ до сих пор употребляется в ряде русских говоров **[**197а, *201***]**. Но если в русском языке употребления данных слов в значениях ‘ветер’ и ‘сторона света’ в результате длительного развития оказались к XIX в. «разведенными» по различным сферам их применения, то в чешском языке того же периода указанные употребления сосуществовали в пределах литературного языка и даже в пределах одного стиля. Так, вплоть до конца XIX в. в качестве поэтизма бытовало слово sever в значении ‘холодный ветер’ (PSJČ V, 182). В первой половине XIX в. живым было употребление слова jih в значении ‘оттепель’: «jih a mráz se střídají» (Krok, 1833, 75) — и в значении ‘южный ветер’: «na vodách ale soptěci bouře || Povždy zbránila jim, a na odchodě Jih je užásal» (ČČM, 1829, 110).

Только в XX в. сравнялось соотношение употреблений рассматриваемых форм в чешском и русском литературных языках.

Что касается экспрессивно-стилистического развития русских заимствований, пришедших в чешский язык в начале XIX в., то прежде всего необходимо подчеркнуть его полную независимость от экспрессивно-стилистических свойств заимствованного слова в дающем языке.

Русизмы, вошедшие в чешский язык через произведения Й. Юнгмана и других литераторов его школы, на первых порах обладают стилистическим

единообразием: все они становятся компонентами торжественно-приподнятой поэтической речи или специального научного стиля.

В исходной же, дающей системе эти слова не одинаковы по своей стилистической принадлежности. Естественно, что среди них немало слов, которые и в русском языке принадлежали к книжно-поэтической лексике (например, славянизмы, а также такие, как *блаженство, дева, кара*, *нега, пламенный* и др.). Однако отнюдь не этот признак — принадлежность слова в русском языке к высокому стилю — имел значение для факта его заимствования в качестве поэтизма. Ведь одновременно усваиваются и слова, стилистически нейтральные в дающей лексической системе *(боль, ров, ржать, сырой, шея, шум, весна, жар* и т. п.).

Поэтизация этих слов происходит уже в системе языка-усвоителя, где они вступают в синонимические отношения с соответствующими чешскими словами, отличаясь от них необычностью (jaro — vesna, děvče — děva, krk — šíje, řehtati — ržáti).

Примером, свидетельствующим о том, что решающую роль в этом процессе играют условия принимающего языка, может служить адаптация глагола celovati. В переводе «Аталы» Й. Юнгман несколько раз употребляет этот глагол, а также производное существительное celování. Слово celovati, известное древнечешскому языку, было уже давно забыто и полностью вытеснено синонимом líbati. Как и во многих других случаях под пером Юнгмана, таким образом, происходит оживление архаизма, стимулируемое польским и русским словоупотреблением. Ожидалось бы поэтому, что в русских переводах-посредниках, использованных Юнгманом при переводе «Аталы», чешскому celovati будет соответствовать русское *целовать.* В действительности же русские авторы употребляют для выражения данного значения другие слова: *лобызать, прикасаться устами.* Таким образом, русской синонимической паре *целовать — лобызать,* где первое слово стилистически нейтрально, а второе имеет оттенок возвышенности, соответствует в языке Й. Юнгмана пара líbati — celovati; здесь, наоборот, архаический элемент и в то же время русизм celovati играет роль поэтизма, в то время как стилистически нейтральное líbati используется только в пояснительных комментариях к уже непонятному для читателя слову celovati **[**143, *643***]**.

Яркую возвышенную поэтическую окраску приобрели оживленные под влиянием русского языка чешские архаизмы dráha и ret (rty), впервые в XIX в. использованные также в переводах Й. Юнгмана. Литераторы эпохи чешского национального возрождения широко употребляли их в качестве поэтических синонимов обиходных существительных cesta и ústa.

Вместе с изменением стилистической окраски заимствованного слова иногда происходит заметный сдвиг в его семантике, обусловленный экспрессивно-стилистическим моментом. Так, распространенный в литерату-

ре изучаемого периода поэтизм ryk, восходящий к русскому языку,[111] употреблялся первоначально в значении ‘крик, рев диких животных’. Примечательно, однако, что в переводе стихотворения К. Батюшкова «Вакханка», опубликованном в 1833 г. Ф. Л. Челаковским, словом ryk: названы крики, издаваемые нимфами, спешащими «на праздник Эригоны»: «Ke slavnosti Erigony || Kněžky Bachovy se hnaly, || Větry s šumem rozvívaly || hlučný ryk jejich a stony» (ČČM, 1833, 359) — громкий вой их, плеск и стоны; «Kněžek Bachových se hnalo || Hejno s rykem mimo nás» (там же) — Жрицы Вакховы промчались || С громким воем мимо нас. Очевидно, что такое распространительное употребление слова ryk (о неистовых криках, вопле) стало возможным в результате его поэтизации на чешской почве.

Определенный семантический сдвиг произошел в прилагательном siný, благодаря тому, что в переводах Ф. Л. Челаковского русских песен оно подверглось заметной поэтизации. Основным значением этого слова было, по Юнгману, ‘посинелый, мертвенно-бледный (о коже)’ (JS IV, 91). В переводах же Челаковского оно выступало в сочетании siné moře: «Já ti zaletím k moři sinému» — Полечу ли я на сине море (Sl. p. I, 105); «Po siném moři jedouce» — Едучи по синему морю (Sl. p. I, 141) и т. д. Словари современного чешского литературного языка уже отмечают подобные сочетания как обычные: siná záře měsíce, siná atmosféra rána (PSJČ V, 239).

Дальнейшая судьба поэтизмов русского происхождения также всецело определялась условиями и тенденциями развития чешского литературного языка. По мере того как преодолевались представления об исключительности поэтической речи и необходимости ее насыщения необычными словами, происходила своеобразная «депоэтизация» русизмов, оставшихся в языке» Изменение стилистической окраски слова уже в противоположном направлении также могло приводить к более или менее заметным сдвигам как в семантике слова, так и в его экспрессивных свойствах. «Стилистические нюансы, — отмечает Л. С. Ковтун, — могут перерастать в смысловые... Значение оказывается преобразованным уже в силу того, что оно попало в другой стилистический или исторический контекст» **[**36, *86***]**. Ярким примером таких процессов может служить история слова ženština в чешском языке. Слово впервые появилось в юнгмановском переводе «Аталы» под влиянием русского вспомогательного текста. Ср. в русском переводе «Аталы»: «Женщины... оказывали юности моей нежную жалость» (И. М., 26); у Юнгмана: «ženštiny ... osvědčovaly nad mou mladostí útrpnost laskavou» (JA, 16) (пояснение Юнгмана: «Ženštiny — ženské osoby»). Неологизм быстро распространился, первоначально лишь как поэтический синоним слова žena. См. у Линды: jen ženštiny panovaly nade vší»[112]; у Л.

---

[111] Первые употребления в XIX в. отмечены в языке юнгмановского перевода «Аталы» в соответствии с русским *рыкания* [143, *642*].

[112] Примеры не из произведений Й. Юнгмана взяты из Картотеки Института чешского языка АН ЧССР.

Челаковского: «Nejsem již ani tak mlád, žeby mne ženština svým zpěvem okouzlila». В 30-е и 40-е годы слово ženština в том же значении ‘особа женского пола’ попало в произведения научного и публицистического стиля, где и произошла его депоэтизация. В рамках прежде всего публицистического стиля стало возможным его использование в таких сочетаниях, как nehodná ženština, nemravná ženština, lehká ženština, prodejná ženština и т. п. Со временем отрицательная экспрессия таких сочетаний перешла на само существительное, что особенно хорошо заметно в контекстах, где противопоставлены слова žena и ženština. См., например, употребления начала XX в., зафиксированные в PSJČ: «Viděti, jak milá žena je docela obyčejní povrchní, sobeckou ženštinou, — to je strašné zklamání»; «Na jedné straně je žena, na druhé zchytralá ženština» (VIII, 1031). Наконец, в нижеследующем примере, относящемся к 1947 г., видим даже тенденцию к зарождению нового значения, правда, не закрепившегося, — ‘проститутка’: «Z lokálky (o prvních šesti tovaryškách typografkách) ... proniká neskrývaná zášť, resp. zloba na konkurentky, o nichž dopisovatel mluví jako o „ženštinách”, ač tento název jinak se v „Dělnických listech“ nevyskýtá, jen ve spojitosti s prodejnou láskou» (PSJČ VIII, 1031).

Характерно, что пейоративное значение приобреталось именно словом ženština, а не его синонимом žena, который, конечно, также употреблялся в сочетаниях типа lehká žena, prodejná žena и т. п. Заимствованное существительное ženština никогда не сравнялось по своей употребительности и семантическому объему с основным чешским наименованием соответствующего понятия (žena); оно оставалось на периферии словарного состава чешского литературного языка и, утратив свою первоначальную поэтическую окраску, продолжало ощущаться как слово менее обычное и потому способное приобретать новые экспрессивные свойства.

Заключение

В период становления чешской нации, в соответствии с потребностями вновь формирующегося после длительного упадка чешского литературного языка деятели национального возрождения широко использовали русские заимствования для пополнения отвлеченной лексики, поэтической синонимики, терминологии разных областей знания, а также для вытеснения из речевого обихода слов немецкого происхождения.

Положительный результат этого состоял не только в обогащении словарного состава чешского литературного языка новыми лексическими единицами, но и в том, что воздействие со стороны родственного языка стимулировало собственные словотворческие процессы языка-рецептора. Русское влияние проявлялось и в семантике.

Сознательная деятельность в области лексико-семантического заимствования из русского языка имела ряд закономерных тенденций, обусловленных теоретическим подходом будителей к литературному языку.

На графическом и фонетическом уровнях сознательный лингвистический подход проявился в том, что устанавливались исторически закономерные чешско-русские фонетические соответствия, с учетом которых и производились необходимые субституции.

На словообразовательном уровне наряду с подобной тенденцией проявлялось и стремление юнгмановцев расширить число продуктивных типов и моделей за счет целенаправленного пополнения менее продуктивных типов формами русского происхождения.

Процесс усвоения чешским языком заимствованной русской лексики, а также отдельных лексических значений имеет ряд особенностей, вероятно, характерных вообще для взаимодействия близкородственных литературных языков, при котором ресурсы одного языка сознательно используются для обогащения другого.

Так, для этого процесса характерно обостренное внимание к внутренней форме заимствуемого слова, которая зачастую становится фактором, определяющим становление значения заимствованного слова на новой почве. Лексическое же значение этого слова в дающем языке может и не приниматься во внимание при сознательном акте включения слова в принимающую систему.

В дальнейшем развитии смысловой структуры заимствованного слова имеют значение ассоциативные связи с собственными однокоренными словами; благодаря этим связям слово может развивать семантические оттенки и новые значения, отсутствующие в дающем языке.

При возникновении новых производных значений у слов, прямое, исходное значение которых в обоих языках совпадает, влияние родственного

языка играет роль своеобразного ускорителя естественных семантических процессов. Функционирование слов в таких случаях характеризуется сосуществованием, параллельным употреблением старых и новых звеньев смысловой цепи.

Экспрессивно-стилистическая эволюция заимствований всецело определяется потребностями и условиями принимающего, языка.

Процессы формирования национального литературного языка, в том числе его словарного состава, у каждого народа характеризуются индивидуальными особенностями, которые определены конкретно-историческими условиями развития общества. По-разному происходило в период образования наций и взаимодействие славянских языков с русским, отразившееся в каждом из них в виде некоторого слоя лексических и семантических заимствований.[113] По мере изученности этой проблемы на материале отдельных славянских языков, несомненно, будут выявляться и общие закономерности взаимодействия родственных литературных языков.

[113] В отношении словацкого литературного языка, развивавшегося в тесном взаимодействии с чешским, данные вопросы исследовались в работах А. Н. Кондрашова и его учеников [149].

Список цитированных работ

Статьи и монографии

1. Ленин В. И. О праве наций на самоопределение. — Полн. собр. соч., т. 25, с. 255—320.
2. Алексеев М. П. Английский язык в России и русский язык в Англии. — Учен. зап. Ленингр. ун-та, 1944, №72. Сер. филол. наук, вып. 9, с. 77—137.
3. Алексеев М. П. Русский язык в мировом культурном обиходе между XI и XX веками. — В кн.: Страноведение и преподавание русского языка как иностранного: Тезисы докл. и сообщ. международного симпозиума. М., 1971, с. 6—7.
4. Андел В. П. Да історыі слова příroda ў чэшскай мове. — В кн.: Беларускае славянскае мовознаўства. Мінск, 1972, с. 36—39.
5. Апреотессей Ч. Типы калек при межславянских языковых контактах. Тимишоре, 1973. 15 с.
6. Багмут А. Й. До історіі культурно-наукових зв'язків з Чехословаччиною. Київ, 1958. 28 с.
7. Белозерцев Г. И. Соотношение глагольных образований с приставками *вы-* и *из-* выделительного значения в древнерусских памятниках XI-XIV вв. — В кн.: Исследования по исторической лексикологии древнерусского языка. М., 1964, с. 161—217.
8. Берков В, П. Вопросы двуязычной лексикографии. Л., 1963. 191 с.
9. Бильфельдт Г. Исторические предпосылки проникновения русских слов в немецкий язык. — В кн.: Проблемы современной филологии М., 1965, с. 30—36.
10. Биржакова Е. Э., Войнова Л. А., Кутина Л. Л. Очерки по исторической лексикологии русского языка XVIII века: Языковые контакты и заимствования. Л., 1972. 431 с.
11. Брагина А. А. Русское слово в языках мира. М., 1978. 190 с.
12. Будагов Р. А. Заметки о русском языке в современном мире — Вопросы языкознания, 1977, № 1, с. 3—15.
13. Булаховский Л. А. Деэтимологизация в русском языке. — Труды Ин-та русского языка АН СССР, 1949, т. 1, с. 147—209.
14. Булаховский Л. А. К истории взаимоотношений славянских литературных языков. — Изв. АН СССР, 1951, вып. 1. Сер. лит. и языка с. 37—49.
15. Вайян А. Этимологические заметки. — В кн.: Проблемы истории и диалектологии славянских языков. М., 1971, с. 84—87.
16. Верещагин Е. М. Психолингвистическая проблематика языковых контактов. — Вопросы языкознания, 1967, № б, с. 122—133.
17. Веселитский В. В. Отвлеченная лексика в русском литературном языке XVIII — начала XIX в. М., 1972. 319 с.
18. Виноградов В. В. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика. М., 1963. 255 с.

19. Виноградова В. Н. Образование отвлеченных существительных с приставками ***не-*** и ***без-*** в древнерусском языке XI—XIV вв. — В кн.: Исследования по исторической лексикологии древнерусского языка. М., 1964, с. 218—244.

20. Востоков А. Х. Рассуждение о славянском языке. — В кн.: Филологические наблюдения А. Х. Востокова. СПб., 1865, с. 1—114.

21. Гавранек Б. Значение Иосифа Добровского для славян. — Slavia, 1954, roč. XXIII, s. 81—100.

22. Гальперин И. Р. К проблеме дифференциации стилей речи. — В кн.: Проблемы современной филологии. М., 1965, с. 68—73.

23. Головин Б. Н. О некоторых направлениях и задачах изучения лексики, терминологии и стилей. — В кн.: Лексика. Терминология. Стили: Межвузовский сб. Вып. 1. Горький, 1973, с. 5—17.

24. Даниленко В. П. Русская терминология: Опыт лингвистического описания. М., 1977. 246 с.

25. Дегтерева Т. А. О некоторых историко-познавательных моментах в изучении языковых контактов. — В кн.: Процессы развития в языке. М., 1959, с. 3—18.

26. Доланский Ю. Забытый чешский пропагандист русской литературы. — В кн.: Сравнительное изучение литератур. Л., 1976, с. 133—139.

27. Дьяков В. А. Политические интерпретации идеи славянской солидарности. — В кн.: Методологические проблемы истории славистики. М., 1978, с. 232—260.

28. Дьяков В. А. Эпоха «национального возрождения» в Центральной и Юго-Восточной Европе (социальное содержание, периодизация, пути исследования). — В кн.: Формирование национальных культур. М., 1977, с 19-37.

29. Жирмунский В. М. Национальный язык и социальные диалекты. Л., 1936. 300 с.

30. Заборов П. Р. Литература-посредник в истории русско-западных литературных связей XVIII—XIX вв. — В кн.: Международные связи русской литературы. М.; Л., 1963, с. 64—85.

31. Зайцева А. А. Ян Коллар и русско-чешские литературные связи первой половины XIX в. — В кн.: Литература славянских народов. Вып. 8. М., 1963, с. 99—141.

32. Иссерлин Е. М. Конкретная и абстрактная лексика в русском литературном языке XVII в. — В кн.: Начальный этап формирования русского национального языка. Л., 1961, с. 97—111.

33. Калинин А. В. Лексика русского языка. М., 1966. 231 с.

34. Кедров Б. М. Классификация наук. Ч. 1. М., 1961. 472 с.

35. Ковтун Л. С. Лексикография в Московской Руси XVI — начала XVII в. Л., 1975. 351 с.

36. Ковтун Л. С. О неявных семантических изменениях. — Вопросы языкознания, 1971, № 5, с. 81—90.

37. Коломіець В. Т. Розвиток лексики слов'янських мов у післявоенний період. Київ, 1973. 304 с.

38. Кондаурова Л. П. Вацлав Ганка и Россия (по материалам его переписки). — В кн.: Культура и общество в эпоху становления наций. М., 1974, с. 202-209.

39. Костомаров В. Г. Русский язык среди других языков мира. М., 1975. 175 с.

40. Котович А. Н. История слова ***промысел.*** — Русский язык в школе, 1940, № 4, с. 23—26.

41. Кочубинский А. А. Начальные годы русского славяноведения. Одесса, 1887—1888. 324 с.

42. Кутина Л. Л. Формирование языка русской науки. М.; Л., 1964. 219 с.

43. Ларин Б. А. Парижский словарь московитов 1586 г. Рига, 1948. 216 с.

44. Ларин Б. А. Русская грамматика Лудольфа 1696 г. Л., 1937. 168 с.

45. Ларин Б. А. Русско-английский словарь-дневник Ричарда Джемса (1618—1619 гг.). Л., 1959. 423 с.

46. Ларин Б. А. Эстетика слова и язык писателя. Л., 1974. 285 с.

47. Левин Ю. Д. Английская поэзия и литература русского сентиментализма. — В кн.: От классицизма к романтизму. Л., 1970, с. 195—297.

48. Левин Ю. Д. Об исторической эволюции принципов перевода (к истории переводческой мысли в России). — В кн.: Международные связи русской литературы. М.; Л., 1963, с. 5—63.

49. Лилич Г. А. Из истории чешско-русских литературных связей начала XIX века. — Вестн. Ленингр. ун-та, 1974, № 14, с. 152—155.

50. Лилич Г. А. К вопросу о взаимодействии чешского и русского литературного языков. — В кн.: Славянское языкознание. Л., 1962, с. 34— 43.

51. Лилич Г. А. К вопросу о лексических заимствованиях из русского языка в чешский. — В кн.: Славянское языкознание. Л., 1958, с. 32—55.

52. Лилич Г. А. Об одном источнике русских заимствований в чешской поэтической лексике. — В кн.: Исследования по эстетике слова и стилистике художественной литературы. Л., 1964, с. 140—148.

53. Лилич Г. А. Франтишек Ладислав Челаковский и русский язык. — В кн.: Studie rusistické. Brno, 1977, s. 21—37.

54. Лукинова Т. Б. Об употреблении сложных слов в чешском языке. — В кн.: Слов'янське мовознавство. Вып. III. Київ, 1961, с. 210—237.

55. Ляпунов Б. М. Семасиологические и этимологические заметки в области славянских языков: приставка *из-*. — Slavia, 1929 roč VII, s. 754—765.

56. Марков В. М. Русский язык в трудах представителей польского просвещения. — В кн.: Развитие синонимических отношений в русском литературном языке второй половины XVIII века. Казань, 1972, с. 120—126.

57. Масанов И. Ф. Словарь псевдонимов русских писателей, ученых и общественных деятелей. Т. 2. М., 1957. 387 с.

58. Маслов Ю. С. Введение в языкознание. М., 1975. 327 с.

59. Мейе А. Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков. М.; Л., 1938. 300 с.

60. Мейе А. Общеславянский язык. М., 1951. 491 с.

61. Мирочник Е. Ш. Древнерусизмы в «Чешско-немецком словаре» Й. Юнгмана. — В кн.: Вопросы русского и общего языкознания: Сб. научных трудов. Ташкент, 1976, с. 104—114.

62. Мирочник Е. Ш. Русская лексика в словаре Й. Юнгмана. — В кн.: Вопросы русского и общего языкознания: Сб. научных трудов. Ташкент, 1978, с. 44—51.

63. Мыльников А. С. Библиотека Йозефа Юнгмана. — В кн.: Литература славянских народов. Вып. 2. М., 1957, с. 97—114.

64. Мыльников А. С. Йозеф Юнгман и его время. М., 1973. 160 с.

65. Мыльников А. С. Павел Шафарик, выдающийся ученый-славист. М.; Л., 1963. 112 с.

66. Мыльников А. С. Русская книга в Чехии в период национального Возрождения страны. — В кн.: Книга: Исследования и материалы; Сб. V. М., 1961, с. 271—293.

67. Мыльников А. С. Эволюция социальной структуры чешского общества XVII—XVIII вв. — В кн.: Вопросы первоначального накопления капитала и национальные движения в славянских странах. М., 1972, с. 50—63.

68. Нещименко Г. П. История именного словообразования в чешском литературном языке конца XVIII—XX вв.: (Прилагательное). М., 1968. 284 с.

69. Никольский С. В. К вопросу о знакомстве Ф. Л. Челаковского с русской фольклористикой нач. XIX в. — Учен. зап. Ин-та славяноведения АН СССР, 1949, т. 1, с. 359—365.

70. Никольский С. В. О знакомстве Ф. Л. Челаковского с декабристским журналом. — Учен. зап. Ин-та славяноведения АН СССР, 1954, т. VIII, с. 323—349.

71. Обнорский С. П. Префикс «без-» в русском языке. — В кн.: Обнорский С. П. Избранные работы по русскому языку. М., 1960, с. 195—234.

72. Одинцов Г. Ф. Русские ***зазноба, залетка, лапушка.*** — В кн.: Этимология. 1974. М., 1976, с. 117—126.

73. Опельбаум Е. В. Восточнославянские лексические элементы в немецком языке. Киев, 1971. 271 с.

74. Петрова З. М. Сложные прилагательные в поэзии второй половины XVIII в. — В кн.: Процессы формирования лексики русского литературного языка (от Кантемира до Карамзина). М.; Л., 1966, с. 146—204.

75. Путевые письма И. И. Срезневского из славянских земель. 1839—1842. СПб., 1895. 374 с.

76. Пыпин А. Н., Спасович В. Д. История славянских литератур. Ч. II, 1881. 1129 с.

77. Реформатский А. А. Введение в языкознание. М., 1955. 542 с.

78. Розенцвейг В. Ю. Языковые контакты: Лингвистическая проблематика. Л., 1972. 79 с.

79. Рупосова Л. П. Русско-словацкие языковые связи (на материале словацкого литературного языка): Автореф. канд. дис. М., 1970. 19 с.

80. Русский язык в современном мире. М., 1974. 301 с.

81. Смирнов С. В. Первые русские слависты в Чехии. — В кн.: Труды по русской и славянской филологии, XXII. Сер. лингв. Тарту, 1979. с. 35—51.

82. Сорокин Ю. С. Развитие словарного состава русского литературного языка. 30—90-е годы XIX века. М.; Л., 1965. 565 с.

83. Сороколетов Ф. П. История военной лексики в русском языке. Л., 1970. 382 с.

84. Сперанский М. Н. Из наблюдений над сложными словами (composita) в стиле литературной русской школы XV—XVI вв. — В кн.: Из истории русско-славянских литературных связей. М., 1960, с. 160—196.

85. Супрун А. Е. Лексикологические заметки, 3. Об «экзотической» лексике. — Учен. зап. филол. ф-та Киргиз, ун-та, 1957, вып. 4, с. 15—32.

86. Фалев А. И. Материалы по словообразованию и этимологии. — Русский язык в школе, 1940, № 4, с. 32—35.

87. Филин Ф. П. О лексико-семантических группах слов. — В кн.: Езиковедски изследования в чест на акад. Младенов. София, 1957, с. 523—538.

88. Флекенштейн К. О некоторых теоретических проблемах калькирования. — В кн.: Этимологические исследования по русскому языку. Вып. V. М., 1966, с. 148—171.

89. Францев В. А. Письма к Вячеславу Ганке из славянских земель. Варшава, 1905. 1296 с.

90. Хауген Э. Процесс заимствования. — В кн.: Новое в лингвистике. Вып. VI. М., 1972, с. 344—382.

91. Хауген Э. Языковой контакт. — Там же, с. 61—80.

92. Хаютин А. Д. О некоторых единицах терминологической лексики. — В кн.: Славянский сборник. Ч. II. Самарканд, 1963, с. 105—110.

93. Чешские глоссы в Mater verborum / Разбор А. О. Патеры и дополнительные замечания И. И. Срезневского. СПб., 1878. 152 с.

94. Чиркова Е. К. О критериях отграничения окказиональных слов от новых слов литературного языка. — В кн.: Современная русская лексикография. Л., 1975, с. 91—101.

95. Широкова А. Г., Нещименко Г. П. Становление литературногоязыка чешской нации. — В кн.: Национальное возрождение и формирование славянских литературных языков. М., 1978, с. 9—85.

96. Шмелев Д. Н. Основные процессы в лексике современных восточно-славянских языков. — В кн.: Славянское языкознание. М, 1968, с. 393—406.

97. Amort Č. Ruská vojska u nás v letech 1798—1800. Praha, 1954. 486 s.

98. Bartoš F. Rukověť správné češtiny. Telč, 1891. 101 s.

99. Bečka J. Slavica v české řeči. D. I. Praha, 1955. 164 s.

100. Bělič J. Jungmannovy představy o možnosti jazykového sjednocení slovanů. — In: Slavica Pragensia sv. XVII, Praha, 1974, s. 115—132.

101. Bělič J. Lexikální rozdíly na území českého jazyka z hlediska vztahů k jiným jazykům slovanským. — Slavia, 1973, roč. XLII, s. 3—15.

102. Bělič J. Sedm kapitol o češtině. Praha, 1955. 147 s.

103. Bělič J. Zásady Palackéhe v otázkách jazykové kultury. — In: Tři studie o Františku Palackém. Olomouc, 1949, s. 166—237.

104. Boj o obrození národa: Výbor z díla Josefa Jungmanna. Praha, 1948. 260 s.

105. Brabcová R. K historii slova *činovník.* — Naše řeč, 1960, N 7—8, s. 243—245.

106. Brabcová R. Thamovy Básně v řeči vázané. — In: Stati k národnímu obrození. Praha, 1972, s. 25—42.

107. Cejp L. Jungmannův překlad Ztraceného ráje. — In: Jungmann J. Překlady. D. I. Praha, 1958, s. 360—430.

108. Čelakovský F. L. Korrespondence a zápisky. D. II, seš. I. Praha, 1910. 525 s.

109. Čelakovský F. L. Sebrané. Praha, 1865. 236 s.

110. Češi a poláci v minulosti D. 2. Období kapitalismu a imperialismu. Praha, 1960. 710 s.

111. Dějiny české literatury. D. II. Praha, 1960. 685 s.

112. Dějiny česko-ruských vztahů. 1770—1917. Praha, 1967. 745 s.

113. Dobrovský J. Spisy a projevy. Sv. VI. Literární a prozodická bohemica. Praha, 1974. 281 s.

114. Dobrovský J. Spisy a projevy. Sv. XIII. Rossica. Praha, 1953. 157s.

115. Dolanský J. Jungmannův odkaz. Praha, 1948. 359 s.

116. Dolanský J. Neznámý jihoslovanský pramen Rukopisu královédvorského a zelenohorského. Praha, 1968. 219 s.

117. Dolanský J. Ohlas dvou ruských básníků v Rukopisech královédvorském a zelenohorském. Praha, 1969. 178 s.

118. Dolanský J. Záhada Ossiana v Rukopisech královédvorském a zelenohorském. Praha, 1975. 197 s.

119. Dolanský J. Preromantický okruh Rukopisů královédvorského a zelenohorského. — Česká literatura, 1969, N 4, s. 258—264.

120. Flašhans V. Podrobný seznam slov Rukopisu královédvorského se zvlaštním zřetelem ke kritice čtení a výkladu. Praha, 1897. 114 s.

121. Francev V. A. Cesta J. Dobrovského a hr. J. Sternberka do Ruska v letech 1792—1793. Praha, 1923. 48 s.

122. Francev V. A. Rusové v Čechách za válek napoleonských. — ČČM, 1898, s. 4—8.

123. Gebauer J. Poučení o padělaných Rupopisích královédvorském a zelenohorském. Praha, 1888. 78 s.

124. Hauser P. Tvoření podstatných jmen v době národního obrození. Brno, 1978. 201 s.

125. Havránek B. Jungmannův význam pro nový rozvoj slovní zásoby spisovné češtiny. — In: Slovanské spisovné jazyky v době obrození. Praha, 1974, s. 195—203.

126. Havránek B. Studie o spisovném jazyce. Praha, 1963. 371 s.

127. Havránek B. Vývoj spisovného jazyka českého. — In: Československá vlastivěda. Řada II. Praha, 1936, s. 1—144.

128. Helcl M. Josef Jungmann a složená slova v češtině. — In: Slavica Pragensia. Sv. XVII. Praha, 1974, s. 57—65.

129. Helc1 M. Kdy opravdu vycházel Jungmannův Slovnik česko-německý? — Naše řeč, 1959, N 7—8, s. 238—240.

130. Horá1ek K. Dobrovského práce o ruštině. — In: Dobrovský J. Spisy a projevy. Sv. XIII. Rossica. Praha, 1953, s. 5—22.

131. Horá1ek K. K otázce Dobrovského třídění slovanských jazyků. — In: Josef Dobrovský. 1753—1953: Sborník k dvoustému výroči narození. Praha, 1953, s. 117—120.

132. Horá1ek K., Křivský P. K dnešnímu stavu bádání o Josefu Dobrovském. — In: Študie z dejín svetovej slavistiky do polovice 19. storočia. Bratislava, 1978, s. 203—221.

133. Hrabák J. Josef Dobrovský a kulturní dědictví. — In: Josef Dobrovský. 1753—1953: Sborník studií k dvoustému výroči narození. Praha, 1953, s. 344—360.

134. Huňáček V. Několik poznámek o prvním příspěvku Antonína Jaroslava Puchmajera k poznání ruského jazyka v Čechách. — Bulletin Vysoké školy rudkého jazyka a literatury. III. Praha, 1959, s. 105—128.

135. Chalupný E. Jungmannův překlad «Ztraceného ráje». — ČČM, 1912, s. 387—393.

135a. Jakubec J. Antonín Marek. Praha, 1896. 242 s.

136. Jedlička A. Josef Jungmann a obrozenská terminologie literárně vědná a linguistická. Praha, 1949. 107 s.

137. Jedlička A. Kultura odborného vyjadřování z hlediska traduce a dneška. — In: Sborník provozné ekonomické fakulty Vysoké školy zemědělské. Terminologická studie, č. 6. Praha, 1976, s. 18—34.

138. Jireček J. Hankovy původní básně od 1813 do 1819. — ČČM, 1879, s. 351—364.

139. Jireček J. Rozbor prvotního českého překladu Starého zákona. — ČČM, 1864, s. 148—159.

140. Josef Dobrovský. 1753—1829: Sborník statí k stému výročí smrti J. Dobrovského. Praha, 1929. 431 s.

141. Josef Dobrovský. 1753—1953: Sborník studií k dvoustému výročí narození. Praha, 1953. 594 s.

142. Jungmann J. Překlady. D. I. Praha, 1958. 433 s.

143. Jungmann J. Překlady. D. II. Praha, 1958. 726 s.

144. Jungmann J. Korrespondence. Praha, 1956. 336 s.

145. Kočí J. Josef Jungmann a české národní obrození. — Slovanský přehled, 1973, N 2, s. 112—130.

146. Kočí J. Josef Jungmann jako tvůrce národně osvobozeneckého programu. — In: Slavica Pragensia. Sv. XVII. Praha, 1974, s. 189—196.

147. Kolari V. Notes on Jan Svatopluk Presl as Terminologist. — In: Scando-slavica. T. XIX. 1973, s. 187—195.

148. Komárek M. Jazykovědná problematika RKZ. — In: Rukopisy královédvorský a zelenohorský: Dnešní stav poznání. Praha, 1969, s. 197—274.

149. Kondrašov N. A. Vznik a začiatky spisovnej slovenčiny. Bratislava, 1974. 283 s.

150. Konference na pamět' Josefa Dobrovského. — Slavia, 1953, roč. XXIII, s. 81—266.

151. Korrespondence a zápisky F. L. Čelakovského. D. I, seš. 3. Praha, 1909. 625 s.

152. Krbec M. *Život a dílo Josefa Dobrovského očima jeho současníků*. — In: Študie z dejín svetovej slavistiky do polovice 19. storočia. Bratislava, 1978, s. 185—201.

153. Křístek V. Dobrovský, Jungmann a předpoklady českého jazykového obrození. — In: Slovanské spisovné jazyky v době obrození. Praha, 1974, s. 115—121.

154. Křístek V. Společenské předpoklady a vůdčí osobnosti českého jazykového obrození. — In: Slavica Pragensia. Sv. XVII. Praha, 1974, s. 15—28.

155. Kubka F. Dobrovského «rusofilství». — In: Sborník prací věnovaných J. Máchalovi. Praha, 1925, s. 44—49.

156. Kudělka M., Šimeček Z. Československé práce o jazyce, dějinách a kultuře slovanských národů od roku 1760: Biograficko-bibliografický slovník. Praha, 1972. 560 s.

157. Kvapil J. Š. Jungmannovy překlady z francouzských spisovatelů. — In: Jungmann J. Překlady. D. II. Praha, 1958, s. 443—492.

158. Levý J. České theorie překladu. Praha, 1957. 947 s.

159. Literatura česká devatenáctého století. D. I. Praha, 1911. 614 s.

160. Máchal J. Hankovy ohlasy písní ruských. — Listy filologické, 1899, roč 26, s. 30—47.

161. Machek V. Česká a slovenská jmena rostlin. Praha, 1954. 366 s.

162. Marek A. Slovan. — Jindy a nyní. Praha, 1833, s. 165—166.

163. Martincová O. K problematice lexikálních neologismů. — Slovo o slovesnost, 1972, N 4, s. 283—298.

164. Mukařovský J. Polákova Vznešenost přírody. — In: Mukařovský J. Kapitoly z české poetiky D. II. Praha, 1948, s. 91—176.

165. Nejstarší česká duchovní lyrika. Praha, 1949. 101 s.

166. Novák B. K ekvivalentu v překladovém slovníku rusko-českém. — In: Studie ze slovanské jazykovědy. Praha, 1958, s. 359—363.

167. Novotný J. Pavel Josef Šafařík. Praha, 1971. 363 s.

168. Orłoś T. Z. Zapożyczenia polskie w słowniku Jungmanna. Wrocław; Warszawa; Kraków, 1967. 126 s.

169. Orłoś T. Z. Zapożyczenia słowiańskie w czeskiej terminologii botanicznej i zoologicznej. Kraków, 1972. 172 s.

170. Plch J. Antonín Marek. Praha, 1974. 250 s.

171. Počátkové českého básnictví obzvláště prozódie. Bratislava, 1961. 145 s.

172. Szyjkowski M. Polská účast v českém národním obrození. Praha, 1931. 508 s.

173. Šimek F. O jazyku Antonína Marka po stránce gramatické a lexikální. — Listy filologické, 1923, roč. 50, s. 24—32, 99—108, 217—228, 312—319.

174. Šimek F. O vzájemném vlivu jazyka Antonína Marka a jazyka podvrhů družiny Hankovy. — In: MNHMA: Sborník vydaný na pamět' J. Zubatého. Praha, 1926, s. 229—234.

175. Šmilauer V. Jungmannův slovník česko-německý. — In: Slavica Pragensia. Sv. XVII. Praha, 1974, s. 43—56.

176. Šmilauer V. Příjmení ***Jedlička.*** — Naše řeč, 1972, N 2—3, s. 63—65.

177. Šmilauer V. Ruské vlivy na češtinu. — Naše řeč, 1941, N 3, s. 65—69.

178. Tóbik S. Šafárikov a Kollárov jazyk. Bratislava, 1966. 158 s.

179. Trávníček F. Studie o českém vidu slovesném. Praha, 1923. 342 s.

180. Trost P. Deutsch-tschechische Zweisprachigkeit. — In: Deutsch-tschechische Beziehungen im Bereich der Sprache und Kultur. Berlin, 1965, S. 21—28.

181. Truhlár A. Josef Chmela. — ČČM, 1882, s. 3—25, 185—201, 353—363.

182. Tvoření slov v češtině. D. 2. Praha, 1967. 779 s.

183. Vařejková V. Kronika Moskevská. — Bulletin Vysoké školy ruského jazyka a literatury, sv. I. Praha, 1956, s. 153—178.

184. Vašek A. Filologický důkaz, že Rukopis královdvorský a zelenohorský, též zlomek Evangelia sv. Jana podvržená díla Václava Hanky. Brno, 1879. 80 s.

185. Vávra J. K počátkům rusko-českého slovníkářství. — In: Rusko-české studie. Praha, 1960, s. 363—380.

186. Vinařický K. A. Korrespondence a spisy pamětní. D. I. Praha, 1903. 348 s.

187. Vlček J. Dějiny české literatury. D. II. Praha, 1951. 577 s.

188. Vlček J. Kapitoly z dějin české literatury. Praha, 1952. 473 s.

189. Vodička F. Počátky krásné prózy novočeské. Praha, 1948. 366 s.

190. Vondrák V. Vývoj současného spisovného českého jazyka. Brno, 1926. 100 s.

191. Zadražil L. Překlady z ruštiny v České včele 1834—1835. — In: Čtvero setkání s ruským. Praha, 1958, s. 9—74.

192. Zelený V. Život Josefa Jungmanna. Praha, 1873. 476 s.

193. Zilynský O. Jungmannovy překlady ze slovanských jazyků. — In: Jungmann J. Překlady. II. Praha, 1958, s. 577—609.

194. Zima J. Jungmannův překlad Ataly. — Slovo a slovesnost, 1956, roč. XVII, s. 89—107.

195. Zubatý J. Ošuměti, ošumělý. — Naše řeč, 1928, N 5, s. 97—99.

196. Zubatý J. Studie a články. Sv. I. Č. I. Praha. 1945. 399 s.

Словари

197. Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. I—IV. М., 1955.

197а. Мурзаевы Э. и В. Словарь местных географических терминов. М., 1959.

198. Словарь русского языка XI—XVII вв. Вып. 1. М., 1975.

199. Словарь современного русского литературного языка. Т. 1—17. М.; Л., 1950—1965 (см. БАС).

200. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Т. I—IV. М., 1964—1973.

201. Шанский Н. М., Иванов В. В., Шанская Т. В. Краткий этимологический словарь русского языка. М., 1971.

202. Brückner A. Słownik etymologiczny języka polskiego. Warszawa, 1957.

203. Gebauer J. Slovník staročeský. D. I. Praha, 1903 (см. GS).

204. Jungmann J. Slovník česko-německý. D. I—V. Praha, 1835—1839 (см. JS).

205. Klácel M. Slovník pro čtenáře novin, v němž se vysvětlují slova cizího původu. Brno, 1849.

206. Kott F. Š. Česko-německý slovník, zvláště gramaticko-fraseologický. D. I—X. Praha, 1878—1906.

207. Linde. S. B. Słownik języka polskiego. T. I—VI. Warszawa, 1807—1814 (см. SL).

208. Machek V. Etymologický slovník jazyka českého. Praha, 1968.

209. Příruční slovník jazyka českého. D. I—VIII. Praha, 1935—1957 (см.PSJČ).

210. Skok P. Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. Knj. I. Zagreb, 1971.

211. Slovník spisovného jazyka českého. D. I—IV. Praha, 1962—1967 (см. SSJČ).

212. Velký rusko-český slovník. D. I—V. Praha, 1952—1962 (см. VRČS)

Принятые сокращения

Аф. ж. — Карамзин Н. Афинская жизнь. — В кн.: Аглая. Кн. 1. М., 1796,

БАС — Словарь современного русского литературного языка [199].

Б. чт. — Библиотека для чтения. Т. 1. СПб., 1834.

В. П. — Потерянный рай. Поема Иоанна Мильтона. Переведена с английского Василием Петровым. СПб., 1777.

Греч — Греч Н. К. Опыт краткой истории русской литературы. СПб., 1822.

И. М. — Атала, или Любовь двух диких в пустыне / Соч. Ф. А. Шатобриана; Пер. с фр. И. Мартынова. Смоленск, 1803.

Н. Р. — Атала, или Любовь двух диких в пустыне / Соч. Ф. А. Шатобриана; Пер. с фр. Н. Р. Москва, 1801.

Р. и В . — Дуроп Ан. Ратмир и Всемила: Древнее предание. — Соревнователь просвещения и благотворения: Труды вольного общества любителей российской словесности. Ч. 1. СПб., 1818, с. 45—214.

Balbi — Zeměpis čili ouplné popsání oboru zemského. Podle Balbiho. Praha, 1841.

ČČM — Časopis Společnosti vlastenského museum v Čechách (1827—1830). Časopis českého musea (с 1831 г.). Praha.

Čechoslav — Čechoslav: Národní časopis pro obveselení srdce a mysli. Praha, 1820.

Čel. — Čelakovský F. L. Básnické spisy. Praha, 1950.

Č. vč. — Česká včela: Literární příloha Pražských novin. Praha, 1834, 1835.

Dennice — Dennice aneb Novoročenka na rok 1825. Hradec Králové, 1825.

Dennice 1840 — Dennice. Praha, 1840.

Dobroslav — Dobroslav. Praha, 1820—1823.

Flora — Presl J. S., Presl K. B. Flora čechica. — Květena česká. Praha, 1819.

GS — Gebauer J. Slovník staročeský [203].

Han. Hist. — Hanka V. Krátká historie slovanských národů starých časů dle F. Rühsa. Praha, 1818.

Han. Písně. — Hankovy Písně. Praha, 1831.

H. B. — Havlíček Borovský K. Obrazy z Rus. Praha, 1953.

Hek — Sebrané spisy F. V. Heka. D. I. Praha, 1917.

Hlas. — Hlasatel český. Praha, 1806—1808, 1818.

Chmel. Básně — Chmelenský J. K. Básně. Hradec Králové, 1823.

Igor — Igor Svatoslavič: Hrdinský zpěv o tažení proti Polovcům / Přeložil V. Hanka. Praha, 1821.

JA — Atala aneb láska dvou divochů na poušti, přeložená z francouzského do českého jazyka (Spis pana F. Chateau-Brianda). — In: Jungmann J. Překlady. D. II. Praha, 1958, s. 7—58.

Jindy a n. — Jindy a nyní: Národní zábavník pro Čechy, Moravu a Slovany v Uhřích. Praha, 1833.

JR — Jana Miltona Ztracený ráj, přeložený z anglického jazyka do českého. — In: Jungmann J. Překlady. D. I. Praha, 1958, s. 337—341.

JS — Jungmann J. Slovník česko-německý [204].

J. Slov. I — Jungmann J. Slovesnost aneb zbírka příkladů s krátkým pojednánim o slohu. Praha, 1820.

J. Slov. II — Jungmann J. Slovesnost aneb náuka o výmluvnosti. Praha, 1845.

Kor. Šaf. — Pal. — Korespondence P. J. Šafaříka s F. Palackým. Praha, 1961.

Kotl. — Cestování Michala Kotlera v evropejském Rusku a Sibirii (podal A. Marek). — ČČM, 1842, s. 133—141, 259—288, 423—452, 526—551.

Krok — Krok: Veřejný spis všenaučný pro vzdělance národu česko-slovanského. Praha, 1821—1840.

Květy — Květy české: Listy zábavné pro všeliký stav. Praha, 1835, 1839.

M a r . — Marek A. Sebrané básně. Praha, 1935.

Mar. Fil. — Marek A. Základní filosofie. Logika. Metafysika. Praha, 1844.

Mar. Log. — Marek A. Logika nebo Umnice. Praha, 1835.

Mat'uš. — Výroční trh Čukecký v Ostrovném. Z listu poručníka Mat'uškina, psaného v Sibirii r. 1821. — ČČM, 1830, s. 57—68.

Moh. — Naše mohyly: Památka výtečníkům československého národa. Praha, 1861.

Novor. — Almanach aneb Novoročenka. Hradec Králové, 1823, 1824.

OPR — Čelakovský F.L. Ohlas písní ruských. — In: Čelakovský F. L. Básnické spisy. Praha, 1950.

Pal. Básně — Básně Františka Palackého. Praha, 1899.

Pal. Greč. — Palacký F. Výtah ze spisu N. K. Greča «Krátký přehled ruské literatury». — Literární archiv Památníku národního písemnictví (Praha). Index: 1/4/56.

Pal. Kor. — Palacký F. Korrespondence a zápisky. D. III. Praha, 1911.

Po1. — Polák M. Z. Vznešenost přírody. Praha, 1819.

Presl Lučba — Lučba čili chemie zkusná, z nejlepších spisovatelů vybral J. S. Presl. Praha, 1828.

Prvot. — Prvotiny pěkných umění: literární přílohy k Vídeňským novinám. Vídeň, 1813.

Przyb. — Miltona Raj Utracony, Ksiąg dwanaście z angielskiego, przekładania Jacka Przybylskiego. W Krakowie, 1791.

PSJČ — Příruční slovník jazyka českého [209].

Puch. — Puchmajerův Rýmovník aneb rýmovní slovník. Plzeň, 1824.

Purk. Básně — Básnický glosář J. E. Purkyně. Praha, 1959.

Purk. Kor. — Purkyně J. E. Korrespondence. D. I. Praha, 1920.

R. a. V. — Ratmír a Všemila: pověst z dávnověkosti ruské. Ant. Durop. — In: Almanach aneb Novoročenka. Hradec Králové, 1824, s. 65—200.

RK, RZ — Básně staronárodní rukopisův Zelenohorského a Královdvorského / Vyd. J. Jireček. Praha, 1879.

Rostl. — Presl J. S. O přirozenosti rostlin aneb Rostlinář. Praha, 1820.

SL — Linde S. B. Słownik języka polskiego [207].

Sl. p. — Čelakovský F. L. Slovanské národní písně. Praha, D. I, 1822; d. II, 1825; d. III, 1827.

Spol. — Společník věrný: Kniha pro jasný rozum, dobré srdce a čvrstou mysl. Brno, 1831.

SSJČ — Slovník spisovného jazyka českého [211].

Svět. — Světozor: Nejlacinější spis k rozšiření užitečných známostí pro Čechy, Moravany a Slováky. Praha, 1834.

Šaf — Básně P. J. Šafaříka a F. Palackého. Praha, 1889.

Šaf. Slov. starož. — Šafařík P. J. Slovanské starožitnosti. Praha, 1837.

Šír — Šír F. Výbor ze spisovatelů řeckých. D. II. Jíčin, 1827.

Víd. nov. — Císařské Královské Vídeňské noviny / Vyd. J. Hromádko. Vídeň, 1813, 1816.

Vinař. Kor. — K. A. Vinařického Korrespondence a spisy pamětní. D. I. Praha, 1903.

VRČS — Velký rusko-český slovník [212].

Zp. Petr. — Zpomínky Petrohradské / Přeložil A. M. — ČČM, 1840, s. 302—308.

Список работ по монографии Г.А. Лилич

1. Обогащение словарного состава чешского языка в результате установления в Чехословакии народно-демократического строя: Автореф. канд. дис. Л., 1956. 14 с.
2. Принципы передачи диалектизмов, использованные Б. Матезиусом в переводе «Поднятой целины» на чешский язык // Михаил Шолохов. Л., 1956. С. 201 – 211.
3. Влияние русского языка на семантические изменения в области общественно-политической лексики современного чешского языка // Учён. зап. Ленингр. Ун-та. 1958. № 234. Сер. филол. наук. Вып. 42: Очерки по лексикологии, фразеологии и стилистике. С. 41 – 52.
4. К вопросу о лексических заимствованиях из русского языка в чешский // // Учён. зап. Ленингр. Ун-та. 1958. № 250. Сер. филол. наук. Вып. 44: Славянское языкознание. С. 32 – 55.
5. К вопросу о взаимодействии чешского и русского литературных языков // Учён. зап. Ленингр. Ун-та. 1962. № 316. Сер. филол. наук. Вып. 64: Славянское языкознание. С. 34 – 42.
6. О переносных значениях некоторых качественных прилагательных в славянских языках // Вестн. Ленигр. ун-та. 1962. Сер. «История, язык, литература». № 14. С. 64 – 71.
7. Об одном источнике русских заимствований в чешской поэтической лексике // Исследования по эстетике слова и стилистике художественной литературы. Л., 1964. С. 140 – 148.
8. О некоторых принципах упорядочения чешской орфографии // Вестн. Ленигр. ун-та. 1964. Сер. «История, язык, литература». № 8. С. 146 – 149.
9. Русский язык у деятелей чешского национального возрождения // Славянская филология. Вып. 2. Л., 1971. С. 90 – 97.
10. Русский язык как язык-посредник для чешских переводов начала XIX века // Славянское языкознание: Доклады советской делегации на VII Международном съезде славистов. М., 1973. С. 484 – 499.
11. Из истории русских лексических заимствований в чешском языке // Konfrontační studium ruské a české gramatiky a slovní zásoby. Praha, 1974. S. 283 – 289.
12. Из истории чешско-русских литературных связей начала XIX века // Вестн. Ленигр. ун-та. 1974. Сер. «История, язык, литература». № 14. С. 152 – 155.
13. Ruské lexikální prvky v českém básnickém jazyce počátku XIX století // Slovanské spisovné jazyky v době obrození. Praha, 1974. S. 181 – 186.
14. Главные аспекты процесса становления чешского национального литературного языка (к методологии спецкурса) // Славянская филологии. Вып. 3. Л., 1975. С. 85 – 89.
15. Об особенностях семантики слова, заимствованного из близкородственного языка // Вопросы семантики. Вып. 2. Л., 1976. С. 57 – 63.
16. Взаимодействие русского и чешского языков в эпоху социализма // Вестн. Ленигр. ун-та. 1977. Сер. «История, язык, литература». № 20. С. 103 – 110.

17. Роль русского языка в становлении словарного состава чешского национального литературного языка (конец XVIII – начало XIX века): Автореф. докт. дисс. Л., 1977. 39 с.

18. Роль русского языка в развитии словарного состава чешского литературного языка (конец XVII – начало XIX века). Л., 1982. 192 с.

19. Вопросы формирования литературного языка в переписке чешских будителей // Историко-культурные и социолингвистические аспекты изучения славянских литературных языков эпохи национального возрождения. Тез. докл. междунар. конф. М., 1992. С. 34-36.

20. Отголоски Кирилло-Мефодиевской традиции в Чехии эпохи гусизма // Кирилло-Мефодиевские чтения. Тез. докл. Самара, 1992. С. 6.

21. О первом чешском переводе из русской поэзии // Славянская филология. Вып. VII. СПб., 1993. С. 25–34.

Литература о жизни и деятельности Г.А. Лилич

1. Библиографический указатель по славянской филологии. Профессор Галина Алексеевна Лилич. – Самарканд, 1986. – 148 с. (Соавт.: Г. М.Атаева, Н. В.Агабабова и др.).
2. Галина Алексеевна Лилич // Библиографический указатель по славянской филологии. Профессор Галина Алексеевна Лилич. – Самарканд, 1986. – С. 1-20.
3. К юбилею Г. А. Лилич // Вестник СПбГУ. – Сер. 2. – Вып. 3 (№ 16). – 1996. – С. 133-135.
4. Очерк жизни и деятельности Г. А. Лилич // Профессор Галина Алексеевна Лилич. – СПб.: Изд. СПбГУ, 1996. – С. 6-32. (Соавт.: П. А. Дмитриев, Г. И. Сафронов).
5. Галина Алексеевна Лилич // Frazeografia słowiańska. Księga pamiątkowa poświęcona prof. dr. hab. Halinie A. Lilicz. Red. naukowa Mieczysław Balowski i Wojciech Chlebda. – Opole: Uniwersytet Opolski, 2001. – S. 9-34.
6. Двойной славистический юбилей (к 80-летию Г. А. Лилич и 40-летию научно-педагогического сотрудничества Ленинградского/Петербургского и Оломоуцкого университетов // Rossica Olomucensia XLIV (za rok 2005). 1. část. – Olomouc, 2006. – С. 21–32. (Соавт. Л. И. Степанова).
7. К юбилею Галины Алексеевны Лилич // Славяноведение. – 2007. – № 2. – С. 126-127.
8. Лилич Галина Алексеевна // Почетные профессора Санкт-Петербургского государственного университета. – Изд-во С.–Петербургского ун-та, 2009. – С. 79–81.
9. Галина Алексеевна Лилич. In memoriam // Славянские народы и их культуры: традиции и современность: сб. научн. статей /редколл.: В.И. Коваль (отв. ред.) [и др.]; М-во образования РБ, Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2013. – С. 33-37.